

АЛЕКСАНДР
КАЗБЕГИ



ИЗБРАННОЕ



ВЪ САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГѢ У ПЕЧАТНИКА А. А. ШИШЕВА



ქართული
ლიბრარი



1848-1948

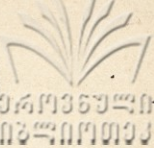


ქართული
ლიბრარი



ქართული
ლიბრარი
1948

საქართველოს
ყარბები



რჩეული

ტომი

I

თარგმანი
ფ. თვალთვაძისა
ა. გორეჭოვისა



გამომცემლობა „ზარდა ვოსტოკა“
თბილისი 1948

საქართველოს
საბავშვო ლიტერატურის
ცენტრი

АЛЕКСАНДР КАЗБЕГИ



ИЗБРАННОЕ

ТОМ
I

ПЕРЕВОД С ГРУЗИНСКОГО
Ф. ТВАЛТВАДЗЕ
И
А. КОЧЕТКОВА



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ЗАРЯ ВОСТОКА“
ТБИЛИСИ 1948



საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა და არქივი

საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა და არქივი

Редакция
Демна Шенгелая

საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა და არქივი



საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა და არქივი




საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა და არქივი

361, 277



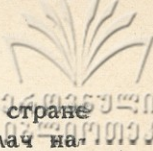
საქართველოს
საბჭოთაო
საზოგადოებრივი
მეცნიერებათა
აკადემია



Александр Казбеги

Грузинский народ торжественно отмечает сто лет со дня рождения одного из своих крупнейших писателей — Александра Казбеги. Чувством безграничной любви и благодарности окружает он это славное имя, навсегда занявшее достойное место рядом с бессмертными именами классиков грузинской литературы — Руставели и Гурамишвили, Бараташвили и Чавчавадзе, Церетели и Важа Пшавела. Александр Казбеги продолжал и развивал славные патриотические, демократические и реалистические традиции своих великих предшественников и современников — в этом залог его неувядаемой славы, этим обрел он бессмертие в сердце своего народа.

Все творчество Ал. Казбеги отдано служению социальной справедливости, проникнуто идеями свободы, самоотверженной любви и преданности отчизне, одухотворено мужеством и героизмом, благородными чувствами дружбы и любви. В блестящих романах и повестях Казбеги ярко выражены лучшие черты национального характера грузинского народа, благодаря которым наша родина на протяжении веков превозмогала бесчисленные испытания и беды, непоколебимо донесла свой язык, свою культуру, свое национальное существование до нашей эпохи, великой эпохи социализма.



В сороковых годах прошлого века, когда в нашей стране свирепствовала тирания самодержавия, когда царизм, палач народов, населявших Россию, в кровавых когтях социального и национального угнетения душил всякое благородное устремление и свободное проявление человеческой мысли, Александр Казбег с уничтожающей силой разоблачал уродливость феодально-самодержавного строя, коварство и лживость чиновников царского бюрократического аппарата и представителей военно-феодальной аристократии, их умственную ограниченность и моральное разложение.

В произведениях Казбег даны потрясающие картины необузданного нарушения человеческих прав, грубого попрания человеческого достоинства. Истинный трагизм мрачной и кровавой действительности, — жизни нашего народа в условиях государственного и общественного строя, воздвигнутого на принципах неравенства, — воссоздает Казбег в своих произведениях.

Изобличающая сила грузинского критического реализма с особенной яркостью проявилась в созданных Александром Казбег художественных образах, правдиво воплощавших представителей деградированного дворянства и царской бюрократии.

Наивысший пафос творчества Казбег, однако, заключается в пленительном изображении непреклонности нашего героического народа, который не гнул спины перед грубой и темной силой тирании и ценой крови своих лучших сынов самоотверженно защищал свое достоинство. С огромной любовью и сочувствием пишет художник романтически возвышенные образы героев, олицетворяющих мужественный и благородный дух народа, окружает их неувядаемым ореолом славы. Элгуджа и Матиа, Иаго и Коба, Мзаго и Джаджала, Нуно и Маквала и многие другие положительные образы в произведениях Казбег являются живыми символами физической и духовной силы грузинского народа. Эти образы живут в сознании нашего народа с неослабевающей силой воздействия, неизменно волнуют мысли и чувства читателя, зовут ум и сердце его к благородным и героическим деяниям.

Ненавистной своре эксплуататоров и палачей, разложившимся царским чиновникам и темному миру одержимого корыстными целями дворянства Казбег с глубокой исторической правдой противопоставил величавый облик трудового народа, высокие чувства справедливости и гуманности. В творениях Казбе-



ги народ этот действует не только в лице своих лучших и типических представителей, но сам непосредственно, во всей своей коллективной сущности. Народ является главным и любимым героем в творчестве Казбеги. В этом смысле его творчество может считаться лучшим образцом народности литературы.

Угнетенный, но отважно и непреклонно защищающий свои права, грузинский народ нашел в лице Казбеги большого художника, замечательного певца. Почти все положительные герои Казбеги гибнут в неравной борьбе, но в самоотверженности своей они претворяют непобедимые идеи правды и свободы.

Каждая написанная им строка дышит светлым и возвышающим чувством социального оптимизма.

Важа Пшавела в своем стихотворении на смерть Казбеги воспроизвел незабываемый образ писателя-рыцаря, самоотверженно ратующего за права угнетенного народа: на челе Казбеги — терновый венец, в руках у него — меч. Поистине, острым мечом, разящим беспощадно, было перо выдающегося писателя, про которое в том же стихотворении Важа говорил, что оно «кровью писало».

Велики заслуги Казбеги перед грузинским народом. Он мощно отозвался на национально-освободительное движение, развернувшееся во второй половине девятнадцатого века и возглавляемое Ильей Чавчавадзе и Акакием Церетели.

Когда измученный, преследуемый темными силами эпохи, писатель преждевременно оканчивал свою жизнь в больнице, его произведения, изданные в четырех томах, с большим успехом распространялись в народе, который, говоря словами Акакия Церетели, «приникал к этим книгам, как жаждущий приникает к роднику».

К тому времени в нашей стране выросло рабочее революционное движение, в ней распространяется марксистское учение, создаются первые марксистские организации, надвигаются бури пролетарских боев, которым предстоит низвергнуть мир рабства и тирании, с таким гневным презрением изображенный Александром Казбеги.

Прославленный писатель не дождался наступления этих боев. Он не успел приобщиться к теории научного социализма и классовой борьбы пролетариата. Но творчество Казбеги бесспорно сыграло большую роль в воспитании боевого революционного духа грузинского трудового народа. И в годы под'ема

Воспоминания о жизни и творчестве Александра Казбеги

34935340
1979.11.01.03

рабочего революционного движения в Грузии народ черпал в произведениях Казбеги чувство непримиримой ненависти к угнетателям и находил примеры самоотверженной борьбы за честь свою и свободу, зовущие его к беззаветным подвигам.

Александр Казбеги оказал огромное воздействие на все последующее развитие грузинской прозы.

Однако, творчество Казбеги и до сих пор продолжает сохранять глубокую актуальность и силу воздействия. Творческое наследие его входит в сокровищницу тех культурных ценностей прошлого, на основе критического освоения и использования которых советский народ строит новую социалистическую культуру.

Коренные социальные и политические изменения, происшедшие в нашей стране на протяжении более чем столетия со дня смерти писателя, не только не ослабили интенсивности его влияния на народ, но, наоборот, усилили и углубили это влияние.

Творчество Казбеги помогает нам глубже осознать, из какой тьмы вывела нашу страну великая социалистическая революция, насколько жизненно необходимы для нас навеки восторжествовавшие в нашей стране великие социальные и национальные свободы, с какой преданностью и самоотверженностью должны мы отстаивать и укреплять наши завоевания. К этому зовет и этой мыслью воодушевляет нас каждое творение поэтического гения Казбеги.

Для нашей советской эпохи, — самой героической эпохи в истории человечества, — для советского народа, — самого героического и рыцарственного народа в мире, — является близким и родственным творчество Казбеги, пронизанное духом мужества и героизма.

Любовь к родной земле, к своей отчизне, вдохновенно воспеваемая писателем, находит живой отклик в духовном мире советских людей.

Идеи свободолюбия, гуманности и социальной справедливости роднят Казбеги с советским народом, победоносно возглавляющим борьбу прогрессивного человечества за свержение мира капиталистического рабства и дикого расового гнета.

Для мастеров советской литературы творческое наследие Казбеги является большой школой высокой идейности и народности художественного творчества. Обостренное чувство современности, связь с передовыми идеями эпохи и жизнью народа,

сила правдивого изображения действительности ставят Казбеги в ряд славных предшественников советской литературы.

С чувством законной гордости вносит грузинский народ творчество Казбеги в сокровищницу лучших достижений классической культуры братских народов нашей советской родины.


* * *

«Согласись, читатель, — стоны моего народа не могли остаться чуждыми мне, ибо все мое существо связано невидимыми нитями с существом моей страны», — писал Казбеги. Вся история жизни и творчества писателя, поистине, неотъемлема от жизни народа, любовь и сострадание к которому с детства овладели его сердцем.

Александр Казбеги родился в 1848 году, 8 января по старому стилю, в селении Степанцминда (нынешний Казбеги) в семье богатого и знатного феодала. Предки писателя носили фамилию Чопикашвили. Фамилия же Казбеги впервые была присвоена деду писателя Гавриилу, отличившемуся еще при царе Ираклии II своим незаурядным мужеством и умом. Царь приблизил его к себе и назначил правителем Степанцминды. Когда Ираклий II окончательно решил приобщить судьбу Грузии к России, Гавриил Казбеги примкнул к этой политической ориентации, составлявшей многовековую мечту грузинского народа и его умнейших руководителей. Гавриил Казбеги сыграл большую роль при вступлении русских войск в Грузию. Царское правительство отличило его, наградило чином майора; он был назначен правителем всего Хеви. Отец Александра, Михаил, старший сын Гавриила, после смерти последнего унаследовал его должность и звание. Михаил Казбеги занял еще более высокое положение, чем его отец, и был назначен правителем всего горского округа.

Первая жена Михаила Казбеги была родственницей грузинских поэтов-романтиков Николая Бараташвили и Григория Орбелиани. Это сблизило семью Казбеги с передовой грузинской интеллигенцией того времени. Сам Михаил Казбеги писал стихи. Большой любительницей литературы была и вторая жена Михаила, мать писателя, Елизавета Тархнишвили.

Будущий писатель, как единственный отпрыск столь богатой и знатной семьи, воспитывался в большой роскоши. Вся семья благоговела перед ним, видела в нем будущего достойного продолжателя могущества рода.




Однако, мальчик всем существом своим влекся к угнетенному народу. Один из первых биографов Казбеги рассказывает: «Он не уживался с барским укладом, убегал от мамок и нянек к деревенским мальчишкам, часто его находили среди маленьких пастухов». Об этом свидетельствует и Акакий Церетели, близко знавший семью Казбеги: «Он с детства любил простой люд, души не чаял в деревенских парнишках».

Немалую роль сыграла в воспитании мальчика его няня — горская крестьянка Нина, которая рассказывала ему народные сказки и предания, сильно впечатлявшие ребенка и будившие в его сознании любовь и сострадание к народу. В одном из своих писем к кормилице Казбеги, уже прославленный писатель, говорит: «Вспомни-ка те времена, когда за мною, маленьким, смотрели, как за сыном царя, баловали меня чрезмерно, приучали к зависти, чванству и злобе. Вспомни и сказки свои: «Турецкий цветок», «Утешение народа», «Пираты» и другие, которым я верил больше и которые глубже запечатлевались в моей душе, чем наставления родных! Ты помнишь, с каким сочувствием ты рассказывала мне об участи слуг и крепостных под властью господ? Помнишь, сколько раз я лил горючие слезы, слушая тебя? Не пропали даром твои слова, они долго таились в моем сердце, и теперь, после стольких годов, когда пришло время отчитаться в своих поступках, я могу с гордостью сказать тебе: если в твоём воспитаннике есть что-нибудь хорошее, усвоенное им с детства, то это только от тебя, за что благодарю тебя безгранично».

Александр Казбеги гордился тем, что он рос в недрах мужественного и храброго горского народа: «Да, мой читатель, там я родился, там вырос, там же сосал из груди горской женщины молоко, в котором как бы растворялась вся величественность горной природы!»

Начальное образование Казбеги получил дома под руководством специально приглашаемых преподавателей и гувернеров. Одиннадцати лет он был отдан в частный пансион и потом в гимназию, в которой до него учился Николай Бараташвили, а позднее Илья Чавчавадзе. Он в совершенстве овладел русским и французским языками и увлекался музыкой. В 1866 году умер отец Казбеги, и он, не окончив курса в средней школе, вынужден был вернуться домой. На него легла вся тяжесть ведения отцовского хозяйства. Однако, жизнь хевского помещика-феодала отнюдь не привлекала молодого Казбеги, который уже тогда был увлечен передовыми идеями национального освободительно-



го движения. Он мечтал получить высшее образование и, пополнив живишись знаниями, вступить на путь служения своему народу. Он твердо решил, по примеру своих предшественников «тергдалеулеби», поехать в Россию, сблизиться с передовой русской интеллигенцией, приобщиться к ее прогрессивно-социальным идеям, чтобы, подобно ей, бороться за свободу и счастье народа. Не имея ценза для поступления в какое-либо из высших учебных заведений Петербурга, он устроился через своих товарищей вольнослушателем в Московскую сельскохозяйственную Академию. «Больше всего радует меня, что сбывается моя мечта стать образованным человеком, а не офицером, — дело, недостойное даже упоминания, не только того, чтобы заняться им», — писал Казбеги своей матери из Москвы. Он верил, что, обогатившись достижениями передовой русской культуры и общественной мысли, он сумеет вернуться на родину достойным ее сыном. «Правда, я взялся за весьма и весьма трудное дело, но надеюсь добиться своего, и тогда, подобно Давиду, обезглавившему Голиафа, я поборю все трудности и вступаю в ворота Грузии со славой», — писал он.

Надежды на переезд в Петербург не оправдались, сельскохозяйственная Академия не соответствовала конечным целям Казбеги. Это влияло на него угнетающе, к тому же он начал хворать и был вынужден вернуться на родину.

Осенью 1870 года он уже снова в Хеви, в родной семье.

Годы, проведенные в Москве, не прошли даром для Казбеги. Он пристально следил за пробудившейся общественной жизнью России шестидесятых годов, много читал, писал стихи, занимался переводами образцов русской и европейской классической литературы. В эти годы перевел он на грузинский язык «Горе от ума» Грибоедова и «Ромео и Джульетта» Шекспира. Написанная им в этот период студенческая песня свидетельствует о том, что он был воодушевлен идеями борьбы с самодержавно-помещичьим строем и колонизаторской политикой царизма. По возвращении в Грузию он освободил горские деревни от податей и повинностей, возложенных на крестьян его отцом и дедом, покинул родовой дворец, отказался от положения господина-феодала, взял в руки посох и стал пастухом. Он поставил себе целью пристальнее и глубже изучить жизнь своего народа, познать его горести и радости, чтобы впоследствии суметь со всей правдивостью отобразить их в своем творчестве. Для того времени это был беспримерно смелый шаг: он знаменовал собой

решительный отказ Казбеги от породившего его сословия и переход на сторону народа.

В дворянской среде этот поступок Казбеги вызвал крайнее возмущение. Хевские же пастухи вначале недоверчиво огнеслись к такому непонятному поступку барского сына. Но ничто не могло поколебать решения молодого Казбеги, воодушевленного благородными намерениями. Он не посчитался со злопыхательством знатных родственников, а народу скоро доказал на деле искренность своего поступка. Он завоевал доверие и любовь пастухов, его прозвали «щитом горцев».

Семь лет провел он, пастушествуя. Это были годы, полные многих лишений и бедствий. Без отдыха и сна скитался он в зной и непогоду под открытым небом по склонам и долинам кавказских гор. Обо всем этом он с неподдельной искренностью рассказал в своем замечательном автобиографическом произведении «Пастушеские воспоминания». Эти годы непосредственно подготовили начало большой творческой жизни Казбеги. Они дали писателю неиссякаемое обилие образов и тем, большой жизненный опыт, глубокое знание народного духа, — все то, что впоследствии легло в основу его произведений. Тогда же обрел он исключительную зоркость в восприятии природы, так пластично воссоздаваемой во всех его творениях. В пастушеской среде почерпнул он все богатство народного творчества горцев. «Если кто-либо, читая мои произведения, находит в них радость для своей души, с увлечением следит за ними до конца, в этом виновато мое прошлое, мое пастушество, семь лет жизни среди вас, когда одной общей болью объединялись наши сердца, устремлялись к одной общей цели», — писал Казбеги к одному из своих старых друзей-пастухов.

В 1879 году Александр Казбеги переселился в Тбилиси, и началась его многосторонняя общественная деятельность. В следующем году в газете «Дроеба» появился его этнографический очерк «Мохевцы и их жизнь» — первое его выступление на страницах прессы. Редактор газеты «Дроеба», крупный деятель тогдашней грузинской прессы, пригласил Казбеги постоянным сотрудником газеты. Большие заслуги имеет Казбеги в деле развития грузинского театра, возрождение которого в восьмидесятых годах прошлого века непосредственно связано с его именем. В 1880 году впервые была сыграна на грузинской сцене пьеса Казбеги «Один из несчастных». За этим последовали другие его драмы и комедии: «Царевич Константин», «Утро после свадьбы».

бы» и др., занявшие видное место в репертуаре грузинского театра. Его перу принадлежит около двадцати пяти оригинальных и переводных пьес.

Однако, сила его большого таланта ярче всего выявилась в его неувыдаемых романах и повестях. В 1881 году в газете «Дроеба» появилась повесть Казбеги «Элгуджа», подписанная псевдонимом «Мочхубаридзе». Слово «мочхубаридзе» буквально означает «драчун», — так он был прозван в детстве своей матерью из-за драчливого нрава. Появление «Элгуджи» вызвало всеобщее восхищение. Впервые в грузинской литературе появились герои-горцы. Полные глубокого драматизма картины мужественной борьбы горских крестьян за свою честь и свободу, их благородные образы, отмеченные цельностью характера и высокой моралью, сразу же нашли путь к сердцу читателя. Прославленный маститый грузинский поэт-романтик Григорий Орбелиани, прочитав в газете повесть «Элгуджа», сделал на полях восторженную приписку: «Прекрасно! Очень обрадован! Это — грузинский Гомер! Ура! Да благословит тебя господь, Мочхубаридзе, за то наслаждение, которое эта повесть доставила моему сердцу!»

Рабочие, набравшие повесть, отказались продолжать набор, если писатель не продлит повествование и герой Элгуджа погибнет так стремительно, как это происходило в первом варианте произведения. Писатель пошел навстречу этому настойчивому требованию.

Ободренный успехом «Элгуджи», писатель начал подряд опубликовывать свои последующие творения — «Элисо», «Цико», «Отцеубийца», «Пастырь», «Отверженная», «Хевисбери» и другие. Появление каждого из них умножало славу писателя и преисполняло чувством национальной гордости сердца передовых людей Грузии. Выдающийся грузинский писатель Давид Клдашвили писал о своем впечатлении от «Отверженной» Казбеги: «Отверженная» — прекрасна. Она дает право нам, грузинам, с уверенностью сказать: «Не все погибло для нас, мы продолжаем жить и еще долго будем жить». Я с восторженной радостью прочитал эти великолепные страницы... Да будет благословенна десница, так щедро одаряющая родную страну своими творениями».

Все пленяло читателя произведений Казбеги: и увлекательность сюжетов, построенных на столкновении больших страстей, и художественное отображение одухотворенной природы, и высо-

кое искусство передачи движений человеческой души, самых сокровенных переживаний, самых напряженных чувств человека. Но всенародный успех произведений Казбегии был вызван тем, что в них находил народ правдивое выражение своих идеалов, чаяний и надежд. В этих произведениях большого гуманиста и патриота звучал воодушевляющий боевой призыв к штурму мира тьмы и рабства. В них гудел набатный звон великой скорби и гнева, отзывающийся в народном сердце.


На протяжении шести лет, с 1880 по 1886 год, создал Казбегии все произведения, составляющие его творческое наследие. Нетрудно представить себе, с какой неукротимой энергией работал он в эти годы. Одновременно писатель продолжал утомительную работу в редакции, подвизался в грузинском театре в качестве драматурга и актера. Такая интенсивная и многообразная деятельность требовала от писателя чрезмерного напряжения духовных сил. Вместе с тем, в условиях царского самодержавия, даже такая плодотворная работа не обеспечивала грузинскому писателю элементарных жизненных благ. В самые продуктивные годы своей творческой жизни Александр Казбегии влачил полуголодное существование и часто, работая над своими бессмертными романами и повестями, сидел без керосина и огня.

В то время, как народ восторженно принимал каждое новое произведение Казбегии, слуги реакции злобно преследовали писателя. Царская цензура стремилась подрезать крылья вдохновению Казбегии. В 1884 году весь тираж первого издания «Элгуджи» был конфискован полицией и сожжен. Цензура беспощадно искажала произведения писателя. Приспешники царизма и дворянства всевозможными сплетнями и гнусной клеветой старались дискредитировать Казбегии. «Под удивительной звездой я рожден! Обязательно должны вооружиться против меня «герои» всевозможных степеней и достоинств... И каждый из них считает своим непреложным долгом зарыть меня заживо в землю», — с горечью говорил писатель о себе.

Крайне напряженная и непрерывная работа, тяжелые жизненные условия, преследования и гонения рано подорвали здоровье писателя, нарушили его душевное равновесие. Он тяжело заболел. С 1886 года он больше не писал ничего, что было бы достойно его большого таланта. В 1893 году Александр Казбегии в одиночестве и лишениях скончался в Тбилиси.

Вся Грузия с великой скорбью провожала в могилу своего

1893
1848
—
45



любимого писателя, тайноведца народного сердца. Его похоронили во дворе отцовского дома в селении Казбеги. Редактируемая Ильей Чавчавадзе «Иверия» писала: «Умер! Но кто выдумал это слово по отношению к бессмертному? Что может причинить одна смерть рожденному дважды, тому, чье чело помазано миром божьим! Казбеги родился вторично в тот день, когда свой могучий талант посвятил родине. Душа каждого грузина отныне качает его колыбель. Смерть не смеет коснуться того, кто вырос в подобной колыбели! Он будет жить, пока не померкнет слава Грузии, пока будет жить хоть один грузин, пока будет звучать речь грузинская!»

В тот период, когда Александр Казбеги вступил на литературное поприще, литература Западной Европы, утратив традиции классического реализма, находилась в состоянии упадка и декадентского разложения, в ней господствовали настроения индивидуализма, безнадежности и отчаяния, характерные для выражения духа обреченной на гибель буржуазии. Мистицизмом, антигуманистическими идеями и нервозностью было отмечено большинство литературных произведений того времени на западе. В последние десятилетия прошлого века прогрессивные идеи великой освободительной борьбы оказывали все большее и большее влияние на литературу нашей страны. С новой силой утверждались в ней глубокие традиции реализма и народности. Появление Александра Казбеги в грузинской литературе знаменовало собой новый расцвет как раз этих лучших творческих традиций в грузинской литературе. Совместно со своим великим соратником и современником Важа Пшавела Казбеги мощной рукой подхватил литературное знамя, служащее прогрессивным идеям эпохи. Александр Казбеги непосредственно продолжал творческие традиции Ильи Чавчавадзе. Истоком вдохновения Казбеги является образ мохевца из «Путевых заметок» Ильи Чавчавадзе, — этот мохевец словами: «Наша жизнь должна принадлежать нам самим!» выразил высшие стремления грузинского народа.

Идея патриотизма пронизывает все творчество Казбеги. Но чувство самоотверженной любви к отчизне у него всегда неразрывно с чувством справедливости, с идеями гуманности и непримиримой борьбы с притеснителями и эксплуататорами трудящихся. С беспощадной силой вскрывал он всю моральную низость феодального сословия, его враждебность к народу — в образах Таги Чопикашвили («Элгуджа»), Горджасп Гудушаури («Цико») и др. С огромной любовью рисовал он и воспевал

борьбу грузинского крестьянства с феодальным гнетом. В одном из лучших своих произведений «Хевисбери Гоча» писатель в волнующих картинах изобразил мужественный отпор, данный горскими крестьянами кровавому феодалу Нугзару Эристави.

В предисловии к повести «Элгуджа» Казбеги, наподобие знаменосцев русской революционной демократии, разоблачил непомерную лживость и лицемерность крестьянской реформы. Для того, чтобы показать, как подло поступило самодержавие с крестьянством, как вероломно был обманут народ, Казбеги, по собственным его словам, написал повесть «Элгуджа».

С чувством гнева и отвращения рисует писатель ненавистные образы изменников народа, из корыстных целей ставших слугами царизма. Гиргола в «Отцеубийце», Гела в «Пастыре» и им подобные отщепенцы своего общества чаще всего вызывают те потрясающие человеческую душу драмы, о которых рассказывает Казбеги в своих произведениях. И там же проходит чудовищная галерея чиновников царской бюрократии, уездных начальников, приставов, офицеров карательных экспедиций. Вышвырнутые из России из-за полной своей непригодности или ищущие на Кавказе легкого успеха и карьеры, чиновники эти уродливо и грубо проводили колонизаторскую политику царизма, неизменно возбуждая против себя ненависть народа, постоянно разжигая ее. Это чувство справедливого народного гнева со всей исторической правдивостью отобразил Казбеги в своих романах и повестях.

С глубоким сочувствием относился Казбеги к массе русских солдат, поработанных и бесправных, оторванных на долгие годы от родного очага, насильственно угнанных в эти далекие, чуждые им края. Достаточно вспомнить, с каким унылым недоумением шли русские солдаты по Пасанаурскому ущелью на бой с восставшими горцами — в повести «Элгуджа». Казбеги ясно понимал глубокую разницу между русским народом и русской самодержавной властью, которая была злейшим врагом трудящихся России, как и всех других национальностей, стонавших в мрачной «тюрьме народов».

Патриотизм Александра Казбеги не имеет ничего общего с национальной ограниченностью. Элисо и Важия, Мзаго и Элгуджа — люди разных национальностей и вероисповеданий, — однако это обстоятельство не мешает их взаимной искренней дружбе и любви. Чувство любви к родине в творчестве Казбеги сгармо-

идеями мирного содружества народов. Это чувство должно подчинять себе все другие человеческие интересы и устремления.

В повести «Хевисбери Гоча», произведении большого трагического звучания, Казбег с огромным мастерством показал столкновение таких больших человеческих страстей, как долг перед родиной, с одной стороны, и любовь к женщине и отцовская любовь — с другой. И в этой коллизии патриотическое чувство обретает силу и значение высшей моральной нормы. У старого хевисбери, героя этой повести, не дрогнула рука, когда он совершил справедливый суд и убил своего единственного любимого сына Онисе, нарушившего высший патриотический долг во имя любви к женщине. Казбег не пощадил даже женщину — прекрасную Элеонору, которая из-за честолюбия обрекла на гибель многих храбрых сынов своей страны. От нее с ненавистью отвернулся Кречишвили — герой новеллы «Элеонора», безгранично любивший ее и готовый пожертвовать жизнью ради права стать ее супругом.

Так же, как и в гениальной поэме Руставели, в творчестве Александра Казбег мужество и отвага воплощены не столько в физической мощи, сколько в моральной человеческой личности. Ореолом мужества окружает Казбег не только юношей, способных сразиться в неравном бою с врагами, но также и старого пастыря Онуфрия, и нежные образы своих героинь. Героини Казбег (Нуну, Маквала, Мзаго) с удивительной стойкостью отстаивают свои высокие нравственные права и проявляют подлинную отвагу в преданности, любви и дружбе. В этом смысле Казбег — достойный преемник творца величественных образов Нестан-Дареджан и Тинатин. Он продлил и углубил извечную традицию грузинской литературы — воплощать в женских образах высшие черты грузинского национального характера.

Рыцарское чувство дружбы занимает одно из первых мест в моральном кодексе героев Казбег. Связанные клятвой побратимства, друзья самоотверженно делают горе и радости, — они всегда готовы отдать жизнь друг за друга. И это не составляет преимущества избранных личностей, а оказывается органическим свойством всего народа. Самым ярким олицетворением чувства дружбы является образ героя «Отцеубийцы» Коба. Кто хоть однажды прочитал эту бесподобную эпопею единоборства святого чувства любви с низменными инстинктами темных сил общества, тот навсегда сохранит в своем сердце светлый образ Кобы — благородного рыцаря дружбы, правды и добра.

Нет ни одного произведения Казбеги, в котором любовь не составляла бы основной движущей силы сюжетной драмы. Вся атмосфера жизни героев Казбеги пронизана этим чувством. Любовь — достояние только благородной души. Начальники и диамбеги не могут любить, они только способны на насилия. Для них закрыты сладость и счастье любви. В любви герои Казбеги верны и непоколебимы до самой смерти. Чувство это, часто зарождающееся внезапно и стихийно, овладевает всем существом человека, подчиняет себе разум его и сердце, определяет все его действия. И часто любовь воодушевляет человека на чудесные героические дела (Элгуджа, Иаго, Коба и др.), иногда же толкает его на измену долгу, дружбе, родине (Матиа, Онисе и др.). В последнем случае катастрофа неизбежна. Самые разнообразные проявления, все оттенки любви с изумительным мастерством изобразил Казбеги в своих творениях.

Александр Казбеги — один из прекраснейших художников природы в мировой литературе. В мощных и ярких красках, с осязаемой пластичностью воссоздает он пленительный ландшафт горной Грузии. История жизни и борьбы героев Казбеги протекает всегда среди природы, воспроизведенной проникновенным поэтическим чувством. Природа не является только лишь декоративным фоном жизни и действия людей. Она действительно проникает в духовный мир героев Казбеги, сопутствует движению их чувств, участвует в их повседневном быту. Все явления природы воспринимаются писателем с точки зрения их воздействия на человека, их взаимоотношений с духовной жизнью героя. Природа то сочувствует печалям и скорбям человека, то радуется его победе, то порицает его за недостойные поступки.

О своей концепции одухотворенного восприятия и изображения природы Казбеги говорит: «Природа хороша лишь тогда, когда в ней кипит сама жизнь, кипит во всем многообразии радостей и горестей, сопутствующих жизни человека. К чему луне проливать свое сияние на тысячи цветов, если не видит она человека, который радуется или утешается ею? Я не поклоняюсь бездушным, безжизненным вещам. Ни мечты мои, ни разум мой, ни перо мое не могут заниматься мертвыми, неподвижными предметами».

Грузинская литература имеет долгую и богатую традицию углубленного изображения природы. Однако один лишь Важа Пшавела может сравниться с Казбеги в мастерстве действенного пейзажа, пронизанного человеческой драмой. Казбеги зани-

мает одно из первых мест среди писателей прошлого, в творчестве которых органически слиты романтическая и реалистическая манера восприятия и отображения действительности. В его произведениях мощно бьет струя романтического мировоззрения. Этим определяется его ощущение природы, его способность проникать в духовный мир своих героев, известная приподнятость и возвышенность его литературного стиля. Но при этом Казбеги не допускает компромисса в художественной правде, он дает всегда четкие реалистические картины быта, рисует полнокровные человеческие характеры, истинно по-шекспировски раскрывает душевную драму человека.

Казбеги не может смотреть индифферентно на всеобъемлющий мир, воспроизведенный в его творчестве. Возмущенное отношение к жизни и человеческим судьбам придает исключительную эмоциональную силу его творениям. С большой естественностью сочетаются в его письме эпическое повествование и лирический трепет. Григорий Орбелиани назвал его первым драматическим прозаиком Грузии. И, в самом деле, каждое его творение дышит глубоким драматизмом и безмерно волнует ум и сердце читателя.

Казбеги — подлинный виртуоз композиции. Его произведения обычно открываются напряженными и осложненными ситуациями. И дальнейшее действие развивается со все возрастающей стремительностью и динамичностью. Всякая неожиданность у Казбеги возведена до типической убедительности.

Если значение слова в художественной литературе измеряется не законами грамматики и чистописания, а интенсивностью передачи мысли и чувства, степенью воздействия на читателя, то Казбеги должен быть признан одним из крупнейших мастеров художественного слова.


* * *

Александру Казбеги, как и многим другим великим художникам прошлого, присущи известные противоречия. Он преувеличивает достоинства родового общества. Но вместе с тем он показывает всю несовместимость жестоких норм общинного строя со свободным развитием свободных чувств и устремлений человека. Писатель зачастую чрезмерно восторженно рисует далекое прошлое Грузии, хотя он, в то же время, является непримиримым врагом социального неравенства и рабства, некогда царивших в нашей стране.

Возвышенные социальные идеалы Казбеги не лишены некоторой утопичности. Однако совершенно ясно и несомненно, что писатель стоял на передовых позициях идейной жизни и общественных взаимоотношений своего времени и своим могучим талантом способствовал ускорению социального прогресса и преобразования жизни. Писатель не мог с полной ясностью осмыслить правильные пути и средства к низвержению самодержавно-помещичьего строя и освобождению народа. Но он с неизменной верой предвидел счастливое будущее своего народа, непоколебимо надеялся на приход этого будущего. Эту непоколебимую надежду писатель вложил в уста одного любимого своего героя, который говорит: «Придет время, и туман рассеется, выглянет солнце, времена изменятся, и излечится больной. Брат узнает брата, и объединенная Грузия единодушно и в едином устремлении возродится к жизни».

В нашу великую сталинскую эпоху вдохновенная мечта писателя стала действительностью. Грузинский народ, навеки возрожденный в единой семье братских народов нашей отчизны, неувядаемым ореолом славы окружает имя своего любимого писателя Александра Казбеги, и слава эта выходит далеко за пределы Грузии.

Бесо Жгенти




ХЕВИСБЕРИ ГОЧА

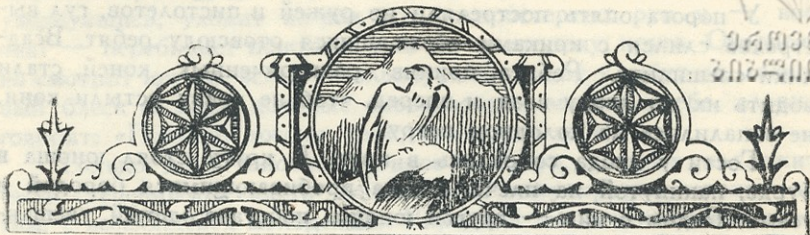
ЭЛГУДЖА

ПАСТЫРЬ

ЭЛЕОНОРА

ПАСТУШЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ





Хевисбери Гоча

1



Вечером, часу в девятом, под'езжали к селу Каноби вооруженные всадники с двумя порожними санями.

Молодые, все как на подбор, один стройнее другого, весело ехали всадники, пели, постреливали из ружей. Не на разбой, видно, ехали:

слишком мало их было, а село — защищенная крепость, — к нему открыто не подступишь.

Вот совсем уже близко село. Вот уж и сельские юноши, вскочив на коней, полетели навстречу гостям. Все слилось — переключка, стрельба. У коней словно выросли крылья. Ружья в руках у джигитов сверкали, как молнии. Упруго изгибались джигиты, свешивались с коней, ладонью касались земли, снова стрелой выпрямлялись в седле и, колыхаясь, с нежно-стремительной легкостью неслись друг другу навстречу.

Встретились, кони сошлись — голова с головой, вот-вот сшибутся грудью. Но вдруг застывают на месте, как заколдованные, как высеченные из камня, и веселыми приветствиями оглашается воздух:

— Доброй дороги!

— Доброй дороги и вам!

А потом расспросы, поклоны, и все вперемежку сворачивают с дороги к одиноко стоящему дому; там в окнах — огни, там — плеск ладоней, веселые звуки пандури.

3419367430
19193

У порога опять постреляли из ружей и пистолетов, гул выстрелов слился с криками сбежавшихся отовсюду ребят. Всадники спешили. Ребята, приняв разгоряченных коней, стали водить их по двору взад и вперед, чтоб не сразу остыли кони, не запалились на холодном ветру.

Гости у входа собрались в круг. В кругу стоял юноша в бурке, накинутой на плечи, с едва пробивающимися бородой и усами. Рядом с ним — другой юноша, побогаче одетый, увешанный оружием с золотым и серебряным набором.

Все смолкли, тишина обступила дом.

Из этой тишины сперва еле слышно, потом все явственней выступили нежные звуки «Джварули». Голоса подхватили напев, и гармонический гром могучей песни, зовущей на подвиг людские сердца, величаво наполнил окрестность. Эту песню поют только в горах, только суровая природа высот могла породить такие чистые, мощные звуки.

Эта песня поется в походах, с этой песней поднимают знамена, с нею празднуют свадьбы. Теперь была свадьба. В кругу стояли рядом: юноша в бурке, Гугуа Пичитаури, жених, и другой, побогаче одетый, Онисе, первый дружка, сын прославленного вождя Хеви — хевисбери Гоча.

2

Гости вошли в переполненный дом, старшие выступили навстречу с приветствиями. Благословили путь жениха, обвели его вокруг очага, усадили на главное место рядом с дружкой и со старейшим в доме. Снова уселись за стол, снова начался пир, и пошла по рукам круговая заздравная чаша.

Но пировали только мужчины. Женщин не было видно, только слышались их голоса за перегородкой, в дальнем углу. Там провожали невесту. Там были песни и пляски, туда потянулись и юноши: восхищенно глядели они на стройных красавиц, выходявших в круг танцовать лекуру.

Вот где было веселье! Плясали девушки, дразнясь, убегали от юношей. Вот, лукаво глянув на смуглого парня, раззадорив его, потянув за собой, — глядишь: ускользает красавица то словно тихая речка, то словно бешеный горный поток.

Убегает мохевская черноглазая девушка, как вспугнутая серна, на лице ее страх; расправив орлиные крылья, устремляется юноша следом за ней. Усталость одолевает нежную. Охотник все ближе и ближе, вот уж он раскрывает об'ятья, — нег

спасенья трепещущей горлинке! Пустые надежды! Девушка, увернувшись, уходит из-под его распростертых рук и — вон она! — перебирает ножками уже по ту сторону круга. Осоросенно смотрит юноша вслед ускользнувшей, видит улыбку ее, ласковый блеск ее глаз, которые снова зовут, манят к себе, словно говорят: «Поймай, догони меня, буду рада тебе!»

Только двум юношам, Онисе и Гугуа, сегодня надлежит быть степенными, сидеть чинно, хотя всем сердцем своим они там, с веселящейся молодежью. Украдкой поглядывают они в ту сторону, откуда доносятся звуки веселья и плясок. Гугуа томится желанием хоть разок взглянуть на свою милую Дзидзию, а Онисе мечтает пронзить соколиным своим взглядом девушку, — все равно, кто бы она ни была, лишь бы глаза ее блестели, лишь бы манили уста, розовели юные щеки, и воспламененное сердце бурно гнало по жилам горячую кровь.

Вдруг расступились гости: вошла мать невесты. Все встали, приветствуя ее. Прямо подошла она к первому дружке, обняла его и прижала к своей груди.

— Ну, вот, дорогой мой, — сказала она, — тебе я поручаю дочку мою... Присматривай за нею, заботься о ней, и всякого, кто посмеет обидеть ее, накажи!

— Богом клянусь тебе, Хазуа, жизни своей не пощажу! — ответил юноша. — Обидчик ее будет иметь дело со мною, — сурово прибавил он, — а со мною шутить, ей-богу, никому не советую!

— Гугуа еще молод, — продолжала старуха, — а мир велик и пестр, на каждого не угодишь... И чего только не может натворить язык человеческий! Ты вразумляй этого юношу, чтобы не слушался он чужих наветов. Немало врагов на свете. Не выдержит бедная моя дочь, если собьет его с пути людская молва, исчахнет, истает вся...

— К чему, к чему такие речи, Хазуа? — прервал ее Онисе. — Гугуа хоть и молод еще, но он не какой-нибудь пьяница и не пустой человек... Товарищи берегут его, как зеницу ока, встанут за него все, как один, потому что и сам Гугуа не пощадит себя ради друзей. Отважный он человек и, богом клянусь тебе, не посрамит он вашу семью.

— Слова твои — мед, дорогой мой, век бы слушала их! — воскликнула старуха. — Не осуждай меня, Онисе!.. — смущенно прибавила она. — Состарилась я, с адовых времен на свете живу, одна единственная у меня дочка и никого больше нет... И свет, и солнце она для меня, в ней одной — отрада моя.

— Перестань, Хазуа, утомишь гостя! — крикнул старик из дальнего угла. — Приготовь невесту да поскорее вручи ее дружке!

— Сейчас, сейчас, мои милые... Идем, Онисе! — заторопилась старуха. Завистливым взглядом проводил Гугуа друга; тот шел к его желанной Дзидзии, а жениху, по обычаю, не следовало до свадьбы глядеть на невесту.

3

За переборкой, в темной клетке, скупо освещенной мерцанием лучины, печально сидела среди бочек и кувшинов невеста со своими подругами. Чего только не выдумывали девушки, чтобы развлечь, развеселить невесту!

Шестнадцать лет минуло Дзидзии, и была она в той цветущей поре, когда буйствует юная кровь, а сердце рвется к еще неизвестному счастью, и трепетно любитесь каждым цветком, каждой былинкой и вступает в жизнь, как в обетованную, блаженную страну. Она была стройна и красива: губы — словно нежный бутон, готовый раскрыться для поцелуя; бело-розовое лицо дышало ровным зноем, но никогда не заливал его сплошной румянец; иссиня-голубые глаза, окруженные надежной охраной длинных ресниц, сверкали из-под тонко натянутых над ними бровчатных бровей; густые черные волосы, заплетенные в две косы, плющом обвивались вокруг беломраморной шеи. Словом, Дзидзия была писаная красавица, и каждый, увидев ее, невольно восклицал: «Да снизойдет благодать на тех, кто породили тебя!»

Многие вздыхали по ней, многие пытались похитить ее, но так уж, видно, решила судьба, что избрал ее Гугуа, и она досталась ему.

А раз уж Гугуа назвал ее своей, и девушка дала ему слово, — никто больше не смел подступиться к ней: с Гугуа было опасно шутить, и солнце померкло бы для того, кто бы дерзнул теперь стать ему поперек дороги.

Дзидзия шла замуж по доброй воле, Гугуа нравился ей, и не одну ночь провела она, вздыхая по нем, не раз вставал перед нею его мужественный львиный образ. И все же сегодня, когда пришло время проститься с родным домом, с друзьями, с девичеством и стать женщиной, сердце ее сжималось какой-то смутной жалостью к себе самой, и трудно ей было расстаться со своим прошлым. А прошлое свое она помнила хорошо: ее всег-

да и всюду баловали, все любили, нежили ее, теперь же, кто знает, что ждет ее в будущем?

От безотчетного волнения лицо ее чуть-чуть побледнело, стало нежней; прекраснее, чем когда-либо, была она в этот вечер!

Тщетно старались подруги утешить и развлечь невесту. Вдруг все замолкли, пронесся шопот:

— Идет! Дружка идет!

Все повскакали с мест. Словно уколом в сердце пронзило Дзидзию какое-то неприязненное чувство. Вскочив, она быстро опустила на лицо покрывало. Вошли — Хазау, Онисе, какой-то старик и еще много девушек. Все обступили Дзидзию. Начались «плачи» по невесте, прощальные песни, грустные слова расставания девушки с родным домом, с друзьями. Подруги целовали невесту, плакали, причитали.

Но вот замолкли песни. Старец зажег восковую свечку, перекрестился, подошел спокойно к девушке, взял ее за руку и, помянув святого покровителя Хеви и ангелов его, обернулся к Онисе.

— Онисе! Вот вручаем вам девушку, чистую и непорочную голубицу... Отныне назван ты братом ей. — И старик вложил в руки Онисе дрожащую и горячую руку девушки.

От прикосновенья девичьей руки Онисе вдруг смутился, растерялся — и какая-то непонятная тревога охватила его.

— Ну, вот! Да будут защитой ей ты и честь твоя! Никого, кроме тебя, не будет в вашем селе, кто мог бы оберегать ее и заботиться о ней, отныне ты — ее названный брат.

— Перед богом клянусь, — жизни своей не пощажу ради нее!

Старец подошел снова к девушке и медленно поднял покрывало с ее лица. Как раз в это мгновение Онисе произнес:

— Она — мне сестра, а я — брат ей!

Но слова замерли у него на устах. Он вздрогнул и зашатался, словно хлебнул не в меру вина.


— Что с тобой? — спросил старик.

— Ничего, ничего, душно, голова закружилась, — еле слышно прошептал Онисе.

— Не много ли выпил?.. Дайте воды! — обернулся старец к женщинам.

— Нет, нет, не надо, чириме! — сказал Онисе. Руку девушки он все еще держал в своих руках, хотя и знал, что эта рука обжигает его, волнует кровь, сводит с ума.

Онисе провел рукой по вспотевшему лбу и, взглянув девушке прямо в глаза, громко сказал:



— Призываю в свидетели бога в небесах и землю под ногами своими, что буду любить Дзидзию, как сестру, буду служить ей, как брат, даже больше, чем брат!

Рука девушки дрогнула. Онисе взглянул на нее и быстро опустил голову. Тихий, глубокий стон вырвался из его груди, сердце забилося в тревоге.

4

Почувствовал Онисе: как море беспарусным суденышком, играет его сердцем бурно подступившая кровь, безудержно бьет она в голову, туманит взор и разум его.

Юноша негодовал на себя, досадовал, что не умеет справиться с неудержимо нахлынувшим чувством, хотел успокоить девушку ласковым словом, но пересохло во рту, сдавлено горло, язык онемел. Нет, лучше бежать от беды, так неожиданно наступившей на сердце и растоптавшей его!

Простился с девушкой Онисе и вернулся к гостям. Весело пировали они: молодежь балагурила, смеялась, старики беседовали о грядущих судьбах родной их Грузии.

Вот внесли длинные, низенькие деревянные столы, в изобилии разложили на них пунтуши — особым способом испеченные мягкие хлебцы, и жирные куски мяса, — недаром откармливали баранов для этого дня!

На дворе бушевала зима, валил густой снег. Гости торопились покончить с ужином и вернуться домой, — боялись снежных обвалов: вдруг завалят они дорогу, оставят молодых под открытым небом!

Последняя чаша «За благополучие дома сего» обошла круговую; старший в роде, сидевший во главе стола на отдельном стуле, зажег восковую свечу, воззвал к хевским угодникам и святым и вручил судьбу поезжан господа богу. Потом обернулся он к Онисе, еще раз вверил девушку его братской защите, потребовал сундук с приданым и передал его поезжанам.

Снова повели первого дружку в клеть, чтобы вручить ему невесту.

Задумчивый и смущенный, послушно исполнял Онисе все, что требовалось от него по обычаю.

Его подвели к невесте, снова вложили руку девушки в его руку и снова раздались величавые звуки «Джварули». С этой песней, казавшейся Онисе погребальным напевом, направилась дружка с невестой в общую комнату, где ожидал их жених. Уви-

дев их, Гугуа вспыхнул весь, глаза засверкали, по губам пробежала улыбка сдерживаемого счастья. От смущения он низко опустил голову.

Онισε подвел невесту к жениху. Девушка вздрогнула, и рука ее, словно нехотя, выскользнула из руки дружки. Гугуа схватил ее руку и сжал с такой силой, что она хрустнула в его ладони. Девушка чуть не вскрикнула от боли. Онισε направился к выходу. За ним двинулись жених с невестой. Так дошли они до саней, а потом забота о невесте, по обычаю, снова перешла к первому дружке. Он и невеста уселись в сани. Гугуа должен был сопровождать их верхом, — потому что нельзя жениху до венчания в церкви сидеть рядом с невестой. На другие сани уложили приданое, и весь свадебный поезд с песнями, гиканьем и ружейной стрельбой полетел в родное село.

5

Ночь была холодная, мутная. Белесовато отсвечивали сугробы вокруг. С воем налетал холодный ветер с юга, и мелкая колючая пороша царапала лицо.

Мальчик, укутанный в бурку и башлык, правил первыми санями, с трудом пробираясь по занесенной снегом дороге. Далеко было ехать!

Разгоряченные пиром поезжане ускакали вперед, весело джигитуя.

Онισε сидел в санях рядом с Дзидзией. Откинув башлык, он сдвинул папаху на затылок и подставил ледящему ветру пылающее лицо.

Миновали первые мгновенья растерянности и тревоги, — воздух освежил его мысли. Только теперь понял он, какая беда его постигла. Только теперь почувствовал и сладость первой любви и горечь сурового долга, навсегда разлучившего его с девушкой, сидящей рядом.

Жадно подставил он лицо ветру и снегу, словно ожидая спасения и успокоения от них, и они без помехи хлестали его.

Он думал, что, охладив лоб, охладит и кровь свою, успокоит взбудораженное сердце. Но, увы! С грустью убеждался он, что образ Дзидзии неодолимо овладел его сердцем и тихо, бережно и сладостно баюкает его; баюкает так осторожно, так заботливо, как только мать может качать своего первенца, как нежный ветерок шевелит шелковичный кокон, которому сама природа поручила воссоздание жизни.

Онисе решил не глядеть на девушку, не говорить с ней, зная, какая это будет для него пытка. Глядеть? Говорить? Шевельнуться не смел он, не смел вздохнуть, чтобы снова не вспикела душа.

Притихла и Дзидзия, сидела с низко опущенной головой. Кто скажет, что бушевало в ней в этот час, какие волны вздымались в сердце, к чьему образу с ужасом и тоской влеклась ее мысль?

Для чужого взора сердце ее было — словно безмолвная черная пронасть: ничего там не разглядишь, ни на что не получишь ответа.

Дзидзия была в легком шитом архалуке, плечи она закутала в шаль, — плохая защита от ветра и непогоды! Она замерзала, холод пронизывал ее лютой болью, но она молчала.

А дружке это и в голову не приходило, он весь ушел в свои думы. Будущее Дзидзии было поручено общиной его заботам, его совести. Оберегать имя и честь этой девушки, заступаться за нее даже перед мужем, — все это становилось отныне святым его долгом, — а, по слову горцев, «доверенное даже волк бережет». Что же делать ему со своею любовью? Как примирить всепоглощающую душевную боль с таким непосильным долгом?

Тем временем ветер и стужа брали свое. Девушка стала дрожать. Почувствовал Онисе ее дрожь, вздрогнул сам, как ужаленный, повернулся к ней. Тут только заметил он, как легко одета невеста. Дзидзия, его сестра, его святыня, страдает, а он даже не позаботился защитить ее!

Один поворот головы, один взгляд, одно легкое прикосновение — и Онисе вспыхнул, как порох.

— Ох, девушка, да ты замерзла совсем, а я и позабыл о тебе! — воскликнул он, весь дрожа, теряя всякую власть над собой.

— Ничего, не беда, чириме! — сказала девушка нежно и еле слышно. В ее голосе, бог весть отчего, звучала печаль.

— Бедная ты моя, да как же это не беда? Что станется со мной, если ты захвораешь? — И, сорвав с Дзидзии мокрую шаль, Онисе откинул полу бурки, укутал плечи девушки, обнял ее и с силой притянул к себе ее тонкий стан. Он прижал ее к своей груди. Сердце бурно забилось. Дзидзия не сопротивилась, оттого ли, что страсть Онисе напугала ее, подчинила себе, оттого ли, что она поняла его муки. А он, теряя рассудок, все сильней обнимал ее, все крепче прижимал к своей груди.

Одно только чувство владело им в эти мгновенья — чув-



ство беспредельного счастья, не сравнимого ни с чем на свете. Что ему люди, весь мир? Стоит ли думать о них? Лицо его медленно склонялось к лицу девушки, горячее дыхание обжигало ее. Он прикивал к ней и шептал те странные речи, которые может шептать только любящий, речи простые, немногословные.

— Тебе холодно, все еще холодно?.. Жизнь ты моя! — прерывисто шептал Онисе, и казалось: из слов вырывался огонь, пожирающий грудь, всепоглощающий, покоривший всего человека.

Дзидзия притихла, словно притаилась, молча прижалась к груди Онисе, и сердце ее трепетало от радости и страха. Раньше у нее хватало сил прятать от дружки свое сердце, но теперь, когда лицо Онисе было так близко от ее лица, когда она чувствовала его обжигающее дыхание, — все загаенное вырвалось наружу, и она с глубоким вздохом взглянула на него благодарными глазами.

Непостижимая сила влекла их друг к другу, и в одном чувстве, в одном порыве их губы слились, сладко опьяненные, помимо их воли.

6

Не было бы, верно, конца ласкам влюбленных, если бы не прервала их безжалостная случайность. Захолодал в пути один из поезжан, захотелось ему погреться водкой. Придержав коня, стал он дожидаться саней, в которых лежали бурдюки.

Когда подехали сани, увидел он, что Онисе, словно пряча от холода, уткнулся головой в бурку. Не понравилось это горцу: нельзя мужчине показывать свою слабость перед женщиной, стыдно это и унижительно, а позор одного наводит и на остальных тень позора.

Вот почему поезжанин этот, хотя и в шутку, занес нагайку над головой Онисе и громко крикнул ему:

— Эй, ты, голова, или замерз совсем?

Вздрыгнул Онисе. Он поднял голову и, как во сне, огляделся невидящими глазами. Чувство обиды угасло мгновенно. Онисе пришел в себя. Жестокая, безжалостная правда жизни лишила его всякой надежды на счастье. Человек, только что предававшийся безотчетной, безрассудной страсти, снова стал человеком разумным, отвечающим за себя. Сознание своей ошибки потрясло его, искра сожаления обожгла его душу. «Значит тщетно билось его сердце в ожидании счастья? Зна-

чит напрасно встревожил он Дзидзию, склонив ее на ответные ласки?» Вихрем кружились мысли в его голове, и чей-то неотступный голос упрямо и тонко звенел в ушах: «Напрасно ты убиваешься».

— Да что с тобой, парень, уж не пьян ли ты? — прервал молчание всадник, на которого все еще продолжал удивленно глядеть Онисе.

— Ну, чего тебе надо? — произнес он наконец, с трудом отвлекаясь от своих мыслей.

— Уж не заболел ли ты?

— Не знаю, право, что-то нехорошо мне.

Всадник вплотную подехал к саням, наклонился и заглянул в лицо Онисе. Тот отвернулся и сердито воскликнул:

— Ты что смотришь? Чего тебе надо от меня?

— Ничего мне не надо, — удивился поезжанин и прибавил: — Я хотел только посмотреть, не жар ли у тебя, — красный ты или нет?

— Что ты разглядишь в темноте? — проворчал Онисе. — Верно, жар у меня, и голова болит и кружится, — прибавил он раздумчиво.

Поезжанин пристально всмотрелся в Онисе, словно не поверил ему, хотел что-то сказать, но сдержался и рассеянно потрепал коня по груди. Видно, пришла ему в голову беспокойная мысль, и от этой мысли забыл он и про стужу, и про водку, ради которой подехал к саням.

Оба молчали. Каждый ушел в свои мысли, каждый старался разобраться в смутных своих чувствах.

Вдруг воздух огласился звуками веселой шуточной песни:

«По струнам чианури

Води смычком, играя!

Не тронь жену соседа:

Она — сестра родная!..»

В самое сердце ужалили Онисе эти слова. Песня приближалась. — это веселились поезжане в ожидании отставших саней.

Вот и окружили всадники подоспевшие сани, веселый град шуток посыпался на Онисе. Но торопливо предупредил товарищей первый всадник, что Онисе занемог и ему не до шуток. Сразу наступила тревожная тишина. Злой ветер щедро осыпал всадников с головы до ног колючим мелким снегом, наливающим на ворс их бурок, и всадники становились похожими на белые изваяния. Так двигался молчаливый свадебный

поезд следом за первым дружкой, замкнутым и мрачным, сопровождая непорочную девушку, которой не дано было знать, сколько испытаний готовит ей будущее в отпущение за сладостный миг первого чувства.

Вскоре стали пробиваться сквозь густую мглу отдельные, еле мерцающие огни, и слабо обозначились очертания домов. Они под'езжали к селу.

Всадники, почувствовав, что не подобает свадебному поезду в'езжать в село в такой гнетущей тишине, вдруг встрепенулись, раздался выстрел, кто-то гикнул, кто-то поскакал вперед вестником. Песни и крики зазвенели в горах.

Очнулся и Онисе, но, увы, сердце его болело от близкой разлуки с любимой.

7

Свадебный поезд приблизился к церкви. Величавый снежно-седой старец стоял перед церковью и приветливо вглядывался в под'езжавших. Изборужденное морщинами доброе лицо с первого же взгляда располагало к почтительному доверию. Умные глаза смотрели ласково и повелительно.

Силой и стойкостью дышал весь его мужественный облик. Правитель Хеви, — общин всего ущелья, — хевисбери Гоча ожидал молодых. Он должен был дать им первое благословение и пожелание счастья.

Онисе еще издали увидел отца, перед которым преклонялись жители всего Хеви, чье слово для всех было законом, и бледность еще сильнее разлилась по его лицу, еще суше стало во рту.

И когда остановились сани, так смутился Онисе, что соскочил с них лишь после отцовского окрика: «Сходи, чего ждешь?»

Соскочил и неподвижно стал в стороне, безучастно глядя на людей, которые сновали перед его глазами.

Женщины окружили невесту, помогли ей сойти с саней, подвели ее к Гоча. Гоча снял с головы шапку, призвал бога и сказал невесте:

— Да благословит тебя господь! — Он прикоснулся к ее руке. — Да ты замерзла совсем, дрожишь вся! — воскликнул он и, взяв обе ее руки в свои, стал крепко растирать их, заботливо отогревая. Потом соединил руки Дзидзини и Гугуа.

— Да сочетает вас господь, и да не разлучит вас человек, — громко провозгласил он.

Девушка вздрогнула при этих словах. Онисе пошатнулся, стоявшие рядом поддержали его. Запели «Джварули», и жених с невестой вступили в церковь, где ждал их священник в храмовом облачении. Гоча обернулся к сыну.

— Что с тобой? — спросил он, испытующе заглядывая ему в глаза.

— Ничего, — пробормотал Онисе и низко опустил голову, не выдержав отцовского взгляда.

— Как же ничего, когда на тебе лица нет, едва на ногах стоишь!

— Нездоровится что-то.

— Нездоровится? — медленно произнес Гоча, еще пристальнее вглядываясь в сына. — Тогда почему ты на свадьбе? Ступай домой, ложись... Найдем другого дружку.

Вмешались родственники Гугуа. Горячо упрасивали они Онисе не покидать их в такой торжественный день. Но Онисе рад был уйти от непосильного испытания. Шатаясь, направился он к своему дому. Там, в темноте, не зажигая лучины, упал он ничком на свою постель.

Гоча вошел в церковь — смотреть на обряд венчания. Невеста стояла под покрывалом, изредка вздрагивая всем телом.

— Озябла, бедняжка! — сочувственно шепнул кто-то на ухо Гоча.

Он не ответил, только провел рукой по лбу, и еще теснее сдвинулись его нахмуренные брови.

Продолжался обряд венчания. Какой-то юноша сменил Онисе. Священник подошел к жениху и спросил его, по доброй ли воле женится он на этой девушке. Жених смущенно улыбнулся и кивнул головой. С тем же вопросом обратился священник к невесте, которая стояла неподвижно, и только грудь ее высоко и часто вздымалась.

Ничего не ответила невеста, низко опустила голову. Но зашумели, заговорили женщины, — любят они отвечать за других!

— Ну, как же не по доброй воле?.. Что тут спрашивать! Если б не ее воля, не стояла бы она здесь!.. — наперебой застрекотали они.

Дзидзия продолжала молчать.



— Так по своей воле венчаешься? — снова спросил священник.

— По своей, по своей, сердечный, а то кто же, кто еще волен над нею, чтобы насильно заставить! — снова зашумели женщины, и священник, довольный ответом, приступил к совершению седьмого таинства.

8

Венчание — радостный обряд, и теперь он проходил, как обычно. Весело перешептывались дружки, поезжане, женщины. Много было шуток и беспричинного смеха.

Только невеста стояла — немая, словно камень. Молчалив был и Гоча, чье лицо дышало величавым покоем. Искренно веруя, всеми помыслами своими стремился он к всевышнему. «Глас народа — глас божий». Как избранный пастырь своего народа, молился он за народ, за детей его — жениха и невесту, вступающих в брак. Глубокое знание жизни и постоянные думы о делах народных отметили печатью большой человечности его подвижное и изменчивое лицо.

Сегодня какая-то печаль омрачала временами его высокий лоб, хмурились брови, словно тень находила на солнце, но мгновение спустя он снова с глубокой верой обращал ввысь свое мужественно-торжественное лицо.

Можно было подумать, что его многоопытное сердце чувствует приближение беды. Достаточно было его мудрым глазам взглянуть на сына, чтобы понял он: не болезнь гнетет Онисе. Но правды он еще не мог разгадать и, как вспугнутый зверь, только в воздухе чуял опасность.

Венчание кончилось. Молодых отвезли домой. Их обвели вокруг очага, а потом разлучили, — новобрачной следовало отдохнуть среди женщин. Гоча стал рассказывать приглашенных за свадебные столы.

Жених, сияя от счастья, в венце с бахромой, сидел на почетном месте, окруженный родней и друзьями.

Началось пиришество: здравицы, застольные песни — «смури». Временами брал какой-нибудь старец в руки пандури и, перебирая струны, пел на грустный лад песню о древних и любимых героях. Тогда затихал, как по волшебству, застольный шум, и все, затаив дыханье, слушали рассказ о беззаветном служении народу, о мужестве и чести, так щедро вознаграждаемых всегда народной любовью.



А потом опять пели «смури», а потом плясовую гона». Так веселились они до утра.

9

Пока шло веселье в доме Гугуа, и сердца гостей резвились, как ягнята на снежной поляне, Онисе лежал, уткнувшись лицом в подушку, не в силах поднять тяжелую, разгоряченную голову. Кровь стучала в висках, в ушах шумело. Тяжкий стон вырывался порою из груди Онисе, и он широко раскидывал руки, словно затем, чтобы выкорчевать горе из сердца. То вскакивал он, весь в холодном поту, и долго сидел неподвижно, уставившись в темноту застывшими глазами. То снова, рухнув на тахту, изнемогал от сладких видений. Но вдруг, очнувшись, вскочил он так стремительно, словно тысячи шипов вонзились в сердце, и с криком: «Нет, нет, не бывать этому!» — бросился к выходу.

— Ты куда? — В раме двери возник Гоча с зажженной лучиной в руке.

— Отец! — Онисе отшатнулся.

Старик испытующе посмотрел на сына и вошел в дом.

— На, возьми, укрепи в поставце на стене, — протянул отец лучину. Онисе взял лучину и поставил ее на каменный выступ у камина.

— Куда ты шел? — строго и спокойно повторил свой вопрос хевисбери.

— Никуда! — растерялся Онисе.

— Это не ответ, — нахмурился старик; он требовал от всех доверия к себе и правдивости.

— На свадьбу хотел!..

— На свадьбу? Поздно на свадьбу, — там одни только пьяные остались теперь.

— В горах выпал снег, зверь, верно, спустился пониже, — хотел я на свадьбе поговорить какого-нибудь охотника со мной на охоту пойти, — солгал Онисе.

Отец не спускал с него глаз.

— Ты что, мальй, шутишь?

— Почему шучу?

— Разве ходят на охоту по свежему, рыхлому снегу? Или хочешь, чтобы обвалом тебя занесло?

Не сообразил Онисе второпях, что охота в такую погоду и в самом деле опасна, — а запальчивость и неосторожность не пристали доблестному мохевцу, жителю Хеви.

04936720
307-111903
ветер

— Не занесет, — попытался оправдаться он, сдул, верно, снег со скал и оголил их.

Старый моховец еще раз взглянул на сына.

— Молчи, малый! Ты что-то скрываешь от меня!

— Что мне скрывать?

— Не знаю и не спрашиваю тебя об этом, — строго сказал старец. Ответь мне только одно, — помнишь ли ты, из какого ты рода?

Онисе с удивлением посмотрел на отца.

— Помню!

— Помни и никогда не забывай об этом, — погрозил ему пальцем старик. — Верю, что ты не станешь посмешищем для народа, — спокойно прибавил он.

Юноша, склонил голову, словно только сейчас почувствовал он свою вину, и густо покраснел.

— Ну, вот, а теперь ступай, — сказал старик, поднимаясь с тахты. — Иди, куда хочешь, только помни мои слова... помни, из какого ты рода... а человек создан для страдания!

Старик взял лучину и вышел с сыном на крыльцо. Там он еще раз взглянул на него, будто хотел еще что-то сказать, но промолчал, отвернулся и вошел обратно в дом.

Онисе продолжал стоять на крыльце. Он понимал, что отец чует беду, но еще не знает всей правды о чувстве, грозящем погубить доброе имя их семьи.

«Помни, из какого ты рода», — сказал ему отец. Нет, Онисе не опозорит свою семью. Он не станет преступником. И Онисе дал самому себе клятву — с корнем вырвать из сердца упрямое чувство. Он воскликнул:

— Да, я пойду на свадьбу!.. Я — мужчина, у меня шапка на голове, и совладаю я с сердцем своим!

Стремительно сбежал он с лестницы и вскоре переступил порог дома Гугуа, где пир еще был в разгаре, хотя приближался рассвет.

Все радостно встретили Онисе. А он, словно нагоняя упущенное, веселился больше всех, пел и балагурил без удержу.

Кончилась свадьба... Минули первые радостные дни. Подруги, по обычаю, сводили молодую за водой, разломали у родника пирог с сыром в знак доброго соседства, угостили новобрачную пирогом, спели старинную песню:

R2361.277
3



«Дружка мой,

Помоги поднять кувшин с водой!..»

И жизнь вошла в свою привычную колею.

Дзидзия стала хорошей, послушной женой, она прилежно работала в доме и по хозяйству. Никто никогда не слышал от нее грубого слова, и старшие невестки, обычно обижающие младшую, любили ее, как родную сестру.

Гугуа любил свою жену: всегда-то принесет ей какой-нибудь гостинец—кусочек чурчелы или румяное яблоко, всегда обнимет и расцелует ее. А Дзидзия молчаливо искала одиночества. Никогда не улыбались ее глаза и поблекшие губы.

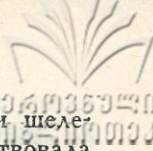
Все старались развлечь ее, жила она свободней других невесток Хеви, ходила на храмовые праздники и оплакивания умерших. Там встречались родственники и друзья, годами жившие в разлуке, там конца не было оживленным рассказам. Но Дзидзия оставалась молчаливой и скрытной, хотя у нее всего было вдоволь: и еды, и питья, и нарядов; не могла она пожаловаться на то, что мало о ней заботятся или не любят ее, но телом и душой сгибалась под какой-то тяжестью, непосильной и непонятной. Она грустила и таяла с каждым днем.

Вначале женщины старались разгадать тайну сердца своей новой подруги, но вскоре отступились, решив, что у нее от природы такой нрав.

Тем временем Онисе уехал в Пшавию, где жили его дяди, братья его матери. Там, охотясь и пастушествовая, надеялся он убить время, развеять свою печаль. Но стоило ему остаться где-нибудь в горах одному и задуматься над своей судьбой, как тотчас же снова зажигался в его сердце образ Дзидзии, и тяжелый стон вырывался из груди.

Синева небесная и облака, луна и звезды, все богатство природы, — весь мир был прекрасен лишь оттого, что образ Дзидзии сливался с ним, и Онисе без конца любовался прекрасным видением, ласкал его самозабвенно.

Миновала угрюмая, замкнуто-ледяная зима, унесла с собой свинцовые туманы, кутавшие в одежды скорби ущелья и вершины гор. Унесли северные ветры, которые с уныло-однообразным завыванием осыпали колючим снегом все живое, душили все краски и ароматы земли, иссушали их, дробили и развеивали по миру.



Природы не узнаешь: вой ветра сменился тихими шелестами. Земля согрелась, растения ожили, трава почувствовала прилив соков, приподнялась, призвала на помощь солнце. Разорвался снежный покров, превратился в ручейки, которые с ревом устремились вниз, в ущелья, не разбирая ни путей, ни дорог. Кавказские горы, освободившись от тяжелой, ненавистной ноши, встряхнули головами и набросили на плечи зеленый бархат взамен белой парчи. Цветы проснулись и, нежно кивая друг другу головками, любовно зашептались между собою. Яростный солнечный луч метался в тревоге, стремясь насладиться их красотой, но они насмешливо прятались от него в зеленой траве. Только от хлопотливой пчелы невозможно было укрыться, и цветы позволяли ей собирать с них ароматную пыльцу мягкими бархатными лапками, высасывать из пестрых чашечек сладостный мед.

Утренняя заря жемчужно кропила зеленые листья, полные соков, и охлаждала их раскаленный жар.

Воздух оглашался пеньем и щебетом птиц, перекликающихся между собою, призывающих друг друга к радости, к жизни. Все ожило; сердце каждой твари забилося тревожней в ожидании любви.

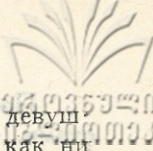
Онисе смотрел на этот праздник природы, не участвуя в нем. Сердца его не коснулась весна, оно все еще куталось в зимние облака, в нем было сумрачно и туманно.

Радость и упоение сулило всем величественное пробуждение природы, и только в сердце Онисе вливалось оно горечь, подобную соку молочая.

Ожесточенный, рыскал он, словно раненый барс, по горам и ущельям, нигде не находя себе покоя.

Еще потому тосковал он, что хотел вернуться к себе на родину, хотел снова слушать рокот родимых чистых родников. Пресной казалась ему вода на чужбине; шум ручьев не так ласкал его слух, как вой бешеного Терека, неудержимо скачущего по скалам. В мыслях своих он лелеял каждый уголок родной земли, но не смел вернуться туда, боясь, что силы покинут его, что забудет он предостерегающие слова отца: «Помни, из какого ты рода!.. Не стань посмешищем для людей!»

Надеясь, что любовь его угаснет вдали от Дзидзии, затеивал он ласковые игры с девушками, стройными тушинками. Но стоило ему обратиться к какой-нибудь черноглазой с любовным словом, как тотчас же возникал перед его взором колдовской образ Дзидзии и, лукаво улыбаясь, говорил ему: «Не убивайся зря,



не забудешь ты меня!» И Онисе в отчаянии отходил от девушки. Так пролетали дни один за другим. И все же, как ни горько ему жилось, Онисе неизменно был верен своему решению: не смеет он любить Дзидзию, должен забыть ее!

12

Однажды у подножия горы Архоти, куда тушинцы выгнали на летние пастбища овечьи стада, собрались потрапезничать пастухи. Было среди них немало мохевцев, вошедших в долю с тушинцами на нынешний приплод и теперь дожидавшихся срока.

Убоина сварилась, и собравшиеся приглашали друг друга занять места, подбирающие возрасту и положению каждого. Многие уже успели усесться, когда на гребне горы показался человек. Перекинув, как палку, ружье через плечо и подоткнув полы хочи под пояс, спешил он к собравшимся, вытирая папахой пот со лба.

Видно было, что держит он путь издалека и по очень важному делу, потому что, приближаясь, он все ускорял шаги.

Редко встречаются путники в горах, поэтому собравшиеся с нетерпением всматривались в приближающегося: каждый ждал известия от своих.

— Кто бы это был? Как спешит! — говорили пастухи, заслоня глаза от солнца, бьющего лучами прямо в лицо.

Больше всех тревожился Онисе, он даже побежал навстречу идущему.

А тот тем временем спустился в ложбину, пересекающую тропинку, и когда, мгновение спустя, он снова появился по другую сторону откоса, Онисе с радостным волнением подбежал к нему. Он узнал своего соседа, сверстника и друга, мохевца.

— В добрый час, Дата! — крикнул он.

— Дай тебе боже, — ответил Дата.

Обнялись друзья. Онисе не знал, с чего начать свои расспросы, — так много хотелось ему узнать. А Дата, словно нарочно, молчал. Слишком встревоженным казался он, чтобы молчание его можно было принять за шутку. Видно, с недобрыми вестями явился Дата.

— Ну, говори, какие вести? — спросил, наконец, Онисе, бледнея.

— Вести?.. Пойдем в шалаш, — расскажу всем сразу.

Одержимый одной только мыслью, одной заботой, Онисе, позабыв, что Дата ничего не знает про его любовь, решил: со-

сед принес вести от Дзидзии и скрывает что-то недоброе, жалея его. Его возбужденные мысли могли озарять только одну из вершин его жизни, — все остальное лежало во мраке.

— Говори, друг, не скрывай ничего, — хрипло пробормотал Онисе. — Незачем мешкать, когда быка ведут на убой, — прибавил он.

Путник с удивлением взглянул на друга и подумал, что тот боится дурных вестей из дому.

— Да что с тобой, сосед? У вас все здоровы! — поспешил он успокоить его.

— Ты правду говори, заклиная тебя!

— Да верно же, что мне врать!

Дата направился к пастухам. Онисе, все еще полный тревоги, шел рядом с ним.

— Постой-ка!.. — снова начал он.

— Чего тебе?

Онисе хотел спросить про Дзидзию, но не посмел назвать ее имени.

— Я... я... А как отец? — пробормотал он.

— Ты что, ума лишился? — удивился Дата.

— Тогда говори, рассказывай обо всех по порядку, — взмолился Онисе.

— И Гоча здоров, и твой дядя, и все домашние твои, слава богу, здоровы... И живут прекрасно, и даже ягнячьего ушка у них вдоволь!

— Тогда в чем же дело?

— А дело в том, что владетель Арагвского ущелья, дерзкий Нугзар Эристави решил нас поработить!

— Что? — не веря своим ушам, переспросил Онисе.

— Прислал сказать: если не покоритесь, пойду на вас войной и вырежу всех до единого.

— Ну, это еще посмотрим!.. Как-то он вырежет весь Хеви, как сделает нас своими рабами!.. — горячо воскликнул Онисе, нахмурясь.

Подошли пастухи.

— Это верно, — да нрав у Нугзара больно крутой, всем известен... Никому не уступит без боя.

— А что думают в Хеви?

— Готовятся... без драки не обойтись. Разослали гонцов в горы, чтобы собрать пастухов отовсюду. Вот и меня сюда снарядили. Враг поднял весь Мтиулету, осетины тоже пристали к



349363-20
318-1110103

нему, все идут против нас... Теперь они стоят в Трусинском ущелье.

— Пойдем, все пойдем! — послышались крики. Многие схватились за оружие, словно уже начинался бой.

— А ну-ка, ребята, медлить нечего! — воскликнул Онисе. Пошли! Там узнаем обо всем.

— Пошли, пошли! — И все кинулись к своим ружьям и пожиткам.

13

Светало. В ущелье Терека залег густой и белый, как взбитая вата, туман. Казалось, что окрестные села сами закутались в него. Лишь кое-где самые высокие гребни гор, прорвав плотный покров, высились над ним, словно стояли в воздухе. И еще выше над ними — восходящее солнце озаряло легким пурпуром синий край неба. Нежно мерцали побледневшие звезды в предчувствии близкого дня. Седые вершины Кавказского хребта гордо глядели сверху на гору Самеба, где на зеленом, усеянном цветами склоне возвышался древний храм святой троицы — Самеба. Туман ровными слоями подступал снизу к священному памятнику нашего прошлого, словно отрывая его от земли. Величественный кругозор открывался отсюда.

Земля спала, все было безмолвно. И это безмолвие рождало какую-то тоскливую тишину. Притих даже хлопотливый ветерок, не резвился среди пестрых ароматных цветов. Камень, скатившийся из-под ног вспугнутого тура, изредка нарушал тишину, сливаясь с шумом горных водопадов, вечно баюкающих родную спящую природу.

Протяжный свист прорезал воздух; должно быть, горная индейка почуяла своего друга в тревожном предрассветном сне.

Заалела верхушка Мкинвари, солнце надело на нее золотой венец, — переливчато заискрился белый, чистый снег. И тотчас же закудаhtала куропатка, страстно призывая друга: тоскливо одной наслаждаться прелестью мира! Встрепенулись тур и серна. Отдохнули за ночь быстрые ноги, им нужно было поразмяться, а белый, переливающийся тысячью огней снег так и манил порезвиться на нем! Одурманивала сладкая свежесть, и животные фыркали, отдуваясь. Неподалеку, в «медвежьем бору», запел дрозд, славя разлитую в природе благодать. Вдруг ударил колокол. Звуки его, расходящиеся медленными кругами, подхватил рассветный ветер и унес далеко в горы. Ударили во второй

раз, потом начался частый, размеренный звон. Проснулись сторожа в храме троицы.

Потянуло свежестью, заколыхался туман, взволновался, а тут еще солнечные лучи пришли на подмогу заре, и туман, как влюбленный, негодующий на докучный свет утра, стал украдкой пробираться по расселинам и отступил далеко за горы.

Ущелье озарилось утренними лучами, и в его извилинах зазвенел яростный, пенящийся Терек. Зашевелились в деревнях, всюду стали появляться люди, собираться толпами, с волнением что-то обсуждая. В каждом селе толпился народ, и над каждой толпой реяло свое знамя, знамя села, древнее знамя общины. Колокол продолжал звонить.

Послышались торжественные звуки воинственной песни «Гергетула», народ, обнажив головы, подхватил песню. Знаменосцы сошлись и выступили вперед, а за ними, сомкнутыми рядами, благоговейно двинулся народ, готовый идти хоть в огонь за святыней своей — знаком славы и чести.

Все шли к храму святой троицы, где заседал общинный совет и был назначен сход теми. Решение, принятое народом, было свято для каждого горца и всеми исполнялось беспрекословно.

На Троицкой горе ожидал свою паству хевисбери Гоча, за долго удалившийся туда для очищения души. Были с ним и его помощники, тоже очищавшиеся многодневным постом, чтобы стать достойными коснуться «верховного знамени» общины. А это — суровый обряд: слову, данному перед этим знаменем, нельзя изменить, — и каждый мохевец скорей умрет, отречется от родной матери, от брата... и даже от любимой своей!

Да и дело, ради которого нынче собрался народ, было нешуточным делом. Вольным общинам угрожало рабство; соседи, вчерашние друзья, шли войной; ненасытный Нугзар Эристави, лев рыкающий, в неутолимой жажде порабощения обратил свой меч против свободолюбивых горцев, пожелал подчинить их власти своей, хотя бы пролив ради этого братскую кровь.

Мохевцы понимали грозящую им опасность и хотели достойно встретить врага.

Троицкий храм Самеба стоит на верхнем краю пологой поляны, спускающейся со склона Кинварцвери.

Сверху поляну замыкает небольшая гора со стройной, ок-

руглой вершиной, а внизу — крутой обрыв спускается к Тереку, до самой деревни Гергета.

Гордо возвышается церковь из тесаного камня; рядом — колокольня и здание общинного совета. Сама природа обвела это место крепкой, прочной оградой, кое-где еще более укрепленной рукой человека.

Поблизости нет твердого камня, из которого построен храм, и речка бежит далеко внизу в долине. К храму ведет извилистая тропинка, по которой даже пешеходу нелегко подняться. Поэтому удивленно спрашиваешь себя: откуда и как доставлялся материал для такой прекрасной постройки? И, глядя на храм, понимаешь, какая могучая сила скрыта в единодушном, высоком порыве народном. В стене храма замурована мраморная плита, на которой ветры и ливни не успели еще стереть едва различимую надпись: «...Хари Лома... пастух Тевдоре...» — Имена тех, которые, верно, отдали немало сил на построение памятника былого величия Хеви.

Поднимаясь к храму по тропинкам, народ стекался на поляну перед церковной оградой. И когда над оградой сперва показался крест общинного знамени, укрепленный на древке, а потом, медленно колыхаясь, выплыло и само знамя, народ благоговейно опустился на колени перед своею святыней.

На одной из башен ограды появился старец с обнаженной головой. Неземным видением казался он: гладко ниспадающие волосы, седая борода и длинное, белое одеяние из простого холста, с веревкой вместо пояса. Его светлое и кроткое лицо, ныне исполненное суровой печали, невольно влекло и подчиняло себе людские сердца. Сельские знамена, заколыхавшись, отделились от толпы, и знаменосцы в белых чохах внесли их в ворота церковной ограды. Вскоре они появились на башне, окружив главное общинное знамя. Все затихло, даже ветер, и тот присмилел, словно поняв, что решается нынче судьба всего Хеви. Старец прикоснулся к знамени, увешанному маленькими колокольчиками, и среди глубокой тишины зазвенели они, и дрогнули от священного звона сердца коленапреклоненных людей.

— Благословляет, благословляет! Гоча благословляет! — пронесся шопот в толпе.

Гоча еще раз колыхнул знамя, колокольчики снова зазвенели чистым звоном, и хевисбери стал тихо, сосредоточенно благословлять народ. Потом он благословил в отдельности каждого, кто в прежние годы отличился перед общиной делами и трудами своими, кто не жалел своих сил ради народного блага, первым

шел против врага и хранил оружие отточенным, и закончил молитвой, призывая бога заступиться за Хеви и не лишать его благодати своей.

На каждое его благословение и молитву народ откликался возгласами: «Аминь твоей благодати!» И эхо повторяло возгласы и уносило их далеко в горы.

Хевисбери закончил благословение и объявил народу о замыслах Нугзара Эристави.

— Велик и милостив бог, — говорил Гоча волнующейся толпе. — он не оставит нас. Чего надо от нас Нугзару Эристави, зачем он врывается в единую нашу семью? Мы признаем только одного царя нашего, царя всех грузин, и черными пусть будут дни того мохевца, который не принесет в жертву народу и дома своего, и детей своих!.. Мы служим нашим братьям, и так это и должно быть!.. Брат для брата — в беде! Но ожесточился Нугзар, войдя в силу, он обратил к нам ненасытные глаза свои и хочет натравить брата на брата, хочет истребить и мохевцев, и мтиульцев, чтобы господствовать над нами, владеть всеми нашими землями и всем нашим стадом. Что скажете, люди? Нелегко будет воевать с Нугзаром, да и мтиульцы, братья наши, забыли закон братства и идут против нас!.. Не покориться ли нам судьбе?

— Нет, нет, никогда! — возмутился народ.

Из толпы вышел юноша и поднял руку в знак того, что хочет говорить.

— Гоча! Зачем ты нас спрашиваешь? Хеви умеет быть верным в дружбе. Смерть тому, кто изменит другу и побратиму, позор на голову того, кто с изменой в сердце войдет в дом к соседу! И пусть сгинет тот мохевец, который захочет стать рабом!.. Нугзар кичится своими победами. Он думает, что и нас легко покорить. Мтиульцы, видно, забыли о дружбе, о хлебе и соли и хотят итти на нас!.. Умрем, но рабами не станем!

— Пойдем!.. Все, как один!.. Победим! — единодушно закричали в толпе.

К юноше подошел старик из толпы.

— Онисе! — сказал он ему. — Ты — достойный сын своего славного отца. Верно ты говоришь: доблестная смерть для храбреца лучше позорной жизни!

— Старейшие, выходите на совет! — крикнул хевисбери Гоча. Выборные вышли из толпы и удалились в здание совета решать вместе с Гоча судьбу Хеви.

Недолго совещались старейшие: заранее было решено отстаивать свободу, хотя бы ценою жизни. Выбрали предводителей дружин, распределили людей, направили к мтиульцам вестников для переговоров. Хевисбери стал полновластным вождем. Распустив выборных, он велел готовиться к походу и через три дня собраться в Сионской долине, — здесь следовало задержать не-приятеля.

Народ разошелся, а Гоча и сельские знаменосцы остались еще раз вознести молитву богу.

Онисе шел со своими сородичами, они расспрашивали его о жизни тушинцев и пшавов. Он же, всецело уйдя в радостные мысли о близкой встрече с Дзидзией, односложно и неохотно отвечал на их вопросы.

— Посмотри-ка, Онисе, — воскликнул вдруг один из его спутников, — вон женщины наши, словно отара овец, усеяли всю гору!

И он указал рукой на мохевских женщин, собиравших чернику и ежевику на солнечном склоне.

Желая отделаться от докучного собеседника, Онисе нехотя повернул голову, и вдруг затрепетал весь, сердце забилось так бурно, что он едва на ногах удержался.

— Что с тобой? — тревожно спросил товарищ.

— Ничего! Ремень протер оборники, нога болит, — Онисе заковылял к камню, сел и стал разуваться.

— Дай, я помогу тебе, — предложил спутник.

— Нет, друг, я сам! — раздраженно оборвал Онисе, но спохватившись, прибавил спокойней: — Солнце склонилось, ты ступай, не опаздывай! Я устал, отдохну немного...

Посмотрел на него мохевец, ничего не сказал и, нахлобучив шапку на глаза, двинулся дальше.

А Онисе свернул в щелчки, залег там в стороне от проходных и стал следить за женщинами, собирающими ягоды.

Быстро разошелся народ; каждый торопился домой, чтобы успеть собраться к назначенному сроку.

Онисе в своей засаде был совсем близко от женщин; весело перекликались они, смеялись, пели песни.

Одна только Дзидзия не пела и не смеялась. Отойдя в сторонку, подальше от других, старательно собирала она ягоды. Чуждой всем и одинокой казалась она. С трепетом глядел Онисе на мохевскую девушку и чувствовал, знал, что из-за него одино-

ка она и грустна. Он хотел позвать ее, крикнуть ей: «Здесь я, иди ко мне, я жду тебя, один только я могу вернуть тебе радость!» Но губы немели.

Женщины приближались к Онисе. Странное чувство овладело им: как-будто вдохнули в него могучую силу и сковали его.

Вдруг женщины повернули обратно. Онисе чуть не вскрикнул от радости, когда увидел, что Дзидзия отстала от других и идет прямо к нему.

Близ щебняка спустилась она к родничку. Поставила корзину на землю и, усевшись на камень, задумалась. Онисе затаил дыхание.

Вдохнула Дзидзия, глаза ее заволоклись слезами, и она тихонько запела грустную песню. Две крупные капли повисли росинками на ее длинных черных ресницах. Все больше набегало росинок, — Дзидзия беззвучно расплакалась.

Не выдержал Онисе, подкрался к ней.

— Милая, калау, отчего плачешь? — прошептал он чуть слышно.

Дзидзия вздрогнула, обернулась и словно окаменела. Как завороченная, глядела она на Онисе, хотела что-то сказать и не могла.

— Скажи, калау, скажи мне... — Онисе опустился на колени, — почему ты сторонись меня, разве я не дружка твой?

Дзидзия встрепенулась, глаза ее сверкнули, бледные щеки зарделись, на губах заиграла легкая, счастливая улыбка. Словно защищаясь, протянула она руки к Онисе.

— Онисе! Откуда ты?

Онисе, опираясь на руки, подполз ближе к Дзидзии. Он глядел на нее пламенными глазами. Нет, не сумел он убить свою страсть в долгой разлуке! Напрасной была вся борьба, — его дрожащие губы опять произносили одно только имя, и не было ничего на свете страшней и желанней этого слова.

— Дзидзия, Дзидзия!.. — без конца повторял он, вкладывая в этот призыв все сладкое безумие свое.

И сила этого зова покоряла ее, и гибкое ее тело клонилось к зовущему.

Вдруг ветерок сорвал платок с ее головы и бросил прядь ее черных вьющихся волос в лицо Онисе. Последние силы покинули их, и губы их слились в поцелуе.

Голоса женщин прервали их ласки. Чувство греха, — ведь дружка считается братом новобрачной, — острой болью прон-

вило сердце Дзидзии. Стремительно оттолкнула она Онисе, вскочила на ноги и, не оглядываясь, побежала к подругам.

Вместе с ними прошла она по щербяку мимо него. С трепещущим сердцем глядел Онисе на ее лицо, которое впервые после свадьбы светилось радостью. Закинув голову, как газель, она гордо шла в толпе женщин.

Горько было Онисе, что так неожиданно покинула его Дзидзия, даже не сказав, где и когда можно увидеться с нею.

Женщины ушли. Поднялся и Онисе. Он сладко потянулся и гордо огляделся, почувствовав прилив какой-то новой, дотоле неизвестной силы. Его любила Дзидзия, — весь мир принадлежал ему.

16

Дорога, ведущая из Грузии на север, минуя плоскогорье Самтверо ниже селения Коби, дальше изгибается кольцом, с трех сторон опоясывает крутую, голую Сионскую скалу. На самой вершине скалы возвышается замок, страж ущелья, наводящий страх на врага. Гора господствует над воротами ущелья, и подойти к нему можно лишь с Нарованского перевала. Обильная богатыми пастбищами, с родниками и лесом, она самую природой воздвигнута, как неодолимое укрепление. В древности это место считалось одним из надежнейших оплотов Хеви. Замок окружала поляна с небольшими постройками из базальта и дикого камня, которые делали еще неприступнее эту природную крепость.

Здесь должны были собраться дружинники Хеви, чтобы разрушить коварные замыслы врага и сокрушить его.

Большое войско требовалось для защиты Хеви, и хевисбери приказал выйти на поле брани всем, кто способен держать в руках оружие. Нельзя было и женщинам сидеть сложа руки. Они должны были подвозить ополченцам сыр, масло, молоко с гор, где стояла подойная отара. А хлеб каждый получал из своего дома.

Доставленные припасы складывались в одно место и распределялись поровну между всеми, хотя многие мохевцы не имели собственных стад.

Свинец привозили из Хде, селитру собирали тут же близ деревни Сиони, в пещерах, где ею была усыпана земля, как солью, а серу запасли заранее. Жгли горную березу, — изготовляли порох.

Укрепили мохевцы также и лес Самтверо, расположенный близ Сиони. Если б судьба обернулась против них, — дорого заплатил бы враг за свою победу.

В одну из темных ночей, когда человек собственного пальца не видит, какие-то люди приблизились к опушке Самтверо.

— Кто идет? Стой, если жизнь дорога! — слышался окрик, и ружейные дула уткнулись в неизвестных.

— Мы — слуги святой троицы!

— Куда идете?

— К Гоча.

— Откуда?

— Онисе, — ты? — спросил один из неизвестных.

— Да, я! — всматриваясь в него, ответил Онисе. — Не узнал я тебя, Толика!.. Добро пожаловать!

— Где Гоча? Веди нас к нему поскорей!

— Идите за мной! — сказал Онисе, выступая вперед.

С нетерпением ожидал каждый мохевец возвращения Толики. Онисе тоже не терпелось узнать, с каким ответом вернулись посланные от прежде дружественных мтиульцев, но, чтя тайну поручения, он не решался расспрашивать их.

Посланные шли в глубоком молчании. Они знали, какой вред можно нанести общему делу неосторожно оказанным словом. Веками накапливалась у них осторожность, и никакие силы не могли заставить их выдать тайну.

Гоча поднялся навстречу пришедшим, приветствовал их, ввел к себе и усадил на деревянную тахту — свое походное ложе.

— Ты их проводил ко мне? — обратился он к Онисе, который ждал приказаний.

— Да, я!

— Хорошо, ступай к товарищам. Будьте бдительны! Никто не смеет проникнуть сюда!

— Мы на страже! — Онисе поклонился и вышел.

Ничего не сказал больше Гоча, но он проводил сына таким любящим взглядом, таким суровым счастьем дышало его лицо, что каждый понял: для старика солнце восходит из-за плеч Онисе.

Пока мохевцы готовились к войне и укрепляли свои земли, Нугзар Эристави тоже не сидел сложа руки. Изо всех сил старался он увеличить число своих союзников, чтобы с большим вой-

ском напасть на Хеви, одним ударом сломить его упорство. Он разослал гонцов во все стороны и ждал подкрепления.

Нугзар был испытанный воин, он не обольщался надеждой на легкую победу. Немало смущали его также ум и опытность вождя мохевцев — Гоча, чья слава далеко гремела в горах.

На заре прискакал Нугзар Эристави в стан мтиульцев. Высокий, статный, в кольчуге, опоясанный мечом с золотой рукоятью, казался он простым мтиульцам каким-то сказочным существом. Весь его облик, — грубое лицо, толстые, чуть оттопыренные губы, плотный нос, широкие ноздри, маленькие глаза с дряблыми веками, — изобличал в нем человека безжалостного, необузданного. Густые сросшиеся черные брови, пересеченные над переносицей угрюмой бороздой, придавали и без того суровому лицу его выражение жестокости, а морщины, расходящиеся от глазных орбит, говорили о том, что терпение не было его добродетелью.

Лагерь мтиульцев пришел в движение, старшие вышли навстречу с приветствиями.

— Да здравствует Нугзар-батони! Привет Нугзару!

Он отвечал горделивым, едва заметным кивком.

Нугзар опустил на разостланную перед костром бурку. Кольцом обступили его начальники мтиульских отрядов.

— Садитесь, хочу говорить с вами! — коротко приказал он.

Мтиульцы уселись. О чем хочет говорить с ними Эристави, чье могущество в те времена было велико, недаром опирался он на карталинских родственников своих.

— Эй, народ! — громко сказал Нугзар, и голос его звучал гневно. — Наши союзники отказали нам в помощи. И я клянусь именем ананурской божьей матери, что жестоко поплачутся они за этот отказ! Жизнь их станет горькой, солнце померкнет для них... Их поля зацветут в изобилии цветами, которые окрашу я их же кровью, в их стране будет меньше воронов, чем людей, мною одетых в платье скорби... Своими руками я вырву сердца их вождей и выпью кровь из них, и сердце мое обретет покой лишь тогда, когда мои руки почувствуют их предсмертные содрогания...

Нугзар умолк, глаза его злобно загорелись и налились кровью. Ропот негодования прошел среди мтиульцев.

— Но все это в будущем!.. А для мохевцев хватит и нас. Я только не хотел затягивать борьбу, хотел покончить с ними одним ударом. Но не велика беда: нам придется лишь не по одно-

му, а по два раза взмахнуть мечом!.. Медлить нельзя, мы нынче же выступаем!

Нугзар ожидал одобрительных кликов, но люди хранили глубокое молчание. Он изумленно огляделся, лицо побагровело от злости.

— Это что значит? Измена? Страх?.. Бабы трусливые!.. Кто смеет противиться моей воле, кто не пойдет за мной? — он отошел в сторону, хищно всматриваясь в толпу.

— Я, мой господин!.. Я не пойду. — Один из главарей, гордо выпрямившись, встал перед Эристави.

Нугзар вспыхнул, схватился за меч, но опомнился.

— Ты?.. Это говоришь ты?.. Ну, что ж!.. Ты никогда не был храбрецом, твое дело — сидеть с бабами у огня. Ступай домой, не место тебе на поле брани... Тебя в отряде заменит другой, и уж он-то, поверь, будет храбрее тебя.

Мтиулец терпеливо выслушал Эристави, и только голос его едва заметно дрожал, когда он заговорил:

— Наши жизни поручены тебе, Нугзар, волею царя, имя царя охраняет и тебя самого. Мтиулец не пойдет против царя Грузии. Зачем же ты оскорбляешь меня? Никто из нас не пойдет за тобой! Нам нечего делить с мохевцами. Разве не правда, люди? — обратился мтиулец к другим.

— Правда, правда, тому порукой Ломиси! — загудел народ.

Нугзар смутился. Этого он не ожидал. Сдержав свой гнев, он спросил спокойно:

— Зачем же тогда вы дали мне слово, обещали мне?

— Ты говорил нам, что хочешь идти против северных осетин, что они противятся нашему царю. Ты солгал нам, сказал, что мохевцы дружат с осетинами. Вот почему мы обещали тебе.

— Кто вам сказал, что это — ложь? — крикнул Нугзар. Он хотел узнать имя изменника, чтобы примерно наказать его.

— Они, сами они сказали нам!

— И вы поверили! — злобно расхохотался Нугзар.

— А почему им не верить?

— А потому, что испугались они вас и решили отделаться от вас.

— Неправда! Неправда! — закричали все в один голос.

Нугзар посинел от злости, не привык он к таким ответам, но посмотрел на возмущенную толпу и снова сдержался.

— Значит, вы им поверили?

— Да, поверили! Именем Ломиси клянемся! Поверили, по-

тому что от них были посланцы... Они зарок дали... Они не изменят зароку, — не так ли?

— Нет, не могут изменить!.. Пошли!.. Разойдемся по своим домам!.. — кричали мтиульцы, повскакав с мест и снимая стоянки.

Не скоро замолк шум их возбужденных голосов. Но вот и последние из мтиульцев скрылись за горкой. На опустевшей поляне остался один Нугзар Эристави, оцепеневший в мрачной задумчивости. Вдруг он вскинул голову и, грозя пальцем в пустое пространство, гневно произнес:

— Можете растоптать меня своими ногами, если я не отомщу вам за сегодняшний день!..

18

У ворот Трусинского ущелья, где Терек, вырываясь из теснины, катится по широкой Кобийской долине, за околицей окраинного осетинского села Окроканы шумно веселилась небольшая толпа народа. Пели, смеялись, плясали, — но видно было, что люди собрались не на праздник: все вооружены с головы до ног и ни одной женщины среди них. Поодаль — оседланные кони ржали, нетерпеливо ударяя копытами в землю.

Над вьющейся вдоль Трусинского ущелья тропинкой поднялись и заколыхались столбы пыли, все приближаясь к собравшимся. Скакали верховые, но выступы скал пока еще скрывали их. Вскоре над краем отвесной скалы внезапно появились всадники, — словно из-под земли выросли. Там, где они появились, тропинка была так узка, что казалось: кони вот-вот сорвутся со скалы. Очертания всадников были вычеканены на синем краешке неба, — величественное очарование для глаз! Но, появившись внезапно, они также внезапно исчезли за новым выступом скалы, словно земля, породив их на миг, тотчас же увлекла обратно в недра свои.

Всадников узнали.

— Нугзар едет! — радостно закричали собравшиеся.

Да, это Нугзар гнал коня к ордам преданных ему осетин, с которыми должны были здесь соединиться мтиульские отряды, чтобы вместе двинуться на Хеву.

Осетинам давно уже хотелось сокрушить маленькое грузинское племя, вонзающееся клином между ними и кистинами и мешающее их безнаказанным набегам на Грузию, давно уже хотелось раздавить этот маленький народ, со всех сторон окруженный врагами и все же самоотверженно защищающий ворота Гру-

зии и потрясающий острым мечом своим направо и налево во славу отчины.

Поэтому и приняли осетины предложение Нугзара Эриста-ви; поэтому искренно радовались прибытию Нугзара. Одно только изумляло их: где же люди Нугзара? Им было невдомек, что мтиульцы, перевалив прямо через Ломиси, миновали окроканских осетин.

— Верно, дружина следом идет. Сам вперед поскакал, — поход объявить! — говорили в толпе.

Осетинские вожди, вскочив на коней, полетели навстречу Нугзару, который только-что выехал из-за последнего выступа скалы на широкую дорогу.

Кони столкнулись грудь с грудью, и только тогда осадили их всадники с такой силой, что у них подогнулись задние ноги.

— Доброй дороги! — крикнул Нугзар.

— Доброй дороги и вам! — ответили осетины.

— Ну как? Все ли собрались?

— Все до единого, господин! Все готовы служить тебе!

Тень удовольствия прошла по лицу Нугзара, но тотчас же исчезла.

— Спасибо, спасибо, мой Навруз! — пробормотал он.

Тяжелое раздумье легло на его лицо. Он знал, что осетины ждут поддержки от мтиульцев, если же сказать им правду, нелегко будет удержать здесь жителей Трусинского ущелья. Поэтому высокочмерный Нугзар молчал в замешательстве.

— Чуть не позабыл, шени чириме, сообщить вам... — начал Навруз.

— О чем? В чем дело? — нетерпеливо перебил его Нугзар.

— Вернулся посланный от лезгин.

— Какой ответ принес он?

— Нынче же ночью лезгины перевалят к нам через горы.

— А правду ли они говорят? Не обманут? — недоверчиво спросил Нугзар. Но тотчас же спохватился. — Теперь я знаю, как с ними поступить! — мрачно процедил он сквозь зубы.

И с этого мгновенья переменялся Нугзар: голос его, прежде вкрадчивый и неуверенный, снова зазвучал властно и строго.

— Едем, — и завтра померкнет солнце мохевцев! — С этими словами выпрямился он в седле и стегнул коня нагайкой. Конь заиграл, загарцовал под ним. И вскоре обычным своим повелительным голосом Нугзар отдавал приказания в лагере Окроканы.

Передвижения Нугзара Эристави были известны мхевцам. Разведчики, отважно проникавшие во вражеские войска, следили за их расположением; да и болтливые осетины не умели держать язык за зубами и за моток шерсти охотно продавали любую тайну.

И вот однажды тихим вечером, на закате, Гоча собрал своих людей и, благословив их, сказал:

— Люди общин! Мтиульцы отложились от Нугзара Эристави, но войны нам не избежать. К Нугзару примкнули лезгины. Не хочу скрывать от вас, что борьба предстоит жестокая. Многим матерям суждено облечься в одежду скорби, многие из наших сынов не вернуться домой, потому что Нугзар жесток и кровожаден. Трудное дело предстоит нам, но чем труднее победа, тем драгоценней она! Пускай на каждого из нас придется десять врагов, — победа все же будет за нами, потому что мы правы перед богом и людьми. К нам врываются они в дом, нам несут разорение, наших женщин грозятся обесчестить, и клянусь вам: великое блаженство — принять смерть в борьбе против подобного зла!.. Кто из вас удачлив, у кого бьется в груди мужественное сердце, у кого неукротимая сила в руках? Все за одного, и один за всех! Позор тому, кто трусливо побежит от врага, подступившего к порогу дома, тому, кто побойтся смерти!.. Проклятие изменнику!

— Аминь! — загудела толпа, и горы повторили клятву.

Народ глухо шумел. Слезы затуманили глаза Гоча.

— Хорошо вам, молоды вы, сила и ловкость в ваших руках. Будете биться с врагом! Слава защитникам правого дела!

Все собрались в круг под стенами храма, где на кострах в медных чанах варилась убойна, чтобы пожелать друг другу счастья за общей трапезой и проститься. Кто знает, чье солнце померкнет завтра, чьи очи закроются, чья мать будет лить горячие слезы?

Сумерки спускались: медленно угасал день. Последние лучи солнца печально прощались с горными вершинами. Туман выползал из земли и стался мглою по зелени луга. В деревне Сиони ударил колокол, давая знак ночной страже встать на дозор. В сыром и влажно-отяжелевшем воздухе колокольный

звон разносился как-то особенно скорбно. Мохевская охрана была сегодня тревожна, печать заботы лежала у всех на лицах. Обостренный слух ловил каждый шорох. Этой ночью ждали нападения нугзаровых орд, и все настороженно готовились к отпору.

Кто-то тихо приоткрыл дверь в комнату Гоча и замер на пороге. Старик с обнаженной головой стоял перед маленьким распятием и жарко молился. Его обычно гладкие волосы буйно вздымались на высоко закинутой голове. На шее, под сморщенной старческой кожей, напряженно вздувались вены. Всеми помыслами своими он погружен был в молитву.

Вошедший не посмел нарушить священную тишину. Он сам опустил на кодени и вдруг расслышал свое имя в молитвенном шопоте старика. «Боже, дай с честью прожить моему Онисе!» Онисе вздрогнул. Старик обернулся, подошел к нему и, положив руки ему на голову, взволнованно повторил:

— Боже, дай с честью прожить моему сыну!.. Отврати от него позор... Отними у него жизнь раньше, чем с головы его сорвут шапку — достоинство мужчины!

Две слезы скатились с исхудалых щек старика. Он торопливо вытер их и опасливо огляделся, словно боясь, не заметили ли кто-нибудь его слабости. Не выдержал Онисе, слезы навернулись на глаза, и засверкали глаза его, как солнце в дождь. Понял он, как сильно любит его отец; что станет с ним, если сыну будет грозить опасность? А между тем опасность стоит у него за спиной! Завтра, в лучах восходящего солнца, сверкнет острое клинка и со свистом вонзится... в кого? На чем лице застынет последняя улыбка?

— Отчего ты плачешь, отец?

— Кто знает, сын мой, что ожидает тебя завтра! — прошептал старик.

— Что может меня ожидать? Прогоним врага и заживем в мире!

— Да будет так, — сказал старик, обнимая сына. — Иди, Онисе, пора, да хранит тебя бог! Знай, если ждет тебя смерть, на то воля господня. Сумей умереть с честью, с отвагой, так, чтобы Хеви не стыдно было хоронить тебя.

— Сам увидишь, отец!

— Помни, что защищаешь землю, где родились и жили твои предки, где покоятся их кости, и не уступай в храбрости им!.. И они немало сил положили на защиту отчизны своей, священной их кровью до самой сердцевины пропитана земля.



Теперь — ваш черед... Ну, довольно, иди!.. — голос старика оборвался.

Онισε повернулся и быстро вышел. Отец проводил его глазами с порога. Потом провел рукой по лбу.

— Пора к своим, к дружине!

21

Онισε спешил в Наровани, где ему приказано было охранять дорогу, следить за врагом, чтобы во-время сообщить о его приближении.

Он шел крадущимся шагом и вдруг далеко позади себя услышал шорох и хруст камней. Как тигр, отскочил он бесшумно в сторону и, спрятавшись за скалой, стал поджидать идущих.

Вскоре на тропинке показались двое — мужчина и женщина. Впереди семенил навьюченный ослик. Должно быть, пастухи, везущие сыр для ополченцев.

Убедившись, что это свои, Онισε хотел выйти из засады, как вдруг услышал свое имя. Он затаил дыхание.

Путники говорили громко. Голоса их звучали сердито.

Поровнявшись с Онисе, они присели на камень отдохнуть.

— Калау, — говорил мужчина, — клянусь, не могу дольше терпеть!.. Истаял я совсем, ожидая тебя, а сердце твое все не смягчается.

— Что же мне делать, если не люблю тебя?

— Долго терпел я, и вот... море бы высохло от жара души моей... Лучше б умер я, дорогу тебе расчистил...

— Почему не оставишь меня в покое? Чего тебе надо от меня? Не могу я полюбить тебя насильно.

— Как мне оставить тебя, ты ведь жена моя! И шапка на мне, и у меня честь мужская...

— Так что же мне делать с тобой?

— Что? Женой моей быть!

— Будет тебе, парень, побойся бога! Сказала, что не люблю тебя, и все!

Мужчина умолк и поник головой. Но вскоре заговорил опять, и в голосе его зазвучала угроза.

— Смотри, жена!.. Ты хоть себя пожалей, если я не дорог тебе!..

— Себя жалеть? Зачем? Убьешь меня, — успокоится мое сердце...

— Значит, не бывать этому? Никогда ты не вернешься ко мне, не полюбишь меня?

— Нет!

Мужчина схватился за рукоятку кинжала.

— Значит, ты хочешь быть с ним?.. И ты думаешь, что я уступлю, отдам тебя ему? Богом клянусь, убью и тебя, и его, и сам вместе с вами умру, но радости с тобой не дам никому!

— Вот я, убей меня!.. Зачем другим грозить? Он-то чем виноват?

Мужчина вскочил.

— Значит, умереть хочешь?.. Хорошо, я тебя убью, но прежде принесу тебе отрубленную голову Онисе...

С этими словами метнулся он в сторону от тропинки и, не разбирая пути, кинулся вниз, к лагерю мохевцев. Женщина закричала, побежала вслед за мужчиной и стала звать его с томящей мольбою в голосе:

— Гугуа, Гугуа!.. Не губи меня, не делай этого!.. Вайме! О-ох!

С воплем подбежала женщина к отвесному краю утеса, но не успела она броситься вниз: кто-то схватил ее за плечи и обнял.

Женщина обернулась и, слабо вскрикнув: «Онисе!», упала на грудь к любимому.

22

Полночь миновала. Полный месяц сиял на чистом небе и струил белый свет на окрестные горы.

Онисе и Дзидзия все еще сидели там, где ударил в них с неба огонь любви; покоренные страстью, забыв обо всем на свете, оба они медленно пили блаженство. Лунные отсветы мягко трепетали на побледневшем лице Дзидзии. Онисе брал ее голову в обе руки и, повернув к небесному свету, глядел, неутолимо глядел на милые ее черты, или вдруг, в яростном порыве, принимался целовать и обнимать ее. От каждого прикосновения трепетали они, как ивовые листья, и сладко бились и таяли их сердца. Оба забыли, где они, кто они, и лишь одна жажда — слиться, всецело слиться навек! — владела ими.

Вдруг где-то неподалеку раздался выстрел, и они вскочили на ноги.

Рассеялся туман блаженного самозабвения. Только теперь вспомнил Онисе о долге своем; страшная правда клещами схватила его сердце. Перед его глазами возник образ молящегося Гоча, слова отцовского благословения зазвучали в ушах... Гроз-

ное видение предстало ему: там, внизу, избивают товарищей его, беспечно спавших в надежде, что он их охраняет.

Между тем, стрельба в лощине участилась. Там сверкали ружейные дула, и длинные огненные языки, с гулом вылетающие из них, повергали ниц храбрецов с львиными сердцами и гасили их жизни.

Онисе взглянул на Дзидзю, сердце его вскипело, злая мысль метнулась в обезумевшей голове: «Колдовски заморозила меня, колдовски погубила!.. Прощай моя честь!» И он кинулся вниз в ущелье, — погибнуть вместе с товарищами, гибелью искупить свое мгновенное счастье. Но было уже поздно: враг занял их укрепленную траншею, и вражьи знамя развевалось над трупами товарищей Онисе.

23

Онисе бежал вниз, как одержимый, в беспамятстве, ничего не сознавая.

Неприятель истребил почти всех защитников первой траншеи. Много храбрецов погибло бесславно, не испытав себя в бою, не померявшись силой и храбростью с врагом. И виноват в этом он, Онисе! Раскаяние когтило его сердце, безжалостно терзало его.

Он бежал, как одержимый; растрепанные волосы развевались, одежда была изодрана, мутный взгляд беспокойно блуждал, вихрь мыслей гудел в воспаленном мозгу.

Он бежал навстречу врагам. Умереть!.. Умереть от той же руки, что лишила жизни его товарищей, от удара копья, окрашенного невинной кровью его соседей!

Вот уже близко луг, где победители, возвращаясь в свой лагерь, с веселыми кликами попирают ногами трупы доблестных защитников родины. Вдруг какие-то люди остановили Онисе. Уцелевшие мохевцы из разбитого отряда.

— Стой, ты кто? — и ружья уткнулись ему в грудь.

— Кто я? — дрожа от злости, переспросил Онисе. — Стреляйте в меня, убейте!.. Сделайте доброе дело!

— Ба, Онисе, ты? — воскликнул один из мохевцев, и все опустили ружья.

— Слава господа, что хоть ты остался жив, — прибавил другой.

Онисе скорбно взглянул на говорящего; но вдруг глаза его сверкнули гневом: он подумал, что ополченец знает о его позо-

ре и издевается над ним, и пламя стыда и бешенства охватило его.

— Убейте меня, я достоин смерти!.. — закричал он. — Не надо меня щадить! Или вы ослепли и не видите, что я, мужчина, плачу, как баба!..

Моховцы смотрели на него с удивлением.
— Так, значит, вам не жаль меня?.. Хотите, чтобы вечно терзал меня стыд? Не будет этого... Онисе не станет жить опозоренным, на радость врагам! Вижу, вы радуетесь, радуетесь? — Онисе горько захохотал и кинулся обратно к вражескому лагерю.

Сперва моховцы растерялись, но скоро опомнились, догнали, остановили его.

— Куда ты? Что ты задумал, несчастный?.. Разума лишился? — кричали они на него, а он изо всех сил старался вырваться из их рук.

— Чего вам надо от меня? Почему не пускаете? Я хочу, чтобы меня изрезали на куски те самые руки, которые зарубили товарищей моих... Ах, так? Тогда я сам сумею казнить себя! — Онисе выхватил пистолет. Но один из моховцев ударил его по руке и выбил оружие.

Подумали моховцы: не вынес Онисе гибели товарищей своих, потерял рассудок. Ничем не могли они помочь ему, только обезоружили его, связали ему руки и насильно повели с собой.

— Безжалостные, чего вам надо от меня? — горестно восклицал Онисе, и горькие слезы бессилия текли по его лицу. — Почему вы не дали мне умереть?.. Какая вам прибыль от моего позора? — твердил он непрерывно.

Но никто больше не слушал его. Опасность нависла над ними, и они спешили туда, где Гоча укрепился с оставшимися отрядами.

Шли они порознь, по-двое — по-трое, сжав губы, сдвинув брови, молчали, и лишь глаза горели недобрым огнем.

Тяжко им приходилось: даже с врагами не успели сразиться, и теперь должны были либо сдаться им, либо бежать от них трусливо, тайком, либо подставить им свои шеи, чтобы кровожадный Нугзар перерезал их всех до одного, как баранов.

Они жаждали боя, а им не пришлось сделать ни одного вы-

стрела; ночью напали на них, подкрались к спящим. Он знает, сколько юношей, достойных быть воспетыми в песнях, опора общин, гордость друзей и соседей, погибло бесславно!

А что ждет уцелевших? Всенародный позор, потому что в горах смеются над оплошностью, а поражение считают несчастьем. Неосмотрительных презирают, глумятся над ними, погибшим сочувствуют, жалеют их.

Ошеломленные своим поражением, еще не успели мохевцы подумать о том, как могли нугзаровы орды подкрасться к ним незамеченными даже охраной.

Одно только утешение было у них: вели они трех людей со связанными руками, трех людей, заподозренных в том, что они указали путь отрядам Нугзара. Двое из них были осетины, однажды убежавшие от своих и нашедшие приют в Хеви. Эти двое могли стать шпионами. Но третий был мохевец, и это накладывало клеймо бесчестия на все Хеви. От стыда разрывались их сердца.

Обессиленный, опустошенный душевно, шел с ними Онисе, не смея смотреть никому в глаза.

— Онисе, тебя тоже задержали? — окликнул его кто-то. Он поднял глаза и замер от удивления.

Перед ним стоял Гугуа, бледный, дрожащий.

— Гугуа! — с усилием произнес Онисе, вопросительно глядя на его связанные руки.

— Меня обвиняют в измене, — глухо проговорил Гугуа и сплюнул с презрением и злостью.

Слишком хорошо знал Онисе этого человека, чтобы поверить в его измену. Помнил он также, зачем побегал Гугуа к лагерю мохевцев: только затем, чтобы найти Онисе и убить его.

«А что, если?..» — подумалось вдруг ему. — «Гугуа ненавидит меня и, зная, что в эту ночь я стою на страже, он мог стать изменником, чтобы мне отомстить...» — Онисе нахмурился и скрипнул зубами.

— Что же ты молчишь?

— О чем нам говорить?

— Так тебе не о чем говорить со мною? — с горечью воскликнул Гугуа. — Ладно, буду и я молчать... Благодарю бога, что нечем мне оправдаться, а то, клянусь святыми, не уйти бы тебе от мести моей, недолго бы позволил я тебе глядеть на небо... А теперь настал твой день! Распустился твой цветок, засияло твое солнце... На то, видно, воля божья: пусть

сняет оно!.. О жизни не жалею, об одном только горюю, в глазах всех я — изменник, что клеймо предателя на мне...

Гугуа умолк. Угрюмо опустил он голову, словно непомерная тяжесть легла ему на плечи и согнула его. Он глубоко вздохнул и отошел от Онисе.

25

Еще день не успел расстаться с ночью, когда грозное волнение охватило все стоявшее в Сионской крепости войско Хеви. Воины узнали о беде, постигшей защитников передней траншеи. Все, как один, они возбужденно требовали мести.

— Мести, мести требуем за кровь братьев наших! — кричало войско.

Один только Гоча хранил спокойствие. Он неустанно раздумывал над происшедшим. Не мог он понять, как случилось, что неприятель прошел незамеченным, когда охрана траншеи была поручена его сыну, вернейшему из верных.

— Рассказывайте, говорите скорей, как было дело? — торопил Гоча вернувшихся мохевцев.

— А так было, что эти вот два осетина перебежали к врагам и провели их в нашу траншею.

Мохевец умолк.

— А еще? Еще никого не было с ними? — тревожно спросил Гоча.

— Эх, хорошо бы, если б не было!..

— А кто еще? — сверкнул глазами Гоча.

Мохевец молчал. Трудно было ему назвать имя предателя.

— Кто же? — крикнул Гоча.

— Гугуа.

— Кто? Что ты сказал? — переспросил хриплым голосом Гоча, надеясь, что ослышался.

— Гугуа! — повторил мохевец.

Тяжко было Гоча услышать имя своего соседа; ведь он, Гоча, — духовный пастырь общины.

— Боже, чем же мы прогневили тебя, что ты покрыл нас позором, что брат изменил брату! — с глубоким вздохом произнес старец.

Позорное преступление горца могло внести смуту в боевые ряды.

Долго молчал старик. Непрестанно менялось его подвижное лицо, отражая неутомимую работу мысли.

Вот провел он рукой по лбу, и задумчивость на его лице сменилась каким-то робким, неуверенно вопросительным выражением. Единственный сын Гоча был с ними. Почему же вестник ничего не говорит о нем? Или жаль ему несчастного отца? Если погиб, почему не утешить родителя хотя бы вестью о том, какую отважную смерть принял сын? Не выдержал старик и, испытующе глядя на ратника, спросил его тихо:

— А где Онисе? Почему не расскажешь о нем?

— Онисе, бедняга!.. Чуть было не помешался он... Если б не мы, погубил бы себя безрассудно.

Тяжесть свалилась с плеч Гоча. Сын его жив и вел себя доблестно.

— А где он теперь?

— Успокоился немного и остался с товарищами, — ответил ратник. — Он так убит горем, что ножом не разомкнуть ему рта!

— Ступайте, скажите товарищам, чтобы получше следили за преступниками... Мы же помянем бога и пойдем мстить за братьев наших! — торжественно произнес Гоча и вышел во двор, где шумел и волновался народ, с нетерпением ожидая часа выступления в поход.

26

Дружина Хеви разделилась на три отряда, и каждый отряд пустился в путь под предводительством своего вожды. Решено было с трех сторон напасть на занятую врагом траншею и отбить ее. От этого боя зависела жизнь и судьба Хеви.

Воины шли, улыбаясь. Каждый знал, что исполняет свой священный долг, и пусть даже смерть подстерегает его, — слава храбрых надолго останется в народе и разнесется далеко в горах. Месть разжигала жажду боя.

Онисе шел среди ратников. Горькая озабоченность омрачала его лицо. Храбрый и самоотверженный от природы, был он сейчас вдвойне бесстрашен, готов был искупить тяжкую вину свою хотя бы ценою жизни.

Небольшому отряду под его предводительством было приказано бесшумно напасть на передовую стражу неприятеля, забрать ее в плен или истребить, но так, чтобы об этом не узнали

главные силы врага и не успели приготовиться к встрече
мохевцев.

Онисе шел во главе своего маленького отряда, полный решимости выполнить приказ. За ним гуськом следовали остальные, шагая по тропинке с величайшей осторожностью, стараясь ступать по следам Онисе. Требовалась большая осмотрительность и ловкость, чтобы, не задевая камней, бесшумно продвигаться в темноте. Мохевцы, обутые в мягкие чуйки из разноцветного сафьяна с такими же подошвами, беззвучно крались, ощупывая ногами каждую пядь дороги. Вдруг Онисе остановился и лег на землю. Мгновенно и другие прижались к земле, бесшумно вынув кинжалы из ножен.

Вскоре впереди показался отряд в пять человек, шедший также осторожно, в полном молчании. Когда последний из отряда поравнялся с Онисе, тот вскочил на ноги, остальные тоже повскакали, и мгновение спустя осетины, высланные на разведку, уже боролись со смертью, истекая кровью.

Все это случилось так быстро, что осетины даже крикнуть не успели.

Покончив с ними, мохевцы продолжали свой путь и на рассвете подошли к неприятельскому лагерю. Укрывшись в засаде, стали они дожидаться остальных. Нерушимое спокойствие царило во вражеском лагере. Гордые легкой победой, осетины безмятежно отдыхали, надеясь на бдительность своей стражи. Нугзар Эристави был уверен, что мохевцы, напуганные первым поражением, пришлют военачальников просить о мире. Не думал он, что горсточка мохевцев посмеет продолжать с ним борьбу, тем более, что войско его пополнилось искусными и хорошо вооруженными лезгинами.

С трех сторон обошли мохевцы вражеский лагерь. Раздался выстрел — знак начала атаки.

От внезапности нападения смешались войска Нугзара, воины пришли в отчаяние, и мохевцы безжалостно изрубили их, не дав им опомниться.

Онисе носился по полю брани, опьяненный схваткой, и быстро погасал свет солнца в очах того, кого настигал его меч. Всюду врываясь в гущу боя, тщетно искал он смерти, но оставался невредимым, как заколдованный.

Бесстрашие и храбрость его изумляли всех.

Сам Нугзар, окруженный надежными лезгинскими молодцами, бился храбро, показывая пример бесстрашия; но жители Трусинского ущелья бежали после первой же атаки.



На гребне холма появился Гоча верхом на коне. Ветер взметал его седые волосы. Верховное знамя, знамя надежды развевалось в его руках, и золотой крест, прикрепленный к дравку, ослепительно сверкал в косых лучах солнца.

Важно, горделиво ступал статный конь, словно чуя, что несет на своей спине избранника народного.

Старик прищпорил коня и полетел к нугзарову отряду.

— За мной, молодцы, у кого храброе сердце в груди! — крикнул Гоча, и ратники тесным кольцом обхватили Нугзара.

Все скрылось в за клубившейся пыли, — словно свет солнца померк. Вдруг наступила зловещая тишина: слышались только глухие стоны, лязг оружия, скрежет зубов.

Ветер временами развеивал пыль, и тогда видно было, что все также гордо взмывает к небу стяг в твердых руках Гоча, вселяя в воинов стальную отвагу. Вдруг разомкнулся человеческий клубок, качнулся в сторону, и снова бранные вскрики и вопли огласили поле.

Рассеялась пыль, и на том месте, где только что сражались храбрецы, полные жизни и пламенной юности, выросла гора изрубленных трупов. Посредине стоял Гоча, бледный и печальный, возведя к небу скорбный взгляд. Густая пыль вилась вдали, над дорогой, по которой, погоняя коня, убегал Нугзар Эристави с немногими воинами, уцелевшими после страшной битвы.

27

Кончился бой.

Народ утих. Погибших похоронили. Но люди не расходились, хотя Нугзар Эристави был уже далеко.

У подножия холма, на краю поляны, полукругом огороженной булыжниками, собрались старшины хевских сел со своими знаменами. Был среди них и хевисбери Гоча. Все молчали, низко опустив головы. За каменным полукругом волновался народ. Не одна лишь печаль о погибших товарищах была начертана на лицах. Какая-то новая беда сторожила Хеви.

Гоча поднял голову и вгляделся в толпу. Взгляд его встретился со взглядом Онисе, который быстро опустил глаза. Опустил глаза и Гоча. Тихим, но твердым голосом он произнес:

— Приведите виновных!

Народ расступился, и перед судьями, избранниками Хеви, предстали два осетина и Гугуа.

— Развяжите руки, — приказал хевисбери.

Гоча сел на камень, сжал голову ладонями, локтями уперся в колени и весь обратился в слух.

Вышел вперед старейший из старшин общины — теми и, опустившись на колени, обратился к народу:

— Люди общин! К вам мое слово, слушайте меня!.. Вот стоят перед вами два осетина. Шесть лет тому назад пришли они в нашу общину. Вызвав сочувствие наше к своей беде, они рассказали нам, что убили человека, что их преследуют и нельзя им оставаться на родине. Поистине, дурное дело — убить человека, но бывает и так, что в беде человек даже на самого себя накладывает руки. Они, несчастные, просили пристанища и куска хлеба у Хеви... В Хеви не принято скрываться от гостя, принято у нас призреть, приютить просящего. И Хеви приютил их, выстроил им дома, отвел им поля, назвал их братьями своими и дал им спокойную жизнь. Чем же отплатили они нам?.. Нашим врагам они указали дорогу к нам, они помогли им неожиданно напасть на нас, чтобы предательски погубить тех, кто протянул им руки в беде! Что вы скажете на это, люди?.. Я рассказал вам обо всем, потому что нелегко убить человека...

Старик замолк, поклонился на четыре стороны и снова занял свое место.

— Говорите, оправдывайтесь, если можете! — сказал осетинам Гоча.

Народ смотрел, затаив дыхание. Осетинам нечем было оправдаться. Оба бросились на колени и, рыдая, просили прощения. Но судьи были глухи к их мольбам. Они подошли к Гоча и, посоветовавшись с ним, возвратились на свои места. И в наступившей тишине раздался суровый голос Гоча:

— Оба должны быть побиты камнями!

Народ зашумел. Лица осужденных мертвенно побледнели. Один из преступников подполз на коленях к Гоча, продолжавшему неподвижно сидеть в глубокой задумчивости.

— Гоча, смилуйся! — воскликнул он. — Спаси — и я стану рабом твоим!

— Ты будешь побит камнями! — все также сурово повторил хевисбери.

— Так, значит меня побьют камнями, я умру! — Осужденный вскочил на ноги. — Пусть я умру, но и ты жить не будешь!

В руках его блеснул кинжал, который он прятал под чо-

хой. Мгновенно сомкнулась толпа, завертелся людской клубок. И когда клубок разомкнулся, Гоча все также неподвижно сидел на камне и только глядел с отвращением на то место, где валялись трупы побитых камнями предателей.

28

Убрали трупы казненных.

— Приведите Гугуа! — все тем же тихим голосом произнес Гоча.

Люди подтолкнули Гугуа поближе к хевисбери. Покачнулся Гугуа, чуть было не упал, но удержался на ногах. Молча стоял он с застывшим, затуманенным взглядом.

Народ волновался, угрожая изменнику.

И снова выступил вперед один из старейших теми и произнес обвинение. Многие видели, как бежал Гугуа впереди наступающего вражеского отряда. Ясно, что он был проводником у Нугзара.


— Оправдывайся, если можешь, — сказал Гоча.

Гугуа глубоко вздохнул. Он обвел глазами затихшую толпу. Взгляд его упал на Онисе, — тот стоял, словно окаменевший. У Гугуа сверкнули глаза, лицо побагровело, он метнулся к Онисе, но остановился и, потеряв равновесие, чуть не упал. И снова безжизненно повернулся к судьям. И вдруг сорвал с головы шапку, которая словно жгла его, с силой швырнул ее на землю.

— Говори, если есть о чем говорить! — повторил Гоча дрожащим, словно надорванным голосом.

— Что мне говорить? О чем рассказать вам?.. — с горечью воскликнул Гугуа. — Богу ведомо, что не виновен я, но вы видели, как я бежал впереди врага, и кто мне может поверить?.. К чему меня мучить, зачем заставлять говорить?.. Убейте меня! И вам будет спокойней, и мне!

— Юноша, не трудно умирать мохевцу, — после короткого молчания произнес Гоча, и в голосе его зазвучала ласка. — Но сердце не хочет мириться с тем, что сын нашей родины, вскормленный грудью Хеви, мог изменить своим братьям, мог продать товарищей своих, мог сотрясти нашу землю и низвергнуть на нее небеса!.. Сердце будет стонать вечно, печаль наша станет неизбывной, туман навсегда закроет нас, если мы в тебе признаем изменника братьям своим! — скорбно закончил хевисбери.



Сердце Гугуа смягчилось от этих слов, — отеческая тревога слышалась в них, — и Гугуа от всего сердца захотелось убедить этого правдивого человека в своей правоте, в том, что он не предатель.

— Богом клянусь, Гоча, клянусь юношеской честью моей, твоим именем клянусь, что я не виновен, но оправдаться мне нечем, и потому я должен быть казнен, должен умереть.

— Как очутился ты в стане врагов?

— Как?.. Ты хочешь, чтобы я рассказал обо всем?.. Не надо, Гоча, оставь меня в покое. Ты видишь, трудно мне говорить... Ты всегда был добр ко всем, зачем же нынче ты терзаешь меня?..

— И моя душа не спокойна, Гугуа! Ты сам видишь... Каждое слово, каждый вопрос и меня ранит, как стрела, но долг перед теми велик и одинаков и для тебя, и для меня... Говори правдиво обо всем.

— Хорошо, я буду говорить! — воскликнул Гугуа и обернулся в ту сторону, где стоял Онисе.

От непомерного напряжения лицо несчастного Онисе исказилось страшной гримасой, он весь согнулся, как под непосильной ношей. Снова замолчал Гугуа, сдержав себя, и обратился к судьям:

— Выслушайте меня!.. Я не боюсь смерти... Если вы не казните меня, все равно я не останусь жить. Для чего мне жизнь, опозоренная однажды!.. Так выслушайте же меня... Я буду говорить только правду... Я шел с гор и, когда спустился вниз, столкнулся лицом к лицу с наступающим врагом... Тут я повернулся и пустился бежать к нашим траншеям, чтобы предупредить своих, но враги гнались за мною по пятам, я не успел добежать... Они не стреляли в меня, чтобы выстрелом не всполошить нашей охраны и не выдать себя, а у моего проклятого ружья сломался курок... И вот — наши видели меня, как бежал я впереди врага, и назвали меня предателем... Пусть расступится земля и поглотит меня, если я говорю неправду!

— Зачем ты ходил в горы? — спросил один из судей.

— По делу ходил.

— Ты был один?

Гугуа молчал.

— Один был? — переспросил судья.

Гугуа боролся с собою. Не хотел он произносить имени

той, которую продолжал любить больше всех на свете, не хотел делать ее мишенью пересудов и сплетен.

— Что в том, один я был или нет? — заговорил наконец Гугуа. — Вы хотели узнать, не предал ли я вас... Я говорю вам: нет, не предавал, — бог тому свидетель! Никогда в моем сердце не рождалось ничего похожего, нет в нем ничего враждебного вам!.. А больше не спрашивайте меня ни о чем, ответы мои не спасут меня, а только отравят мне последние минуты!

Гугуа замолк. Он скрестил руки на груди и не отвечал больше ни на один вопрос. Тяжелым камнем ложилось на плечи Онисе его молчание.

В глубокой тишине ждал народ решения старейшин.

Долго совещались судьи, окружив Гоча тесным кольцом. Наконец, расступился их круг. Все вернулись на свои места. Народ взволнованно ждал приговора. И среди общей настороженной тишины снова зазвучал голос Гоча.

— Господи, прости нас, если мы совершаем ошибку! Мы стараемся судить по вразумлению твоему. Спокойствие Хевы требует, чтобы Гугуа был отвержен от теми, отрешен от родни своей... Только жена может сопровождать его. Отныне никто не посмеет предложить ему огня, если увидит, что он нуждается в огне, дать ему воды, если встретит его жаждущим, подать хлеба, если он будет голоден... Все двери будут закрыты перед ним, все будут немые для него и глухи к его мольбам... О, ангелы хевского Джвари, пошлите проклятие свое на голову изменника, предателя теми!..

— Остановись! — кто-то вдруг прикоснулся к Гоча и прервал его.

Народ глухо зашумел: кто смеет прикасаться к хевисбери, когда тот стоит под сенью верховного знамени?

Это был Онисе.

— Остановись, хевисбери! Гугуа прав!.. — крикнул Онисе. Его спутанные волосы взметались, глаза выступали из орбит. Негодующий ропот усилился.

Гоча шевельнул знаменем, колокольчики зазвенели — и тишина водворилась.

— Говори! — приказал он сыну.

— Гугуа прав, — нельзя наказывать невинного! У нас с ним есть причины для кровной вражды. Верно, он шел с гор, и свернул вниз на тропинку только затем, чтобы убить меня... Но он натолкнулся на неприятеля... И вы напрасно обвинили его в измене!..

— Кто тебе рассказал все это? — воскликнул Гугуа, и глаза его загорелись подозрением.

— Я слышал все сам, своими ушами... Когда ты говорил, сидел у дороги в засаде... К чему скрывать?.. В гибели моих братьев повинен я, на моей душе грех... Я потерял рассудок, я пропустил врага!.. Гугуа не виновен ни в чем... — торопился досказать Онисе. Он дрожал всем телом.

Слова Онисе упали на толпу, как гром.

Ошеломленный отец дрожал от ужаса, слушая сына.

Долго молчал он, потом раздался его слабый голос.

— Вот как понял ты мое наставление! — проговорил он наконец, с глубоким укором. — Будь проклят! — вдруг крикнул он. — Ты станешь ненавистен для всех, ты осквернил кости предков своих! Нет наказания, достойного тебя!.. Кровь братьев наших вопиет к небу, — обернулся он к судьям, — кровь братьев требует возмездия! Решайте же!

Старейшины посовещались, потом один из них приблизился к Гоча.

— Гоча! Твой сын не предавал Хевии... Юношеская страсть побудила его изменить своему долгу...

— Тем суровой должна быть кара! Усы, знак чести мужской, он опозорил их. Мертв для нас Онисе... Он должен быть казнен на костре!..

— Гоча! — обступили хевисбери старейшины. Все напрасно!

— Он должен, должен умереть!.. И если у вас не хватает отваги для справедливого приговора, — я, я сам...

Старец выхватил кинжал и с криком: «Изменник должен умереть!» — кинулся к сыну.

Сверкнул клинок, и Онисе рухнул на землю. Кинжал пронзил ему сердце насквозь.

Все это совершилось так стремительно, что никто не успел предотвратить беды.

Страшен был старец в своем исступлении, все испуганно сторонились его.

— Гоча! — подошел к нему наконец Гугуа.

— Ну? — безотчетно, словно откуда-то издали, спросил старик.

— Я говорил тебе, что не виновен я, но все равно мне не жить после такого позора... Не может мужчина слизнуть с себя плевков... Прощай, Гоча! Прощай, мой народ!.. — Гугуа выхватил из-за пояса пистолет, наставил себе в рот дуло, и мозг его взлетел в воздух...

Старик глубоко вздохнул, испуганно огляделся и вздрогнул. Он отшвырнул от себя окровавленный кинжал... Поставил молча. Потом вдруг рухнул на землю и прильнул к холодеющему трупу сына.

— Сын мой, сын!.. — часто зашептал он.

Долго сидел он, склонившись над трупом. И вдруг поднял голову, вскочил на ноги, безумие загорелось в его глазах.

— Прочь, прочь!.. — закричал он, отталкивая что-то невидимое протянутыми вперед руками. — Кровь, кинжал... Сын, сын мой! Где мой сын? — рыдал он истушенно...

Прошли дни. Успокоился Хеви. Жизнь вошла в свою привычную колею.

Только с тех пор никто не ходил мимо леса Самтверо. Там жил умалишенный Гоча и донимал прохожих рассказами о сыне своем. Всех зазывал он к себе в гости и каждому рассказывал, что ждет, ждет своего сына с дальней дороги. Потом начинались угрозы и мольбы... Где его Онисе, почему не идет так долго, что с ним случилось?

Долго томился так несчастный безумец, пока однажды в снежную зиму не унес его в глубокую пропасть обвал.

А Дзидзии никто больше не видел с того дня, как рассталась она с Онисе.





Э л г у д ж а

Вступ л е н и е



робил радостный для всех час, наступил год освобождения крестьян. Сами крестьяне и люди, им сочувствующие, ликовали. Они возлагали преувеличенно-радужные надежды на новые порядки. Другой же лагерь — феодалы — с тревогой ожидал упразднения вековых отношений между помещиками и крестьянами.

Освобожденные крепостные полагали, что отныне они обретут богатство, покой и человеческие права, — феодалы, наоборот, боялись, что они лишатся куска хлеба, и бывшие их пастухи станут их повелителями.

Но дни опьянения миновали, и вскоре все предстало в истинном свете: крестьяне убедились, что надежды их не оправдались даже на сотую долю, а феодалы успокоились, так как Указ ставил благосостояние освобожденных крестьян в прямую зависимость от воли помещиков.

Мелких помещиков Указ освобождал от обязанности оделять землей своих бывших крепостных, а налоги всей своей тяжестью ложились на плечи последних.

Крупные феодалы хотя и были обязаны по Указу раздать крестьянам наделы, однако, лес попрежнему принадлежал гос-

подам и, следовательно, крестьяне продолжали оставаться в зависимости от них. Крестьяне опустили головы, а феодалы снова гордо выпрямились во весь рост.

Но у крестьян, наделенных землей, была хоть надежда на лучшее будущее. Гораздо труднее пришлось тем освобожденным крепостным, которые по Указу не получили никакого надела. Это был крепостной люд, работающий при доме помещика. У этих несчастных не было ничего своего — ни кола, ни двора. Они не только не получали ни клочка земли от господ, но им даже не предоставлялось права селиться на казенных землях.

В горах у феодалов было особенно много таких крепостных людей, большею частью взятых ими в плен или купленных у соседних племен. Они использовались в хозяйстве, как рабочая сила. У них не было никакого имущества, ни движимого, ни недвижимого, и только за скудный кусок хлеба да старые отрепья взамен одежды они работали на феодала.

И вот крепостное право было уничтожено. Они, как и все крепостные, воздали хвалу господе за «счастье», ниспосланное им свыше. Да и могло ли быть иначе? Продажа и обмен крепостных зачастую разрознивали семью: отец жил в Чечне, мать — у кистинов, а дети — в Грузии... Отныне же никто их не сможет разлучить с любимыми детьми, женой, матерью или возлюбленной!..

Но радость их была недолга. Получив свободу, они увидели, что их, правда, не будут больше отрывать друг от друга, не будут распродавать, как скотину, но что всем им надо есть, пить, иметь одежду и кров над головой, а между тем новые порядки пустили их по миру с протянутой рукой! Уходя от своего прежнего помещика, они не могли взять с собой даже постели, даже единственной бурки, чтобы прикрыть свою наготу.

Они рассеялись по стране и до сих пор бродят неприкаянными, без убежища, без земли. А между тем у нас столько свободных земель, которые следовало бы заселить, на которых крестьяне могли бы заниматься полезным для государства трудом! Откуда только не привозят к нам всевозможных «скопцов» и прочих нравственных уродов для заселения наших земель, а этих несчастных и обездоленных людей оставляют без крова.

О жизни таких вот несчастных хочется мне написать несколько рассказов. Я счел необходимым предпослать им это вступление, чтобы напомнить о существовании у нас безземельных крестьян и подчеркнуть, что Указ поставил их в безвыходно-тяжелое положение.

Через Дарьяльскую теснину, где ныне прекрасное шоссе скользит змеей среди черных скал, вились в старину только тропинки, по которым с трудом пробирались навьюченные лошади. Эта дорога с Северного Кавказа в Грузию шла сперва узким Ларсским ущельем, но, приблизясь вплотную к дарьяльским громадам, вступала в прорубленную через скалы щель, — подобие тоннеля, — у ворот которой постоянно стояла мохевская стража: истари охраняли мохевцы Грузию от незваных гостей.

Как-то раз, темной ночью, когда густой туман заливал ущелье, придавая еще большую суровость окрестным горам, небольшой отряд караульных развел костер у самого входа в тоннель; люди расположились вокруг огня и жарили туры шашлык, дожидаясь ужина.

Вдруг послышался конский топот. Караульные схватили ружья и в одно мгновение исчезли за каменными глыбами по обе стороны дороги. Двигались они быстро и совершенно бесшумно.

Вскоре на дороге показался всадник. Он смело въехал в самую середину засады. Караульные, наставившие дула ружей из-за камней и сами в своей неподвижности как-бы слившиеся с камнями, вдруг все скатились на дорогу и окружили верхового.

— Кто идет? — раздался окрик стражи.

— Осетин Махамед, сени циримэ! — коверкая грузинскую речь и картавя, ответил всадник.

— Откуда ты и куда едешь?

— К Чойикашвили... Мой к ним гость!

— А что это у тебя завернуто в бурке? — продолжал допрашивать дозорный, указывая на перекинутый через седло длинный вьюк.

— А это женщина, сени циримэ, везу туда же.

— Где ты ее раздобыл, где охотился за ней?

— У черкезов похитил, — замылся всадник.

— Ух, и врешь же ты, порази тебя бог!.. — с насмешкой и недоверием отозвался мохевец.

— Солнцем твоим клянусь, у черкезов отбил...

— Довольно, знаю я тебя! Верно, купил ее у осетинского владетеля Сулонова, а врешь, что похитил у черкезов.

— Нет, нет, солнцем клянусь.

— Будет! — резко оборвал его караульный. — Знаю я, что не посмел бы ты сунуть своего носа к черкесам!

— Ну, ясно, где уж ему к черкесам соваться! — подхвати-
ли остальные.

— Элгуджа! — окрикнул товарища караульный, допраши-
вающий осетина. Он, как видно, считался их начальником.

— Я здесь!

— Ступай, отведи его к Чопикашвили. Но если окажется,
что он врет, прикончи его и выкинь, как собаку.

— Слушаю!

— Вздумает бежать, — не щади его!

— Будет исполнено!

Элгуджа, высокий и стройный двадцатидвухлетний юноша,
любимый всеми за чистоту и правдивость сердца, прославленный
в Хевии отважный и меткий стрелок, вскинул ружье на плечо и
скомандовал Махамеду:

— Вперед!

Махамед тронул коня, Элгуджа двинулся следом.

С великой осторожностью вел он пленника, стараясь выпол-
нить в точности приказ своего старшего. Вздумай сейчас Маха-
мед хоть бы на шаг свернуть с дороги, Элгуджа пристрелил бы
его на месте и швырнул в пропасть. А если промахнется он, и
Махамед сумеет ускакать от него, — Элгуджа обгонит беглеца
пешими тропами, и все-равно не уйти несчастному от неизбеж-
ной участи своей!

Так добрались они до селения Степанцминда и остановились
перед воротами дома Гаги Чопикашвили.

— Гаги!.. Э-эй, Гаги! — закричал Элгуджа.

Дуло ружья высунулось из бойницы, пробитой в глухой
галлерее вдоль дома.

— Кто зовет?

— Я, Элгуджа!

— С чем явился ночью?

— Человека привел.

— Он один?

— Нет... Женщину какую-то везет.

Гаги ушел с галлерей, разбудил своих людей, те повскака-
ли и с ружьями выбежали на его крик!

Это была пора, когда Грузия вступала под покровительство
России и между сторонниками соединения и его противниками
шли горячие распри. В то время никто не осмеливался ночью
выходить из дома без оружия.

— Онисе, — обернулся Гаги к одному из своих людей, —

выйдя, проводи гостя в дом, а пленницу сдай женщинам, да покажи беречь ее, как зеницу ока.

Онсе кинулся исполнять приказание.

— Постой, — вдруг остановил его Гаги, — я сам спущусь.

Он узнал Махамеда, с которым не однажды вступал в подобные торговые сделки. Сойдя к Махамеду, он дружески приветствовал его.

Махамед теперь только признался, что девушка — пленница, мусульманка, черкешенка родом, похитил ее не он, а какой-то кистин и привез в Осетию для продажи, а Махамед перекупил ее для Гаги. Восхищенно расхваливал он ее красоту.

Гаги откинул башлык с лица девушки и низко склонился над ней, как бы оценивая ее взглядом покупателя.

— Девушка и вправду красива, — сказал он. — Ты, верно, устал, — обернулся он к Элгудже, — втолкни девушку вон в ту клеть, а сам ложись перед дверью, да не забудь накинуть крючок!

И Гаги повел Махамеда в гостиную, чтобы задобрить гостя радушной беседой и подешевле выторговать красивую пленницу.

Элгуджа вошел с девушкой в клеть. Он зажег лучину, оглянулся и вздрогнул. Юная красавица стояла перед ним. Он не мог глаз оторвать от ее лица. Вся кровь вдруг вспыхнула в жилах, заколотилось сердце. Забыл Элгуджа где он и кто он. Одно желание всецело овладело им, — глядеть, глядеть на нее без конца. А она стояла перед ним, покорно опустив глаза, бледная, печальная, вся ушедшая в свое горе.

Сострадание обожгло сердце Элгуджи, ему захотелось сказать ей что-нибудь ласковое, утешить ее, но томительное волнение завладело им: не мог он вымолвить ни слова, — не подчинялся язык.

Но вот стряхнул он с себя оцепенение. Укрепил распольхавшуюся лучину на каменном выступе. Указывая рукой на тахту в углу клетки, объяснил девушке знаками, что надо развернуть постель и лечь. Взглянул на нее еще раз, поборол себя, повернулся, шагнул к двери. У порога он обернулся и — что за диво! — поймал внимательный взгляд девушки, устремленный ему вслед; словно почувствовала пленница, как чист сердцем этот моховец, словно благодарила его за участие.

Не выдержал Элгуджа. Бросился к ней, порывисто обнял. Девушка доверчиво прижалась к его груди, сама не сознавая, что это томительное, дотоле неизведанное ею чувство и есть любовь.

Буря закружилась в юных сердцах. Скрип двери в доме спугнул их блаженное забытие.

Элгуджа еще раз прижал к себе девушку, жарко поцеловал ее в губы и оглушенный выбежал за дверь. Накинул на петлю крючок и улегся у порога.

Гаги вышел во двор, окликнул слуг, приказал накормить гостя обильным ужином. Слуги разошлись, а хозяин, крадучись, направился к клетки, где заперта была пленница.

Он не мог совладать со своим порочным сердцем. Нынче же ночью, не дожидаясь утра, насладится он прелестью черкешенки!

Осторожно подошел он к двери, постоял над Элгуджей, чтобы убедиться, крепко ли он спит. Элгуджа безмятежно похрапывал. Гаги перешагнул через него, бесшумно снял затвор и вошел в клетку, плотно прикрыв за собою дверь. Тотчас же вскочил Элгуджа, приник горящими глазами к дверному отверстию.

Увидев чужого мужчину, девушка вскочила, задрожав всем телом, прижалась в страхе к стене. Следила за ним широко открытыми глазами. Гаги кинулся к пленнице. Она в ужасе закричала. Гнев переполнил сердце Элгуджи. Ждать больше было нечего! Дрожащей рукой выхватил он кинжал и ворвался в клетку, как одержимый.

— Кто здесь? Что за крик? — грозно спросил он, как будто только сейчас проснулся.

Гаги испугался. В душе он проклинал бдительность Элгуджи, но делать было нечего.

— Да это я! — смущенно пробормотал он, — пришел проверить, хорошо ли дверь закрыта. — Пойдем-ка теперь, — обернулся он к Элгудже, — отдохнем. На дверь можно замок повесить, — прибавил он с притворной небрежностью.

2

Рассвело. Солнце увенчало Мкинварцвери золотой короной. Деревня проснулась. На двор высыпали люди. Поднялись с рассветом и в доме у Гаги. Женщины узнали о том, что привезли черкешенку, и пошли у них толки и пересуды. Всем хотелось поскорее увидеть пленницу, побольше узнать о ней. Пришел наконец мальчик, посланный от Гаги, и передал им ключ от клетки.

— Гаги приказал присматривать за девушкой, — сказал он.

— За какой девушкой? Ах, за этой? Правда ли, что она

черкешенка? Красива? Сколько ей лет? — посыпались любопытствующие вопросы.

— Откуда я знаю? Сам я ее толком не разглядел. Гаги приказал ее беречь.

— А где сам Гаги?

— А сам на рассвете уехал в Хевсуретию. За ним какой-то человек прискакал.

— А зачем он поехал? — продолжали расспрашивать женщины.

— Будет вам болтать! — оборвала их старшая. — Надо проведать ее, не голодна ли? Ступай-ка ты, Джаджала, — обернулась она к самой младшей. Любая из старших женщин могла приказывать ей, и она покорно выполняла все поручения.

— Вот тебе ключ, — выпусти ее!

Джаджале и самой не терпелось проведать пленницу, помочь ей, утешить ее. Ведь и она была дочерью такой же пленницы, и немало рассказывала ей мать о тяжелой доле девушки, так же вот похищенной соседями. Она даже немного понимала черкесский язык, которому учила ее мать.

В смятении вскочила бедная заключенная, увидев вошедшую девушку. Но Джаджала ласково ее успокоила.

— Сиди, сиди! Ты и так, верно, устала, — участливо заговорила она с нею по-черкесски.

— Как? И здесь умеют говорить по-черкесски? — радостно воскликнула девушка.

— А как же!.. Конечно, говорят!.. Ты не бойся, здесь такие же люди, как и у вас.

— Значит меня не убьют, не станут мучить?

— Бедная ты моя, да разве мы неверные? Ты нас не бойся!

— А вчера меня так напугал один человек! Он глядел на меня... такими глазами... Я чуть не умерла от страха... Если б не тот юноша, — погибла бы я!..

Джаджала догадалась, кем напугана пленница. Но кто же этот юноша?

— Ты черкешенка?

— Да.

— И я — дочь черкешенки!..

— Ты?! — удивилась пленница.

— Да... Ее тоже похитили, как и тебя... Как тебя зовут?

— Мзаго.

— Ты хочешь есть?

— Нет.



— Пойдем со мной, поешь чего-нибудь, а то ослабеешь совсем.

— А куда мы пойдем?

— К нашим женщинам.

Они вошли в дом — обиталище княжьей семьи. Здесь окружили черкешенку женщины, принялись разглядывать ее с таким любопытством, словно впервые увидели живого человека. Но вскоре успокоились, принялись за свои дела, а заботу о пленнице поручили Джаджалу.

Но юноши, который так понравился ей вчера, так неожиданно заронил искру в ее сердце, юноши этого нигде не было. Это огорчало Мзаго. А вдруг его любовь уже погасла так же быстро, как и вспыхнула? Мзаго хотелось с кем-нибудь поговорить о нем, но она не решалась, не могла никому довериться. А где тот ужасный человек с налитыми кровью глазами? Как хорошо, что его не видно!

Когда Гаги и Элгуджа выходили из клетки; заперев в ней Мзаго, к воротам подехал всадник. Он спешился и подбежал к хозяину дома. Привез он весть о беспорядках среди мтиульцев-гудамакарцев. Отряды царской России окружены в мтиульских долинах, и туда вызывают Гаги, одного из главарей хевской общины. Там же собрались мтиульцы под предводительством мятежного царевича Александра, чтобы оказать сопротивление вступившим в Грузию чужеземным войскам. Гаги и Элгуджа в ту же ночь выехали на место событий.

Все это произошло так быстро, что Элгуджа не успел даже взглянуть на прощание на несравненную свою черкешенку, от одной встречи с которой кровь его взволновалась, как горная река. Всю дорогу он думал о ней, проклинал в душе мтиульцев, так не во время затеявших беспорядки, искал повода, чтобы вернуть коня обратно. Долго боролся он с самим собою, и наконец все же решил, что мысли его позорны, что не смеет он спокойно сидеть дома и беспечно предаваться мирным утехам в дни, когда его сверстники и товарищи готовятся к борьбе с поработителями. «Нет, буду вести себя, как подобает мужчине, а когда, честно послужив своей общине-теми, вернусь со славой домой, попрошу Гаги отдать за меня Мзаго, и он не сможет отказать мне в этом», — успокаивал он себя.

Не сбылись надежды Элгуджи. Не было никаких жарких боев: народ, быстро поняв свое бессилие, мирно разошелся по домам. Вернулись домой и Гаги с Элгуджей.

Тем временем число царских войск, вступивших в Грузию,

росло с каждым днем, и всякое сопротивление было обречено на неудачу. Гаги скоро понял, на чьей стороне будет сила, где ему выгоднее быть, и переметнулся к власти имущим, за что был пожалован в офицеры.

Так стремительно разворачивались события. Грузия жила столь тревожной жизнью, что люди позабыли на время о своих повседневных делах и заботах. Гаги, захваченный этим водоворотом, тоже как-будто перестал думать о своей пленнице. Элгуджа воспользовался этим, он с каждым днем все теснее сближался с Мзаго. Джаджала и Мзаго стали подругами, у них больше не было тайн друг от друга. Джаджала часто помогала влюбленным беседовать. Они решили пожениться. Элгуджа собирался уплатить Гаги выкуп за невесту. А если Гаги не пойдет на это, — Элгуджа похитит свою возлюбленную.

Но дни шли за днями, пролетали недели, а дело все ни на шаг не двигалось вперед. Тем временем Гаги получил под свое командование небольшой отряд солдат и стал ездить во главе экзекуции в провинившиеся и непокорные мтиулетские деревни. Редко бывал он теперь дома, и Элгудже никак не удавалось поговорить с ним о своем деле.

3

Однажды лунным вечером, когда все трудовые люди Хеви были на сенокосе, косари Гаги развели костер и варили свежую баранину. Женщины и мужчины сидели вокруг костра и весело перешучивались в ожидании ужина. Еще не умея разобраться в происходящем, народ жил в безотчетном страхе перед будущим. Основательно или нет, но боялся он насилия и господства чуждого ему по своим обычаям и нравам народа, говорящего на чужом языке. Страх этот еще усиливался из-за варварских действий царских чиновников того времени.

Была среди косарей и юная пленница. Она в стороне от всех печально любовалась вершиной Мкинварцвери, облитой лунным серебром.

Расположились ужинать. Окликнули Мзаго. Мясо разложили по мискам. Вдруг подошел к ним юноша с косой на плече.

— Победа вашему делу!

— Долгие дни тебе! — приветствовали гостя. — Садись с нами!

Косари потеснились, освобождая место для Элгуджи.

В горах люди радушны, и одинокий работник всегда может

пристать к соседним работникам, отдохнуть и отужинать вместе с ними. Всех косарей Гаги знал Элгуджа, были они односельчанине. Да и в доме у самого Гаги бывал он часто, особенно когда нес караульную службу.

После ужина, когда улеглись на отдых, и глубокий сон овладел всеми, Элгуджа прокрался к Мзаго. Она подняла было голову, но, узнав своего милого, замерла. Элгуджа сделал ей знак следовать за ним, и они бесшумно скользнули к опушке Бурахульского леса. Легко и беззвучно, как призраки, шли они по лесу и, когда густая чаща скрыла их от чужих взоров, Элгуджа обернулся к шедшей за ним девушке, порывисто привлек ее к себе, прижал к груди, покрыл ее лицо поцелуями. Уже научились они понимать речь друг друга, могли и без Джаджалы поведать друг другу свои сокровенные думы, свою любовь.

Горячо приласкав свою милую, Элгуджа сообщил ей грустную весть: засылал он людей к Гаги, просил отдать за него Мзаго, но тот отказал наотрез, и теперь ничего не остается Элгудже, как только похитить ее, бежать с нею подальше отсюда.

— Как?.. Пойдешь ты за мною?

— Я же ведь твоя! Можешь взять меня с собой, куда захочешь...

— К тушинам надумал я бежать.

— Твоя воля...

— А если ты загрустишь там?

— Женщине нашей страны трудно бывает полюбить чужого, но уж если полюбит она, становится во всем покорной своему повелителю!.. Ты можешь приказывать мне, милый!

И снова жаркими поцелуями покрыл Элгуджа ее лицо.

— Я уже все подготовил... Здесь в лесу стоят наши кони и зарыто оружие... Через Гудамакари нам не проехать, там все пути закрыты, теснины там узки и непроходимы, — придется перевалить через Мтиулету.

— Ты все сам знаешь!

— Тогда не надо медлить, солнце мое!

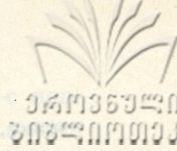
— Все в твоей воле!

— Не бойшься?

— С тобою?! — спросила Мзаго с таким упреком, что Элгуджа смутился.

Трижды свистнул он долгим, тихим свистом. И тотчас же встал перед ним вооруженный юноша, — словно из-под земли вырос.

— Георгий, ты?



- Да, я..
- Где оружие?
- Вот! — и он протянул Элгудже набор.
- Лошади?
- Там стоят! — юноша указал на лес.
- Веди их сюда.

Георгий пошел за конями. Молча, сурово сжав губы, надевал на себя оружие Элгуджа. Видно, решил никому не уступать своей прекрасной возлюбленной, дать достойный отпор всякому, кто дерзнет стать ему поперек пути.

Георгий подвел коней. Когда все было готово, Элгуджа обернулся к Георгию:

- Георгий?
- Слушаю тебя!
- В трудный путь пускаюсь я. Может, вернешься домой?!
- К чему так говоришь?
- Кто знает, что ждет меня? Тебе зачем пропадать?
- Разве затем побратались мы с тобой, чтобы ты так разговаривал со мною? — с обидой сказал Георгий. — Давай тронемся в путь, не надо нам медлить.

— Значит, ты с нами?

— Да. Если тебе суждена смерть, то и я умру с тобой.

— Как знаешь! — раздумчиво молвил Элгуджа. — Бог всевышний, ангел-покровитель горцев, пособи нам, даруй нам милость твою! — тихо произнес он, снимая шапку.

— Господи, призови к ответу того, кто изменит другу в беде, — прибавил Георгий.

— Аминь! — закончили оба.

Еще немного постояли они в сурово-величавом молчании, обращая свои мысли к всевышнему.

— Поезжай вперед! — сказал Элгуджа.

Георгий стегнул коня плетью и рванулся вперед, следом за ним ехала Мзаго и позади всех Элгуджа.

Бесшумно и сторожко ехали наши всадники. Они миновали селение Коби, самое опасное место, и стали подниматься на перевальную гору. Им хотелось до рассвета добраться до мтиулетских урочищ. Там начинались густые леса, где легко укрыться от преследователей.

— Скорее, Георгий, скорее, — торопил Элгуджа своего вожжака, тревожно разглядывая звезды, — утренняя звезда к западу склонилась, как бы день не обогнал нас еще до Кайшаури!

— Бог милостив, — отвечал Георгий, подстегивая своего скакуна. Конь его трусил «волчьей» иноходью, — с таким конем все пути — коротки!

Встала заря, свет разлился по земле. Подъехали к гладкому Квешетскому под'ему. Совсем другая природа была здесь. Ровные, поросшие кустарником полянки с лесистыми горами вокруг кое-где были распаханы мтиульцами под хлебные поля. У верхушек распаханых клиньев стояли их домики-крепостцы. Живительный ветерок нежно и неустанно струился над землей, освежая всадников, отгоняя от глаз их дремоту. Прозрачные, чистые роднички скользили со скал, лаская рокочущим лепетом слух. Проснулись птицы и вознесли хвалу всемогуществу природы. Все покоряло здесь человека, все призывало его помедлить в этих местах, зажарить шашлык, отдохнуть. Влеклись и стада к этим тучным, благоуханным лугам, усеянным пестрыми крапинками цветов.

Огляделся Элгуджа, и грустно стало ему. Хорошо тем, кто может наслаждаться красотой этих мест свободно, без страха. И зачарованный природой Элгуджа ушел в свои мысли.

Вдруг Георгий придержал коня.

— Что такое?

— Посмотри-ка, вон там внизу у Квешетского под'ема какие-то всадники появились... Свернем в сторону, в кустарники, — совсем рассвело!

— Хорошо! — сказал Элгуджа.

Они свернули в высокую кустарниковую чащобу, укрывшую их от недобрых глаз. Там они спешили, раскинули бурки, и усадили на них Мзаго. Георгий отвел коней подальше, стреножил их и пустил пастись. Потом осмотрел он свое ружье, сменил запал и разлегся на земле с такой беспечностью, словно был у себя дома. Элгуджа осторожно пробрался поближе к дороге: он все видел и слышал из своей засады.

Всадники, человек двадцать пять, не спеша под'езжали к ним. Они следовали за своим главарем тесным строем, по-четверо в ряд, словно в поход выступали.

Поровнявшись с местом, где трое наших друзей свернули в сторону, главарь резко осадил коня. Он наклонился и принялся рассматривать дорогу. Под'ехали остальные.

— Следы конских копыт. Не знаю только, куда ведут.

Откуда им здесь взяться? — усомнился всадник с проседью на висках. Он был начальником отряда. На плечах у него сверкали погоны. Элгуджа вздрогнул: он узнал Гаги.

Гаги остановил коня. Низко свесившись с седла, стал он всматриваться в следы, гарцовал вокруг, чтобы не затоптать их.

— Да, здесь были трое! Следы ясно видны. Кони неподкованы! — отрывисто бормотал он как бы про себя.

Явственно отпечатались на свежей росе следы неподкованных конских копыт, — их называют у нас «лягушачьими».

— Верно, недобрые люди проехали по этой дороге! — воскликнул Гаги, выпрямляясь в седле.

— Добрым людям незачем сворачивать!

— А нет ли туда тропинки? — обернулся Гаги к вожаку мтиульцу.

— Нет, господин мой, нет... Тропинке туда незачем, там ни деревни, ни жилья, ничего!

— Как ничего, а это вон что? — указал Гаги на горный склон с редкими домиками мтиульцев.

— Там деревня, мой дорогой, да только к ней отсюда не подступишься, таким ущельем глубоким огородилась, что и птице через ту пропасть не перелететь, клянусь благодатью Ломиси!

— Так, значит они прячутся где-то тут, в этих кустарниках?

— А где ж им еще быть, пропади они пропадом! К той горе надо через ущелье, а здесь — скала, и глядеть-то на нее страшно, такая крутая!

Вдруг на спуске показался всадник. Он гнал коня во весь опор, позабыв и о крутизне, и об осколках скал, которыми была усеяна дорога. Стоило лишь оступить коню, и он, и всадник навсегда бы канули в пропасть. Верно, с важной вестью он спешил!

Издали заметил его отряд Гаги и ждал.

Следил и Элгуджа за всадником. Острая игла кольнула в сердце.

— Этот, верно, послан в погоню за нами!..

Знал он: если услышит Гаги о похищении девушки, если найдет их вместе, — не миновать кровопролития! Кто похитил девушку из дома властного феодала — набросил тень бесчестия и позора на этот дом!

Не за себя боялся он, — но с ним была девушка, одним вздохом которой он дорожил больше жизни. Когда б не это, сме-



лый юноша из Хеви давно испытал бы меткость своей ружьи на негодях, размышляющих над следом чьих-то коней.

Элгуджа негодовал: как посмел Гаги задержать коня, как посмел он разнюхивать следы проезжих, которые уступили ему дорогу, свернули и уклонились от встречи? В таких случаях в горах принято обходить даже кровного врага.

— Что случилось, Мартия? — спросил Гаги у прискакавшего всадника.

— А то, господин мой, что Элгуджа у нас похитил девушку, дом наш обесчестил, перед всей общиной опозорил!..

— Как? Элгуджа на это осмелился?

— Да, Элгуджа, и никто другой!

— А где же были вы, бабы вы трусливые? Вам бы не шапки носить на головах, а косынки женские. Тьфу! Нет у вас чести, — бесновался Гаги.

— Ночью он похитил ее, воровски, а то бы... разве мы не сыны отцов своих? — оправдывался Мартия.

Сразу все понял Гаги: следы на дороге, побег Элгуджи... Сейчас же захватить беглецов!

Все слышал Элгуджа. Он бросился к товарищу. Друзья схватили девушку за руки: только бы укрыть ее в безопасное место! А потом... потом пусть мир узнает, какие они «смуглые ребята», и легко ли захватить врасплох двух самоотверженных мохевцев!

Долина эта с одного края упиралась в такую отвесную скалу, с которой только птица смеет слетать вниз. С другого — она обрывалась в глубокую теснину. Друзья обошли скалу по ущелью, поднялись на вершину. Там было подобие площадки, кругом — зубчатые острые выступы.

— Бог за нас, Георгий! — оглядевшись, воскликнул Элгуджа.

— Заберемся туда и распотешим их, как надо! — отозвался Георгий.

— Мы спаслись? — дрогнувшим голосом спросила Мзаго, до сих пор она не проронила ни звука.


— Бог милостив! — отозвался Элгуджа.

— Чего им надо от нас, чего? — с тоской повторяла Мзаго.

— А того, чтоб мы перебили их поодиночке, как собак, и оставили их трупы стервятникам на расклев!

— Значит, защищаться будете? Господи! — воскликнула Мзаго.

— Не бойся. Жадные глаза Гаги насытятся брошенными



конями. А если сюда подступят, мы перебьем их! — сурово ответил Элгуджа.

Они взошли на вершину, расположились на площадке. Ответил Мзаго в самое защищенное место, велели не выходить оттуда.

Стали готовиться Георгий с Элгуджей: раскинули бурки, высыпали заряженные патроны, еще раз проверили в ружьях запалы.

— Ну, а теперь пусть пожалуют гости дорогие, мы встретим их по-хозяйски! — воскликнул Элгуджа.

— Встретим, как подобает, — отозвался Георгий.

5

Невеселые мысли одолевали Гаги.

Добившись офицерского чина и вступив на путь служения великому государю-императору, надеялся он возвыситься, всех прибрать к рукам, но был в то же время настолько хитер и лицемерен, что не утерял пока уважения своих соплеменников. И вдруг какой-то безродный моховец Элгуджа стал ему поперек пути, обесчестил его имя, отнял у него девушку, ославил на весь край. Как наказать злодея? В прежние времена созвал бы он общинный сход и сам подчинился бы решению совета старейших. Но теперь? Как поступить теперь? У теми нет прежней силы, уже не выполняется беспрекословно воля народная, и судьба человека — в руках у сильнейших. Сам Гаги — один из этих сильнейших, и как раз поэтому дерзость Элгуджи должна быть примерно наказана! Тут мало простой мести! Гаги вышел, наконец, из задумчивости, злобещая улыбка искривила его губы.

— Мартия! — властно окликнул он.

— Здесь я, раб твой!

— Сейчас же скажи в Квешети, сообщи правителю, что бунтари разграбили мой дом, похитили у меня женщину, когда я был на службе государю-императора.

— Слушаюсь, мой господин, слушаюсь!

— Скажи: это — месть мне за то, что я служу русскому царю... Сообщи, что настиг я изменников, и пусть вышлют мне на подмогу отряд стражников, чтобы их задержать.

— Стражников? — недоуменно переспросил Мартия.

— Да, именно стражников! Изменников государю-императору должны поймать его же люди.

— Для чего нам стражники? Разве самих нас мало? — возразил обиженно Мартия. — Только прикажи — и, клянусь именем

Ломиси, обрушим на них божий гнев, и никуда они от нас не уйдут!

— Нет, стражники их подольше помучают! Мало для них одной смерти! — злобно, как бы про себя, проговорил Гаги.

— Они — твои враги, ты сам должен расправиться с ними. Зачем ты других зовешь?

— Затем, чтоб примерно наказать их.
Мартия опустил голову, задумался. Не торопился он исполнить приказ.

— Ступай! Чего медлишь?
— Послушай, да поможет тебе благодать Ломиси, — Мартия снял шапку, — не отдавай ты нас в руки палачей! Для чего мучить людей? Они враги твои, мы сами расправимся с ними, чего же еще надо? А стражники будут их мучить, истинно так, да не лишусь я милости Солнцеликой.

— Будут мучить! Этого я и хочу, — бешено прохрипел Гаги.

— Не делай ты этого, к коленям твоим припадаю! Ославимся мы на всю общину, стихи о нас сложат! Сосчитайте, сколько нас, и на троих не смеем идти, — смерть это для нас! Ты только прикажи, и я один пойду на них в рукопашную, — да обрушится на меня твой гнев!

Мартия презирал Гаги за трусость; и не мог он допустить, чтобы предавали людей в чужие руки на муку. А что чужие будут мучить, — это он твердо знал. Не его вина, что он ожидал этого от пришельцев; собственными глазами видел он позорные дела, совершаемые кое-кем из них. Видел он сам, как «двух мтиульцев, чинивших дорогу, стражники засекали нагайками на смерть только за то, что у одного из казаков споткнулась лошадь. Или однажды зимою, в большой снегопад, не разрешили дорожным рабочим оставить работу и укрыться от непогоды, и потом троих задавило обвалом. А как они впрягали женщин в сани и, подстегивая их кнутом, заставляли перетаскивать тяжести»¹. На глазах у него «в Ананури какой-то чиновник задержал двух осетин, налил в корыто нечистот и заставил несчастных есть эту мерзость»².

Много преступлений царских чиновников видел Мартия, поэтому он и думал о них так же, как его собратья.

¹ См. Сочинения Дубровина: приложение «Жалобы мтиульцев». Прим. авт. (Н. Дубровин. Закавказье, 1803 г. СПб. 1866 г.).

² Сочинения Берже «Присоединение Грузии к России» вышло отдельной книгой, а также напечат. в «Обзоре 1880 г.». Прим. автора.

И теперь хоть и осуждал он Элгуджу, все же умысел Гаги казался ему непорядочным и нечестным.

— А Гаги, знавший обо всем этом не меньше Мартия, потому как раз и торопил его.

— Скорей, скорей! Чего медлишь? — прикрикнул он на Мартия.

— Еду, еду, мой господин!.. — Мартия поворотил коня.

— Постой, а нет ли тут где-нибудь укрепленного места для засады? — спохватился Гаги.

— Как же, есть, — вон там, — сказал Мартия, указывая на голую скалу, — если там у человека будет вдоволь патронов, он целый год продержится.

— Ну, хорошо, поезжай скорей!

— Слушаюсь, быстро слетаю!

Отъехав немного, обернулся Мартия и, пригрозив Гаги своей плеткой, воскликнул гневно:

— Не хотел меня послушаться, изверг плешивый, а теперь я сам знаю, что мне делать! — и он скрылся за поворотом дороги.

На полном скаку прыгнул он с коня, метнулся в сторону, в густой кустарник, и побежал напрямик к той скале, где, как он думал, скрывался Элгуджа.

— Мало тебе одной смерти, греховодник проклятый? — сердито бормотал он про себя, — хочешь предать их на муки? Не бывать этому!.. Или умру вместе с ними, или спасу их!..

Однако, и Гаги не терял даром времени. До прибытия подмоги решил он обшарить всю местность, где скрывались его враги. Он приказал отряду рассыпаться по кустарникам: если кто-нибудь обнаружит преступников, пусть старается захватить их живыми, не пуская в ход ружей.

Люди Гаги осторожно и опасно обшаривали каждый куст. Гаги ехал под их прикрытием. Вскоре набрели они на брошенных оседланных коней.

Тем временем Мартия уже приблизился к засаде Элгуджи. Первым заметил его Георгий и по одежде определил, что это мтиулец.

— Кто бы это мог быть? — спросил он Элгуджу, указывая на Мартия. — Нет ли у тебя друга среди них?

— Нет. Но сейчас мы узнаем, — сказал Элгуджа, из-за выступа скалы целясь в идущего. — Стой! — закричал он, — не то, богом клянусь, уложу на месте!

Мартия миролюбиво выкрикнул приветствие.

— Кто ты? Чего тебе надо от нас?

— Меня зовут Мартия, я — хандосхевский мтиулец, с вами побрататься хочу!

— Эй, Мартия! — немного пораздумав, сказал Элгуджа. — Если неправду говоришь, лучше уходи, откуда пришел, парень ты, кажется, хороший, жалко тебя губить, да только и мы не хуже тебя.

— Ломиси, будь мне порукой! Пусть ваш предатель с матерью своей разделит ложе!

— Я буду держать его на прицеле, — обернулся Элгуджа к Георгию, — а ты спустись к нему, побратайся с ним. Может, и он такой же гонимый, как мы, а для нас сейчас каждый лишний человек — войско целое!

Молча взял Георгий ружье и спустился с кручи. Увидев Мартия, он остановился.

— Добрый путь тебе! — сказал Георгий.

— Пусть хранит тебя Ломиси!

— Сложим оружие, побратаемся!

— Да будет так, мой дорогой!

Оба сняли с себя оружие, сложили его на землю, подошли друг к другу, обменялись пулями. Потом обнялись и троекратно расцеловались. Они поклялись, что будут верны друг другу до последнего вздоха. Взяли ружья и поднялись к Элгудже. Приняв и тот в побратимы Мартия. Мтиулец рассказал им об умысле Гаги. Не мог честный горец запятнать себя позором, решил помочь гонимым или погибнуть вместе с ними.

Тем временем Гаги, под прикрытием своих людей, подошел к подножию горы. «Здесь прячется Элгуджа», — думал он.

— Элгуджа! — громко крикнул Гаги. — Мы знаем, что ты скрываешься здесь. Покажись, хотим переговорить с тобой!

Молчание было ответом.

— Эх, трус ты, трус! — продолжал он. — Если так боишься меня, зачем было девушку похищать? Выгляни, если ты не баба трусливая?

Вскипел Элгуджа. Не мог он снести такого оскорбления. Он встал на скале во весь рост.

— Ты хорошо знаешь, как я труслив! Но прошу тебя, Гаги, не пятнай наших рук своей кровью! Не становись на моем пути! Я похитил у тебя девушку, но я готов уплатить за нее выкуп, установленный общиной. Оставь меня в покое!

— Провались ты с общиной твоей! Сейчас же спускайся сюда и непотребную эту веди с собой, не то, жизнью своей клянусь, не миновать тебе черных дней!

— Гаги, не оскорбляй общину, не дело это!.. И женщину оскорблять недостойно мужчины. Оставь меня, — не то, богом клянусь, кровь подступает у меня к горлу.

Разум помутился у Гаги от такой дерзости. Позабыл он, что хотел взять врага живым.

— Собака! Как он смеет так дерзко разговаривать со мною! А ну-ка, ребята, стреляйте в него!

Дым от выстрелов закружился в воздухе, пули шлепнулись о скалу. Элгуджа успел отскочить за выступ.

— Ах, так! Тогда и нашей пальбой полюбуйся! На твою душу — пролитая кровь!

Грянули три выстрела, и трое людей из отряда Гаги свалились на землю. Кровь хлестала струями из их ран.

6

Завязалась перестрелка, Гаги потерял немало людей. Уцелевшие отступили. Сам Гаги укрылся в безопасное место: прямо продолжал он ждать подмоги. Любою ценой, рано или поздно, но он заполучит в свои руки Элгуджу!

«Какое проклятье божье свалилось на их голову! — думал он, — ведь уже за полдень перевалило. Мартия-то сам куда пропал?»

Понял он, что ни взять Элгуджу, ни нанести ему урон, ни запереть его — невозможно с одним отрядом.

— Ну, теперь пора и отдохнуть! — сказал Георгий Элгудже. — Больше и пикнуть не посмеют.

— Не думаю, чтоб Гаги так легко утомился, — покачал головой Элгуджа. — Жалеть ему не о чем, другие за него умирают, сам-то в кустах прячется.

— Нет, теперь уж ему не собрать своих людей. Конец всем тревогам, дорогие мои! — успокоил их Мартия, положив ружье на бурку.

Близился вечер. Беспечно беседовали трое друзей. Вдруг Элгуджа скользнул вниз и навел ружье на дорогу.

— Что ты увидел? — спросил Георгий шопотом, словно боясь спугнуть дичь.

— А ну-ка, взгляни вон туда! — указал он на край поляны.

— Да ведь это Гаги, дорогие мои! Он, он, собака! — узнал всадника Мартия. — Куда его несет? Уж не в преисподнюю ли?

— Не знаю куда, — и Элгуджа нацелился в Гаги, который

с несколькими всадниками скакал в сторону Квешети, — но только живым ему туда не добраться!

Грянул выстрел. Лошадь Гаги взвилась на дыбы у самого края дороги над пропастью и исчезла вместе с всадником, — словно их смело начисто. Друзья Гаги кинулись было ему на помощь. Поздно! Подстреленный конь увлек своего всадника вниз.

Пошумели они, постояли над пропастью и — что же еще было делать? — поскакали дальше, повезли правителю печальную весть.

А на скале эту весть приняли с радостью.

— Да здравствуют зоркий твой глаз и десница твоя, Элгуджа! — воскликнул Мартия, сняв шапку.

Элгуджа опустил ружье.

— Зачем он себя погубил? — угрюмо сказал он. — Видит бог, никогда не поднял бы я руку на собрата своего добровольно!..

— Не собрат он тебе, а предатель, — возразил Мартия, — он предал и братьев своих и общину!..

— Собаке — собачья смерть... Даже пули не удостоил его господь, — сдох, как пес! — прибавил Георгий.

Стало смеркаться. Элгуджа пошел к Мзаго сказать ей, что нет больше на свете их врага, что никто больше не различит их.

Мзаго сидела неподвижно, вся во власти одной тревожной мысли. Боялась она за жизнь своих друзей, так самоотверженно вступившихся за честь и свободу женщины. С радостью встала бы она рядом с ними с оружием в руках, чтоб разделить их судьбу, но черкешенке подобает быть покорной мужчине, и не смела она покинуть свое убежище, нарушить наказ Элгуджи. Горячо молилась она о спасении их, после каждого выстрела незаметно выглядывала и, убедившись, что друзья ее невредимы, со слезами возносила благодарность богу. Она просила господа: пусть все окончится хорошо, пусть ничья кровь не прольется из-за нее, пусть все будут счастливы и любят друг друга!

Еще издали увидела она идущего к ней Элгуджу и бросилась ему навстречу. Вся дрожа от волнения, она обвила руки вокруг его шеи.

— Все кончилось? Ушли, больше не будут стрелять, слава богу! — разрыдалась она.

— Мзаго, моя Мзаго! Не бойся!

— Ушли, — оставили нас в покое?

— Да, да! Но и нам тоже надо уходить, — нельзя медлить!

— Идем, сердце мое, идем!

Подшли Георгий и Мартия, все стали молча спускаться со скалы. Уверенные, что никто их не видит, осторожно пробирались они между кустарников, где могли скрываться оставшиеся сообщники Гаги. Спокойно миновали Квешетский спуск. За этим спуском, в стороне, стояла церковь Нагварави. Места были лесистые, и не один отшельник, несправедливо преследуемый в те времена бесправия, укрывался в этой глуши. Наши путники спешили добраться туда до рассвета.

Расположились на отдых. Георгий и Мартия, вскинув ружья, пошли осматривать местность. Элгуджа и Мзаго остались внутри церковной ограды. Молодой месяц выставил рогатый свой лик, озарив все вокруг нежным мерцанием.

— Сюда они не придут? — спрашивала Мзаго Элгуджу.

— Нет... Нет... Не бойся.

— А мне кажется, никогда они не оставят нас в покое.

— Тем хуже для них, получают опять то же самое, что уже получили! — успокоил ее Элгуджа.

— Ах, чего им от нас надо? — вздохнула девушка.

— А того им надо, жизнь моя, что ты красивее всех на свете! — страстно привлек ее к себе Элгуджа. — Но, клянусь всевышним, никому тебя не уступлю, пусть даже весь мир ополчится против меня!

Мзаго наклонила голову. Радость обожгла ей щеки, губы онемели от волнения. Да и о чем могли они говорить между собой.

Одним взглядом, одними глазами дано человеку в такие минуты выразить всю силу чувства, счастье всей своей жизни.

Они были счастливы. Высшая радость, которой не выскажешь словами, всецело захватила их, и они отдавались ей безотчетно. Все ниже склонялось лицо Элгуджи к пылающему лицу Мзаго. Еще мгновение — и губы их слились...

Раздался выстрел. Элгуджа бросился туда, откуда доносились ружейные залпы и крики, — туда, где были Мартия и Георгий. Нечто ужасное мгновенно пронеслось перед его мысленным взором: Георгий и Мартия мужественно прорываются сквозь кольцо окруживших их стражников, жизнью жертвуя ради дружбы, а он в эту страшную минуту предается утехам любви. Так это и было. Гаги оставил в лесу караул. Люди выследили Элгуджу и его друзей, окружили их на привале, донесли начальнику, — тот выслал против беглецов целую роту солдат, дал им приказ построже расправиться с преступниками.

Обнажив саблю, кинулся Элгуджа на помощь своим товарищам. Стражник с ружьем заступил дорогу, направив в грудь ему штык. Ловко и стремительно отвел штык Элгуджа и с силой обрушил саблю на несчастного: голова и туловище покатались в разные стороны. Элгуджа пробился к товарищам, теперь они втроем отражали врага. Но не спасло их это. Завертелся клубок короткой схватки, и когда разомкнулся он, на месте боя валялись изуродованные, изрубленные тела. Пал Элгуджа, пали и товарищи его, израненные, исколотые штыками. Элгуджа лежал навзничь с открытым ртом, кровь струилась из множества ран.

Стражники забрали Мзаго.

7

Они вели ее с опасливой настороженностью, как преступницу. Были среди них и такие, что издевались над ее бедой. Бледная, плотно сомкнув губы, шла девушка следом за победителями. Глаза ее, всегда ласково смеющиеся, как бы подернутые влагой, сразу высохли от горя, смотрели вокруг отчужденно и дико. Еще не знала она, какие жестокие испытания ждут ее впереди.

Вот достигли они того места, где сошлись в неравном бою грубая сила и справедливость, где жертвы этой схватки раскинулись в крови на земле.

Элгуджа лежал поодаль. Сабля была стиснута в его руках, словно он все еще угрожал своим врагам.

Остановившимися глазами глянула на него Мзаго, колени ее подкосились, и она вся затрепетала, как ивовый лист. Но преодолела себя, удержалась на ногах, застыла на месте.

— Шагай, шагай! — строго приказал один из конвойных. Даже не обернулась Мзаго, — тогда он грозно прикрикнул на нее:

— Ты что, не слышишь, что ли? Иди, говорят тебе! — и с такой силой толкнул ее прикладом, что она свалилась бы в овраг, не поддержи ее во-время другой конвойный.

Мзаго вздрогнула от боли, глянула на усердного царского служителя с такой ненавистью, словно жечь его хотела взглядом.

— Ты чего глаза таращишь? Ступай! — повторил тот. Грубо схватив Мзаго, он силой потащил ее за собой. Но девушка вырвалась из рук своего мучителя, с отчаянным криком скорби бросилась она к Элгудже — проститься с ним в последний раз. Тут силы ей изменили, и она упала на землю, как мертвая.

Конвойные засуетились, подбежали к девушке, подняли ее и скинули на арбу проезжего мтиульца, приказав крестьянину доставить пленницу к «господину начальнику».

Уцелевшие «молодцы» из роты, в восторге от своей «исторической победы», стали с песнями спускаться по Квешети, оставив на месте боя несколько мтиульцев и приказав им похоронить убитых конвойных; «бунтовщиков» же велено было оставить без погребения, для устрашения прохожих, чтобы знали жители гор, какая страшная кара ждет их заслушание.

Все разошлись, и все стихло вокруг. Из леса вышел старец, вооруженные юноши окружали его. Сперва подошел он к Мартия.

— Скончался! Убили его, собаки! — проговорил он со скорбью и гневом.

— Других осмотри, Бердия, других! Если умерли, надо предать их земле, как православных. Нельзя оставлять людей на съедение зверям!

Бердия наклонился над Георгием. Быстро поднялся, безнадежно махнул рукой. Вот подошел он к Элгудже, долго осматривал его раны, глядел на него.

— Бедный парень!.. Не успели злодеи добить его!.. Впрок ему, видно, пошло материнское молоко!

— Он жив? Жив? — с волнением спрашивали мтиульцы, окружив старика. Благоговейно глядели они на Элгуджу, преклонив колена перед обнаженными его ранами, знаками мужества и бесстрашия.

— Дышит еще, — посмотрим, что дальше будет!

— Вылечишь ты его, Бердия? Ты все можешь!

— Богу одному известно, что будет! — сурово ответил старик, продолжая осматривать раны героя.

— Не смертельные раны, — сказал он. — Принесите мне воды в матарах, я попытаюсь.

Бердия обмыл раны, спицей измерил их глубину. Он вынул из сумки волокнистую пеньковую веревку, окунул ее в соленое масло, заложил тампоны в раны, присыпал их каким-то порошком, перевязал. Острием кинжала он разомкнул зубы раненому и влил ему в рот несколько капель какого-то зелья. Окончив перевязку, не спеша, помыл руки.

— Давайте бурку, уложите его осторожно и отнесите в Кимбарант-Кари, прямо к Ниниа, — он человек надежный, оставит его у себя!

— Сейчас все сделаем! — воскликнул один из юношей и,

сорвав с плеча небрежно накиннутую белую бурку, расстелил ее рядом с раненым. Товарищи уложили Элгуджу на бурку, осторожно подняли и понесли. Остальным Бердия велел вырыть могилы для Мартия и Георгия.

Когда убитых опустили в могилы, Бердия, как старейший, сказал им последнее слово. Он хвалил их, благословляя за благородство и бесстрашие.

— Предки наши встретят вас радостно, как достойных потомков, — говорил он. — Сама Тамар-Солнцеокая проводит вас к господу и поставит вам скамью рядом с ним. Жаль только, что погибли вы рано, что не придется вам больше разить наших врагов. Кровь омывается кровью, а мужчину очищает отвага. Мир вам, сыны мои, а зрение и слух да пребудут у тех, кто остался в живых!

И он трижды склонился и три щепотки земли бросил в могилу. Мтиульцы окружили могилу, молча и быстро забросали ее землей. В суровом раздумьи разошлись они по своим горам, готовые, если придется, также отважно погибнуть в борьбе за правду и свободу.

Мзаго доставили в Квешети, где постоянно пребывали и сам начальник и другие командиры войска. Черкешенку даже и в Хеви редко встретишь — как же, увидев ее, переполошились люди, вовсе чужие в этих местах!

Все, и стар, и млад, спешили посмотреть на Мзаго, — на ту самую, которую похитили и ради которой погибло столько людей!..

Отчаяньем и страхом было переполнено сердце Мзаго. Перед ее мысленным взором неизменно был дорогой Элгуджа, смертельно раненный, истерзанный, валяющийся со своими товарищами на поле брани, быть может, еще живой, но всеми брошенный под палящим солнцем. Она же не только не в силах помочь им, — ей даже нельзя остаться одной, чтобы оплакать их, безраздельно отдаться своему горю.

Всем хотелось взглянуть на нее. Беспредемонно окружали ее и старались заглянуть ей в глаза.

— Какая она красивая, однако! Чорт бы ее побрал! — воскликнул один из офицеров.

— Да, красива, слов нет! — подтвердил другой. — Вот такую бы в Россию забрать, да на сани, да в Стрельну!

— Ты посмотри, губы-то сушие кораллы. А глаза? Ох, какие глаза!

— Не женщина, — огонь!

Так обсуждали они ее достоинства, как-будто перед ними не девушка стояла, а черкесская лошадь. Прибыл сам начальник. Весь раздутый от чванства, заложив руки за спину, гордо прохаживался он взад и вперед мимо девушки — красовался перед своими подчиненными. Он даже подошел к пленнице, взял ее пальцами за подбородок, повернул к себе ее лицо. Потом самодовольно кивнул головой, приказал запереть ее в арестантскую и стеречь. Удаляясь к себе, он, как бы мимоходом, пригласил господ офицеров отобедать, отпраздновать нынешнюю удачу.

За обедом вино лилось рекой. Гости жадно осушали чаши, словно боясь, как бы не осталась невыпитой хоть капля вина. Быстро перепились они и свалились тут же по углам. Один лишь хозяин остерегался вина, один лишь он был только слегка опьянен. Для того как раз и устроил он этот пир, чтобы всех устранить, чтобы никто не помешал ему осуществить его желание. А желал он — во что бы то ни стало и тотчас же — обладать Мзаго. Развращенное воображение еще больше распаяло его похоть. Наконец, оставшись один, приказал он служителю привести к нему девушку будто бы для того, чтобы снять с нее допрос. Сурово нахмурясь, начальник ввел ее в свою комнату и... прикрыв за собой дверь, из строгого начальника вдруг превратился в развязного кавалера.

— Счастье твое, моя хорошая, что ты приглянулась мне! — сказал он девушке, обнимая ее за талию.

Мзаго сперва не поняла, о чем он так ласково говорит с ней. Но вдруг догадавшись, чего от нее требуют, стремительно отпрянула и схватила лежавший на столе кинжал.

— Отойди, если жизнь тебе дорога! — воскликнула она и застыла у стены, грозная, готовая защищаться до последней капли крови.

Начальник, считая Мзаго распутницей, сбежавшей с какими-то мохевцами, уверен был, что его расположение будет принято ею за великую милость. Как же удивился он, встретив такой отпор! Сперва он даже растерялся. Вдруг счастливая мысль осенила его: «Все женщины прикидываются недотрогами, и эта — такая же, как все другие». Он улыбнулся.

— Гнев красит тебя, моя милая! — сказал он, — прямо хоть картину с тебя пиши! Но довольно шуток! — и он снова потянулся к ней. Мзаго вскрикнула и замахнулась кинжалом так яростно, что начальник счел более благоразумным отскочить от нее. На его месте всякий честный человек, пусть даже обезумевший от любви, оставил бы в покое девушку, так отважно за-

защищающую свою честь. Но простая человечность ничего не значила для столь «достойного» лица! Самолюбие начальника было задето, и он упорно продолжал приставать к девушке, не считаясь ни со слезами ее, ни с мольбами. Наконец, решил он прибегнуть к притворству и завладеть ею обманом.

— Это хорошо, что при своих провинностях ты еще не развращена, моя дорогая! Ну, что ж! За то тебя накажут, как изменницу. Ты изменила государю-императору, вы все четверо убили офицера... Остальных мы перебили, как псов, а ты будешь казнена. — И он знаками показал ей, что ее повесят.

— Если нет моего Элгуджи, пусть умру и я!

— Сперва тебя будут бить, мучить, пытаться...

— Гяуры только и умеют мучить!.. Нет у вас мужества стать лицом к лицу с врагом! Вы храбры только тогда, когда вас десять против одного. Другие пусть боятся вас, а я не боюсь!

Начальник тем временем приближался к ней. Еще шаг и, стремительно подскочив, он схватил ее за кисть руки, в которой она держала кинжал.

— А-а! — радостно воскликнул он, — теперь уж ты не уйдешь от меня!

Женщина вскрикнула от боли и гнева, попыталась вырвать руку, но цепкие пальцы впились, как тиски, в ее нежную кожу.

— Напрасно силы теряешь, черкешенка моя, — все равно от меня не уйдешь!

Женщина билась, кричала, призывала на помощь и людей и бога, но и бог и люди отступились от нее в беде, и она изнемогала, обессилев. Руки ее онемели, пальцы медленно разжались, кинжал с жалобным звоном упал на пол. Тогда стала она умолять своего палача, заклинала его всем, что могло быть ему дорого, но начальник был глух к ее мольбам.

Все сильнее обнимал он ее упругое тело. Еще свирепей, еще ожесточенней стала борьба. Девушка защищала свою честь с нечеловеческой силой, но озверевший негодяй был беспощаден. После долгой, неравной борьбы, повлек он к тахте обессиленную, полумертвую Мзаго.

8

Некоторые из конвойных, отводившие Мзаго обратно в заключение, не преминули поиздеваться над ее горем. Нагло усмехаясь, подшучивали они над ее позором, вливали яд в ее и без того отравленную душу.

— Ну, что, девка, снял начальник с тебя дознание? — спрашивал ее один из них.

— Хорошо допрашивал, а? — приставал другой.

Мзаго понимала смысл их шуток и сторала от стыда: не знала, куда ей спрятать глаза. Одно у нее было желание: чтобы земля разверзлась под ней и поглотила ее. Но и смерть страшила ее теперь не меньше, чем жизнь: она верила, что на том свете встретится с Элгуджей и тогда... какими глазами она посмотрит на него? Она неповинна ни в чем, но... почему не заколола она своего истязателя, — ведь кинжал был у нее в руках. Да, она навеки потеряла Элгуджу!

Дошли, наконец, до места заключения.

— Вот, сударушка, извольте здесь поживать, пока вас не вызовет начальник на новый допрос! — насмешливо ухмыляясь, сказал ей караульный.

Хохоток пробежал среди конвойных.

— Клянусь именем Ломиси, — воскликнул один из стоявших поодаль мтиульцев, — ничего похожего не приводилось мне слышать прежде! Габриэль, ты когда-нибудь видел, чтобы так издевались над обесчещенной, несчастной женщиной?

— И не видал, и не слышал! У нас, милый мой, стоит только женщине кинуть свою косынку между двумя кровными врагами, обнажившими кинжалы друг на друга, и они сейчас же разойдутся из уважения к ней. А у этих... — и он отошел, махнув рукой.

— Да и женщин у нас похищали частенько, и даже против их воли, но тот, кто похищал женщину, всегда хотел жениться на ней, а такой мерзости у нас никогда не бывало! Такого человека, клянусь Солнцеликой, преследовали бы у нас и враги, и друзья.

— А эти только смеются! — удивлялись мтиульцы.

К ним подошел есаул.

— Вы что тут собрались? — прикрикнул он на них. — Ступайте повинность свою выполнять!

— А мы только-что доставили дрова, чего же еще вам надо?

— Не разговаривать! Не то сейчас казаки под'едут, нагайками расправятся с вами!

— А за что же с нами расправляться?

— А за то, что... государю надо служить! — важно провозгласил есаул, как-будто и в самом деле служение государю сводится к одной несправедливости и жестокости.

Появились казаки, разогнали мтиульцев. Они пошли прятать волов в арбы.

— Истинные басурмане они, клянусь Ломиси! У волов вот-вот копыта сотрутся, а им все мало!

«Погрузились мы в заботы, словно буйволы в болото», — вместо ответа затянул про себя печальную аробную песню один из мтиульцев, подвязывая яремный ремень на воловьей шее. И он хлестнул вола плетью, словно вымещая на нем все свои обиды...

Тем временем начальник изволил выйти на балкон и расположиться пить чай. Тупое самодовольство было начертано у него на лице. Несколько мтиульцев стояло во дворе, дожидаясь выхода «господина», — так называли тогда начальника, — чтобы принести жалобу его милости. Начальник давно их заметил. Но чтобы придать себе важности в их глазах, он заставлял их дожидаться. Наконец, удостоил он их своим вниманием.

— Вы кто такие? — спросил он.

— Мы из Бедуант-Кари, ваша милость, — ответили мтиульцы, все разом снимая шапки.

— О чем вы просите?

— К нам казаков поставили. Они опустошили у нас все, не оставили ни масла, ни сыра, ни кур, ни яиц.

— Так вы смеете жаловаться на казаков?! Эй, стражники! — окликнул он грозно.

Казаки-стражники высыпали во двор.

— Плетью их гнать, плетью! — крикнул он.

С усердием принялись стражники выполнять приказ, и вскоре во дворе не осталось ни одного из тех, кто пришел искать правды и справедливости у власти.

Самодовольно ухмыляясь, глядел начальник с балкона на эту расправу. Но недолго пришлось ему радоваться! Во двор въехал офицер, окруженный казаками. Торопливо соскочил он с коня, подошел к начальнику, вручил ему пакет. Тот вскрыл пакет, начал читать приказ. Вдруг лицо его вытянулось. В приказе говорилось, что правителем горских племен отныне назначается Симон Чопикашвили, а прежнему начальнику предписывается сдать ему дела и выехать в город.

Вскоре на Квешетском спуске показались всадники. Спокойно подехали они прямо к дому начальника, не спеша сошли с коней, поднялись по ступенькам лестницы и холодно приветствовали хозяина. Это и был Симон Чопикашвили, дальний сородич Гаги, приехавший со своими сопровождающими.

Прежде, чем продолжать свой рассказ, надлежит мне познакомить вас с Симоном Чопикашвили.

Еще до вступления Грузии под покровительство царской России Симон Чопикашвили был одним из приближенных грузинского царя. Ведал он горскими племенами и укреплениями ворот Кавказа, — так назывался Дарьял.

Сперва был он против вступления под покровительство России, но на последнем совете, созванном при царском дворе в Тбилиси, узнал об окончательном решении и, считая сопротивление воле царя смертельным грехом, подчинился и склонил голову.

После совета вернулся он в свои горы и принял на себя заботу о вступающих в край русских войсках.

Усердно нес он свою службу, стараясь, чтобы надежды последнего царя Грузии Георгия сбылись, чтобы решение его пошло на пользу родной земле. Пришельцы скоро заметили Симона. Они знали, как много значит его имя в горах, и стали сами поручать ему заботу о своих войсках. Сразу же и отличили они этого полезного для них человека: одели его в сверкающий эполетами мундир майора.

Гаги воспылал завистью к такому успеху Симона. Любою ценой ниспровергнуть Симона, самому занять его место, — вот в чем отныне была цель его жизни! И Гаги вошел в доверие к противнику русских царевичу Александру, убедил его, что приход чужеземцев — дело рук Симона, что, если бы не его вмешательство и поддержка, пришельцев можно было бы очень легко изгнать из страны. Но мятежный грузинский царевич давно уже знал Симона и не хотел с ним ссориться. Он собрал своих сторонников в Хевсуретии и послал людей к Симону, прося у него поддержки для изгнания русских войск из Хевсуретии. Он требовал, чтобы были заперты все пути к возвращению их. В награду царевич обещал Симону всяческие почести и милость свою на вечные времена, буде же он не подчинится, — разорение и гибель имуществу его и всей его семье!

— Было время, когда и я говорил: зачем нам чужие? Но царь наш приказал их впустить, могу ли я ослушаться приказа царя? — сказал Симон послам, низко опустив голову.

— Что же ты хочешь делать теперь?

— Теперь уже поздно!

— Какой же ответ ты даешь царевичу? Не будешь ли держивать его?

— Нет!

— Он уничтожит пожаром твой дом, истребит твою семью.

— Не на мне вина!.. Если было неугодно допускать к нам чужеземцев, надо было об этом думать раньше. А теперь, когда все укрепления у них в руках, уже поздно.

— Ты пойми, — ведь царь наш просил у них покровительства и...

— И я также думаю!.. А теперь... Что я могу сделать? Царь наш так захотел!.. — печально сказал Симон, и все почувствовали, что действует он против своей воли.

Посланные слушали Симона с удивлением. Знали они, что он — горец, которому свобода дороже жизни. А, между тем, он добровольно отдает свой народ и свою страну в подчинение чужой власти! И отдает только из-за уверенности своей, что это необходимо для существования Грузии.

— Какой ответ передать от тебя царевичу?

— Царевичу? Скажите, что я молю его не противиться воле нашего царя и не дробить силы Грузии... Если мы будем едины, русское самодержавие не сможет нас поработить, но если мы раздробимся, тогда конец нам!.. Мы устанем в борьбе друг с другом, ослабим друг друга, и русское самодержавие легко добьется своего. Пусть поедет он к нашему царю, решения его сердца мудры, — все должны повиноваться ему!

— Берегись, Симон! Царевича может разгневать такой ответ, и тогда ничто не спасет тебя!

— Пусть... Не могу я итти против решения моего царя! А если сам царь прикажет мне, тогда я готов хоть один пойти против этих пришельцев!

Так проводил он послов. Они же всячески постарались изказать его ответ и передали царевичу, что Симон изменник, что продал он свою родину и самого царя, что променял свободу народную на яркий мундир.

Царевич отправил свое войско против Симона, чтобы примерно наказать его. Войско повел Гаги. Но об этом во-время сообщили Симону, и он укрылся с семьей в Черкесском краю, на родине своей жены. Все имущество его было разграблено, а дом сожжен. Он возвратился домой как раз в те дни, когда Элгуджа похитил девушку у Гаги, а потом в борьбе с ним погиб и сам Гаги. Симона назначили начальником-правителем горских племен, и Георгий, царь Грузии, и русское правительство оказали ему

большой почет. Хотя Гаги был в очень дальнем родстве с Симоном, но прямых наследников не имел, и потому все владения его, а также и пленница Мзаго, перешли в собственность Симона.

Симон вступил в новую должность. Вскоре он завоевал уважение горских племен, приобрел огромную власть. Все смотрели на него с почтительной завистью.

Познакомившись с Симоном Чопикашвили, мы можем вернуться к героям нашего рассказа.

Мзаго втолкнули в тюрьму. Только теперь, наконец, после всех ужасных событий могла она свободно отдаться своему горю. Страхнув с себя оцепенение, она дала волю слезам. Она плакала горько, навзрыд. Видения прежних лет возникали перед ней, одно пленительнее другого, невозвратимые, навсегда ушедшие, и снова и снова горячие слезы лились по ее щекам.

Обычно слезы облегчают бремя горя, притупляют боль. Слезы успокаивают человека, но они и изнуряют его. И когда Мзаго наплакалась, когда притупились уставшие ее мысли, она свернулась комочком в углу и заснула.

Долго никто не вспоминал о ней. Все были заняты новым правителем.

Как-то вечером, часу в девятом, за нею пришли и сказали, что ее требует к себе начальник. Она ничего не знала о происшедших переменах, о том, что ненавистного «начальника» больше нет, и ужас сковал ее.

— Нет, не пойду! — вскрикнула она, вся дрожа от гнева.

— Идем, не то силой возьмем, хуже для тебя будет!

— Бесчеловечные гяуры!.. Вы только на то и способны, чтобы насиловать женщин! Женские косынки бы вам носить, проклятье вам, проклятье!.. — кричала она.

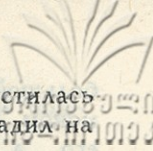
— Идем, идем!.. — строго повторили конвойные.

И вдруг Мзаго замерла на месте, улыбка пробежала по ее лицу, глаза загорелись недобрым огнем.

— Так вы хотите, чтобы я пошла с вами? — Хорошо, хорошо! Я сейчас, сейчас!.. — дрожащим голосом повторяла она. Поспешно собралась и последовала за охраной.

Она приняла отчаянное решение: отомстить своему палачу. Смело шагнула она в кабинет начальника. И... широко раскрыла глаза, чуть не упала от неожиданности.

— С тобой случилось несчастье, девушка? — ласково заговорил с ней на черкесском языке Симон. — Я очень огорчен этой бесчеловечностью. Они гадко поступили с тобой!



— Господи! — прошептала Мзаго и бессильно опустилась на пол. Симон подошел к ней, поднял ее и бережно усадил на тахту.

— Я хочу сделать тебе добро взамен зла, которое тебе причинили, — продолжал он, когда Мзаго пришла в себя. — Проси о чем хочешь!

— Спаси, спаси меня из рук гяуров! — с тоской и надеждой воскликнула Мзаго.

— Не бойся, теперь никто больше не обидит тебя!

Впервые после стольких страшных унижений услышала она слова утешения и сочувствия, произнесенные к тому же на родном черкесском языке, и сердце ее смягчилось, мысли прояснились. Она почувствовала доверие к говорящему и потому первым же словом, сорвавшимся с ее губ, было имя того, кто всецело владел всеми ее помыслами и чувствами.

— Элгуджа! Элгуджу убили они! — воскликнула она. — Убили и бросили, оставили на поле брани, не дали даже похоронить его!

— Наши горцы не оставили бы покойника непогребенным!.. — нахмурился Симон.

— А, может быть, он был еще жив?.. — Ужас искажил ее лицо. — Может, похоронили живым?!

— Наш народ умеет разбираться в этом. Если б он остался жив, уж, наверно, его не похоронили бы.

— А если он жив, что могли сделать с ним? — с замиранием сердца спросила Мзаго, и глаза ее загорелись надеждой.

— Наши люди беспощадны к врагу, пока он силен. Но если он беззащитен и попал в беду, борьбу с таким врагом наши считают позором. А у Элгуджи и врагов-то не было в этих краях. Если он жив, то и хозяин для него найдется, который приютит и укроет его у себя.

— А ведь правда, правда! — воскликнула Мзаго. — Элгуджа жив, я сама видела... Он еще дышал тогда... Его, наверно, кто-нибудь подобрал. Да, да, он был жив, даже шевелился... — вся дрожа, говорила Мзаго и ее разгоряченному воображению на самом деле представлялось, что она видела, как двинулся, слышала, как вздохнул Элгуджа.

— Ты говоришь на нашем языке, ты, верно, знаешь, как умеют любить наши женщины... Пожалей меня, помоги найти Элгуджу, узнай, где он, и отпусти меня к нему. Я сумею выводить его!

— Элгуджа убил моего сородича, Мзаго, за ним кровь моя! — тихо и раздельно произнес Симон.

— Яллах! — с горечью вскрикнула Мзаго. — Гаги твой родственник?

— Да, он — родственник мой, но ты не бойся. Если б я встретил Элгуджу здоровым, я бы убил его. Ну, а теперь — дело другое!..

— Как же ты поступишь с ним, если он спасся от смерти? — с дрожью в голосе спросила Мзаго.

— Если он здоров, я убью его, а с получеловека не стоит брать кровь. Это не пристало мужчине!

— За что, за что ты хочешь убить его?

— За кровь сородича!

— Но ведь его самого хотели убить!

— И все же, — таков наш обычай!

— Пощади, умоляю, во имя детей своих, жены любимой!

— Не могу.

— Боже, лиши его руки или ноги, только спаси от смерти! — молилась Мзаго, проливая горькие слезы.

Сердце Симона смягчилось.

— Недобрый человек был Гаги и не по доброму ушли дни его! — тихо проговорил он. — За кровь его даже и не стоило бы мстить, но наш обычай в горах требует этого. Если бы умер Элгуджа, я должен был бы убить кого-нибудь из его рода. Но теперь я даю тебе слово, что постараюсь не проливать больше крови. Я соберу общину в судилище святой троицы и сам подчинюсь решению общины.

Так иногда разрешались в горах дела кровной мести, но стоило это немало труда, — нелегко было созвать людей. Симон, воспитанный в обычаях гор, решил все же собрать сход: его доброе сердце откликнулось на просьбу женщины. К тому же смерть Гаги считал он справедливой карой господней и на Элгуджу смотрел, как на орудие этой кары.

В деревне Кимбарант-Кари на балконе дома Ниниа лежал больной юноша. Голова его была перевязана, лицо мертвенно бледно. Он бредил.

— Мзаго! Мзаго! — закричал вдруг больной отчаянным голосом, приподымаясь на постели.

Старая горянка, сидевшая у его изголовья и веткой орешника заботливо отгонявшая от него мух, встала и уложила его обратно. Больной подчинился, покорно опустил на свое ложе и затык. С глубокой тоской глядела на него старая женщина. Глаза ее заблестели, крупная жемчужина повисла на реснице, дрогнула, засверкала, за нею другая, третья, и слезы ручьем полились из ее глаз.

Она думала о сыне своем, совсем недавно так жестоко и несправедливо убитом вражеской пулей. Даже глаз ему закрыть не смогла мать.

Затихший Элгуджа, — это был он, — долго лежал неподвижно. Потом тихо приоткрыл веки.

— Где я, что со мной? — произнес он слабым голосом, пристально вглядываясь в ухаживающую за ним старуху.

— У Ниниа ты лежишь, горемычный, у Ниниа! — ответила она.

— Почему я здесь, кто такой Ниниа? — удивился больной.

— Тише, тише! Лекарь запретил тебе разговаривать!

— Я болен? Оттого я так и ослабел, должно быть... Что у меня с этой рукой? Я не могу пошевелить ею!

— Ничего, ничего! Отлежал, верно, затекла она.

— Затекла? — тихо повторил Элгуджа и задумался.

Вдруг лицо его изменилось, он вздрогнул. Сразу вспомнил все.

— Что они сделали с нею? Где она? Мзаго, Мзаго! — дико закричал больной, изо всех сил рванулся с постели.

Старуха испугалась, что не справится с ним, выбежала во двор позвать на помощь. Она наткнулась как раз на того мтиульца, который расстелил тогда свою белую бурку, чтобы уложить на нее Элгуджу.

— А ну-ка, Матиа, помоги мне! — окликнула его старуха.

Матиа кинулся к дому. Элгуджа, обессиленный своим порывом, снова лежал на тахте, и кровь густо сочилась из его раны на руке. Матиа заново перевязал руку. Кровотечение прекратилось, боль утихла. Но бессильная злоба охватила Элгуджу, слезы обожгли ему глаза.

— Будет, перестань! — сказал ему Матиа, нахмурившись, — женщина проливает слезы, а мужчина должен мстить за кровь! — прибавил он, помолчав.

— Да, ты прав, — женщина проливает слезы, а мужчина мстит за кровь! — повторил Элгуджа, вытирая слезы, и никогда с той поры не увлажнялись его глаза.

Они помолчали. Наконец, Элгуджа не выдержал, спросил о судьбе своей возлюбленной Мзаго. Матиа поведал ему обо всем, сообщил, что товарищи его, Георгий и Мартия, умерли геройской смертью в борьбе с врагами. Рассказал он и о Мзаго, утаив некоторые горькие подробности ее судьбы, чтобы не расстроить больного.

— Теперь она у Симона, там за нею смотрят, как за собственной дочерью. Поправляйся скорей, и мы опять ее похитим! — так закончил Матиа свой рассказ.

Радостная улыбка осветила лицо Элгуджи, но тотчас же грусть снова заволокла его.

— Стоит ли мне поправляться? Получеловеком стал, — ни ног, ни рук здоровых у меня нет.

— Ты не печалься, Элгуджа! Бердия обещает, что вылечит тебя, сделает тебя новым человеком! — успокоил его Матиа.

— Убили Георгия, убили Мартия, зачем же мне жить? — скорбно продолжал Элгуджа.

— Затем, чтобы мстить за них.

— Ты прав, Матиа, прав! Для того, верно, бог и оставил мне жизнь, чтобы отомстил я за их кровь, и святым Георгием клянусь тебе: если останусь жив, — отомщу!

— Вот это хорошо! — восторженно воскликнул Матиа. — Ты всегда был истинным мужчиной, и слово твое так же мужественно, как и прежде!

— Сильны они, Матиа, очень сильны!.. Что может поделаться один против тысячи? — задумчиво сказал Элгуджа.

— У каждого хватит силы на одного, — клянусь благодатью Ломиси!.. На одного и одной пули довольно, ну, так и будем целиться в каждого по очереди, а в горах не перевелись еще храбрецы, найдем себе побратимов!

— Храбрецы-то есть, а вот надежных мало, — не разберешь, кто друг и кто враг!.. Но делать нечего! Пусть даже весь мир пойдет против меня, — и тогда не прощу я никому крови брата моего!

— Благодатью Ломиси клянусь, — пойду и я вместе с тобой!.. Святыня Нагвареви порукой тому, что я до конца жизни моей буду биться рядом с тобой!

— Мтиульцы — народ отважный, вы не предадите друга, не снесете несправедливости!.. Но вот двое уже погибли из-за

меня, двое укоротили дни своей жизни, — не хочу навлекать беду и на тебя!

— Какая беда — хуже этой жизни? — страстно воскликнул Матиа. — Не в силах мы защитить честь своих сестер и жен! Лучше погибнуть однажды, чем жить в унижении.

— Погибнуть? Ну, что ж... — сурово промолвил Элгуджа.

Несколько мтиульцев зашло, по обычаю, проведать больного. Почтительно расспрашивали они о его здоровье, и видно было, какое уважение питают они к нему, едва не павшему жертвой в отважной борьбе против несправедливости. Раны, которые получил он в этой борьбе, — живые свидетели его львиной отваги, и этого достаточно для мтиульцев, чтобы неведомый им раньше юноша заслужил их уважение и любовь. Иначе и не могло быть в краю, где лучшим из мужчин считается тот, на котором «больше ран», и где достойная девушка не пойдет замуж за юношу без доблестных шрамов на лице.

Речь зашла все о тех же несправедливостях, которые терпит народ. Каждый мог бы рассказать немало о виденном и слышанном им. Люди готовы были объединить свой гнев, свое возмущение и совместно бороться против притеснителей народа. У народа была надежда на Симона Чопикашвили. Но что мог поделаться он один против всех этих искателей счастья, отрекшихся от чести и совести, бежавших в Грузию от законной кары у себя дома и здесь захвативших в свои руки бразды правления, укрепившихся настолько, что само правительство бессильно было с ними бороться.

А в ту пору еще прошел слух, будто царь Грузии Георгий отправил послов в Россию, что послы эти совсем ненадежны и уж наверняка погубят свой народ и свою страну. Эти слухи особенно волновали народ, который привык решать всем миром свои дела, теперь же все вокруг совершалось таинственно и непонятно.


Почуял Элгуджа, что крепнет дума народная, что объединяются родные недовольные сердца, что возмущение, разрастаясь, сливается в один общий гул, и недалек час, когда грянет гром.

— Когда же наступит этот день, когда? — воскликнул Элгуджа, когда остался вдвоем с Матиа.

— Какой день? — спросил его Матиа.

— Когда все единодушно возьмутся за оружие?

— Далеко еще до той поры!



Вошел Ниниа. Друзья прервали беседу. Спокойно уселся Ниниа, не спеша извлек трубку из кармана, старательно похлопал ею о ладонь другой руки, вытряс пепел, потом достал кiset, растер табак, набил трубку. Все также неспешно высек он искру кресалом. Зажег трубку, выпустил несколько клубов дыма и тяжело вздохнул. Видно было по всему, что тревожила его какая-то недобрая весть.

— Элгуджа, придется отправить тебя к тушинцам! — как бы вскользь сказал он.

Элгуджа удивленно вскинул глаза.

— Правда, ты еще слаб, но делать нечего, — иначе нельзя... Прежний начальник донес на тебя в городе. Оттуда прислали людей с наказом живым или мертвым доставить тебя туда.

— Ай, Ниниа, ай!.. И ты из-за этого хочешь больного гостя отправить к тушинам! — воскликнул Матиа. — Не можем сохранить у себя единственного гостя? Зачем тогда нам жизнь? Лучше умереть, чем сносить такой позор!

— Эх, эх! — горько усмехнулся Ниниа. — Были бы наши, я бы еще показал им, как владею мечом, но что могу я сделать с целым войском?.. И гостя не сумеем отстоять, и себя загубим понапрасну.

— Эти неверные заставляют нас отречься даже от нашего обычая гостеприимства. Нет, Ниниа, не годится так! Посылать своего гостя к другим...

— Помолчи ты, парень, молод еще, кровь в тебе бурлит!

— Я твой гость, Ниниа, ты лучше знаешь, как поступить, — сказал Элгуджа. — Я подчинюсь твоему решению, ты — старший.

Матиа с юношеской пылкостью все не унимался.

— Я здесь старший и знаю, что так надо! — оборвал его Ниниа.

У Матиа провалился язык. Приказ старшего, воля старшего были для него законом, как для всякого горца; они выполняются беспрекословно.

— Нынче же подбери нескольких человек, ловких парней, — продолжал Ниниа. — Пойдете в сторону Харанаули. Итти надо так, чтоб затемно спуститься в Гудамакарское ущелье, а дальше не опасно.

Матиа кинулся выполнять распоряжение Ниниа. Уговорившись с мтиулетскими юношами, он сплел носилки из прутьев, заботливо устлал их сеном, поверх покрыл буркой.

Когда все было готово, Матиа вошел к Элгудже. Попросил
оставить их одних.

— Все мы под богом ходим... — сказал он Элгудже. — Кто знает, что ждет нас впереди, кому из нас суждено остаться в живых? На всякий случай,—может быть тебе хочется сказать мне что-нибудь?

— Матиа, — отозвался Элгуджа, — ты мне дороже родного брата...

— Пусть у того, кто предаст тебя, переломится сабля, занесенная над врагом! — оборвал его Матиа.

— Не знаю, поправлюсь ли я, но трудно мне уходить отсюда. Не пристало мужчине быть слабым, и никогда бы я не доверился другому. Но от тебя не стоит скрывать: люблю я ее, сильно люблю.

— Вот и хорошо, друг! Разве сердце спрашивает об этом у кого-нибудь?

— Пока был здесь, казалось мне, что она рядом с нами, я был спокоен. А теперь... — Он махнул рукой и вздохнул.

— А что теперь?

— Словно отрывается что-то от сердца. Даже слух о ней не дойдет до меня!

— Свидетель бог, что буду следить за нею, как брат... Ты не горюй... Наши часто бывают в Тушетии, и ты будешь часто слышать о ней.

— Вот, вот, Матиа, — иначе пропал я! — воскликнул больной.

— Братом своим назвал я тебя, и если изменю твоей любви, — грудь матери моей отсеку собственной рукой...

— Дорогой ты мой, дорогой брат! Теперь я хоть на край света пойду, не стану горевать... И она не будет грустить, пока ты жив!

— Еще что-нибудь есть у тебя на душе?

— Еще?... — Элгуджа смущенно отвел глаза, не решаясь высказать свою просьбу.

— Почему ты таишься от меня? Разве я не брат тебе?... Не доверяешь?

— Нет, что ты! Кому же мне еще довериться, как не тебе!

— Тогда говори.

— Да что там скрывать!.. Мзаго женщина, ее легко обмануть. Ты не ходи со мной, меня и так доставят на место ваши парни. А ты лучше в Квешети сходи!

— А дальше что?

— Повидай ее, скажи, что жив я и люблю ее попрежнему. Если буду жить, — не оставляю ее... Но... Но если она изменила мне, опозорила меня на весь мир, шапку мужскую сорвала с моей головы, тогда... тогда пусть бежит от меня без оглядки... ничто ее не спасет!

— Хорошо, хорошо! Пойду, повидаю ее, чего бы мне это ни стоило, расскажу обо всем!

— Так я и знал, — ты выручишь меня! — воскликнул Элгуджа, и в глазах его сверкнула радость.

Мзаго снова услышит о нем, произнесет его имя своими устами, — разве может быть большее счастье для влюбленного? Перед мысленным взором Элгуджи встало прекрасное лицо Мзаго, ее подернутые влажным блеском глаза, тонкий стан, и так глубоко завлекла его мечта, что лишь приход мтиулетских юношей вывел его из забвения.

Осторожно уложили раненого на носилки, и четыре богатыря легко подняли его. По бокам шли вооруженные мтиульцы, а впереди шагал Матиа.

Так шли они до развилины дороги, откуда Матиа должен был свернуть на Квешети. Путники остановились передохнуть. Они поклялись быть верными друг другу до конца. Матиа стал спускаться в Квешети, остальные продолжали путь в Тушеттию.

12

Когда Мзаго поселилась в доме у Симона, она надеялась, что обретет там спокойствие и сможет всецело предаться нескончаемым мыслям своим об Элгудже. Она обманулась. Сам Симон и жена его обращались с ней ласково и заботливо, но челядь, знавшая об ее горькой участи, посмеивалась над нею. К тому же у каждой из прислуживающих девушек была своя любовь, был свой избранник, а юноши эти постоянно засматривались на Мзаго, — достаточный повод, чтобы вызвать неприязнь подруг. Все это утомляло Мзаго, мешало ей остаться наедине со своим горем. Об Элгудже доходили лишь смутные слухи. Не знала она в точности, где он, не знала, кто смотрит за ним, раненым и беспомощным. Иной раз ей чудилось, что зовет он ее, произносит ее имя, как утешение, и грусть заливала сердце. А то вдруг представится ей, что ему сказали об ее позоре, что он презрел и проклял даже самое имя ее, и мысль эта вонзалась ей в сердце, как стрела. И некому было довериться, не с кем поделиться горем, а ведь говорят, что разделенное горе — полгоря. Все эти

печальные думы плавались внутри ее сердца, жгли ее неугасимым огнем, неизгладимо запечатлевались в душе.

Однажды поздним вечером, когда месяц нежно убегал холмы, и природа усыпляла усталые сердца людские своим волшебством, Мзаго стояла в задумчивости, прислонившись к стволу ясеневое дерева. Вдруг где-то вблизи зашуршал кустарник, словно от налетевшего ветерка, и снова все стихло. Девушка вздрогнула и насторожилась. Ветки раздвинулись и неизвестный человек встал перед ней во весь рост.

— Ты — моя сестра, а я — брат твой! — воскликнул он, стоя неподвижно.

— Кто ты, чего тебе надо от меня? — испуганно спросила Мзаго. — Уходи или я крикну, позову на помощь!

— Успокойся, Мзаго! Я пришел к тебе с хорошей вестью. От Элгуджи тебе принес привет.

— От Элгуджи?!.. — недоверчиво переспросила она.

— Да, от побратима моего, от Элгуджи!..

— Значит он жив? Элгуджа жив?! — все еще не смея поверить, с тоской повторяла Мзаго.

— Клянусь благодатью Ломиси, жив он и думает только о тебе.

— Значит не забыл он меня? Значит любит? Говори мне все, что знаешь о нем! — нетерпеливо спрашивала Мзаго.

— Элгуджа — настоящий мужчина, однажды полюбив, он не забудет до самой смерти. Теперь мы отвезли его в Тушеттию. Когда совсем поправится, мы спустимся сюда и увезем тебя. Элгуджа просил передать тебе, что он тебя не оставит... если и ты будешь помнить о нем.

— Увези, увези меня сейчас же, умоляю тебя. Он болен, и я нужна ему! — взмолилась Мзаго.

— Нет, нет! Теперь нельзя тебе там быть. Не выдержит этого Элгуджа, погибнет!

— Как же мне оставаться вдали от него? Ведь я столько времени ничего о нем не слышала... Не могу я жить без него!

— Успокойся! Даю тебе слово: буду часто навещать тебя, приносить вести о нем.

— Да, да, прошу тебя!

И они условились встречаться на этом самом месте каждую субботу. С тем и расстались. Радовался Матиа тому, что честно выполнил долг дружбы. Но странно: какая-то непостижимая печаль закралась в его сердце после этой встречи.

В гостиной у Симона собрались старейшие теми обсудить

дело кровной мести между Симоном и Элгуджей. С длинными палками в руках сидели седобородые пастыри общины и степенно беседовали о печальном происшествии. Старейший из них возглавлял сход, и все почтительно прислушивались к его словам. Вызваны были свидетели, истец Симон Чопикашвили и дальние родичи Элгуджи, заступающиеся за него.

Вполголоса шла общая беседа, но когда старейший провозгласил «насторожите слух и внимание», сразу воцарилась такая тишина, что слышен стал полет мухи.

— Сход, слушай! Все знают, что нынешний сход собрался для того, чтобы судить два враждующих рода. Если есть тут пристрастные или предубежденные, — пусть они оставят собрание! Сердце человеческое может смягчиться, может несправедливо заступиться за того или другого. Это — большой грех и позор перед народом. Если есть такие, — пусть покинут нас! — так возгласил он трижды.

Несколько человек надело шапки и удалилось из совета.

После этого старейший помолился святым, покровителям общины, прося их внушить людям справедливое решение, дабы не совершить неправды.

— Аминь! — сказали все.

— Если кто даст ложное показание или скажет пристрастное слово, — пошлите человеку тому свое проклятие из рода в род! — продолжал старейший. — Пошлите ему долгую жизнь, но жизнь позорную, без сверстников и друзей, отдайте его на осмеяние, лишите его покоя!

— Аминь! — подхватил сход.

— А теперь рассаживайтесь. Прежде, чем говорить, загляните в души свои и подумайте, как бы не согрешить! — сказал старейший.

Все снова надели шапки и уселись на свои места со спокойным сознанием возложенного на них долга.

Первым был вызван Симон Чопикашвили. Симон снял шапку и опустился на колени перед советом. Он высказал свою жалобу, обвинил Элгуджу в убийстве Гаги и просил судить его. Допрошены были дальние родичи Элгуджи. Они доказывали, что Гаги погиб не от руки Элгуджи, и потому не надлежит Симону Чопикашвили мстить за его кровь.

Старейший напомнил сходу, что время теперь суровое, и потому надо беречь друг друга, не таить друг против друга вражды.

— Быть может, не нынче-завтра жизнь каждого из нас будет стоить тысячи жизней... — закончил он.

Мзаго тоже была вызвана на допрос. Она не захотела явиться сама и к ней отправили посланца, который, вернувшись, сообщил сходу ее слово: не было никакого похищения, она любит Элгуджу и пошла за ним по доброй воле. Если б она не надеялась снова увидеться с ним, давно наложилась бы на себя руки, чтобы встретиться с ним скорее в другом мире.

Тогда все, кроме членов совета, удалились из комнаты. Старейший занял свое место. По обеим его сторонам разместились остальные члены совета по старшинству. Также по старшинству стали они излагать свое мнение. Наконец, вызвали стороны. Опять старейшина призвал их поклясться, что они беспрекословно выполняют решение совета, — обе стороны дали согласие.

— Введите деканозов, — приказал старейший.

Вошли два деканоза. В руках у одного было знамя из тафты, сплошь увешанное иконками, крестами, колокольчиками и всякими дарами; другой нес серебряный крест, завернутый в тафтовую же ткань.

Все встали и обнажили головы. Деканозы подошли к старейшему и стали рядом с ним.

— Принесите клятву! — призвал старейший, когда все затихло.

Стороны подошли к знамени, опустили перед ним на колени, взяли руками за край его.

— Бог всевышний! — начал деканоз. — Иоанн креститель, иверский ангел-хранитель гор, хевская троица, гудский пресвятой, ломисский архангел, — ниспошлите благодать свою на этот народ!

— Аминь твоей благодати! — возгласили все.

— Избави нас от смуты и бедствий, ниспошли мир и покой отныне на нашу общину!

— Аминь твоей благодати!

— Пролой благодать свою на внуков и правнуков верного сына Грузии, преданного своему теми, преданного ближнему и брату своему, милосердного к бедным, сеющего мир между людьми!..

— Аминь твоей благодати!

— А нарушителя слова теми, предателя родных и ближних, изменника отечеству и царю, — лиши покоя навек!

— Аминь твоей благодати!

— Не дай такому человеку ни дома, ни крова, ни блага, ни удачи в охоте, ни победы над врагом!

— Аминь твоей благодати!

— Теперь приложите к святыне! — закончил деканоз и тряхнул знаменем, — зазвенели колокольчики. Народ, колено-преклоненно слушавший клятву, поднялся. Жалобщики благоговейно приложились к знамени и кресту и заняли свои места.

Тогда встал старейший и объявил сходу решение совета:

«Элгуджа похитил девушку и тем нанес оскорбление дому Чопикашвили, но не прибегал он к насилию, и девушка пошла за ним добровольно.

«Гаги встретился с ним по пути и, защищая честь дома, вступил в схватку с Элгуджей вместе с товарищами своими, защищаясь, прибегнул к оружию. В перестрелке было убито несколько человек.

«Элгуджа ранил коня Гаги, и только поэтому Гаги упал в пропасть и разбился.

«А потом русские солдаты убили товарищей Элгуджи, самого его тяжело ранили и отбили девушку.

«Мы судили этих людей по разумению нашему и постановили:

«Так как среди убитых людей Гаги было двое мтиульцев, смерть товарищей Элгуджи покрывается их кровью.

«Смерть же Гаги последовала не от руки Элгуджи, и кровной мести за эту смерть не полагается. Взамен того отобрать у Элгуджи имущество и передать его Симону Чопикашвили... Симону же уплатить за лечение Элгуджи.

«Родня Элгуджи, в присутствии понятых от общины, должна притти на могилу Гаги с быком и пивом и справить поминки.

«Девушку оставить в доме у Симона, и, буде Элгуджа пожелает взять ее, ему надлежит уплатить за нее выкуп в сорок коров.

«После этого между родами Симона и Элгуджи пусть воцарятся братские, добрососедские отношения и любовь».

Все покорно выслушали решение совета общины. Потом раскинуто было «сипро», чтобы вкусить за ним хлеба-соли, и за «сипро» было выпито заздравных тостов без счета.

Со страхом ожидала Мзаго этого решения, хотя Симон заранее обнадежил ее.

Безгранична была ее радость, когда узнала она, что жизни Элгуджи отныне не угрожает кровная месть. Правда, ее Элгудже не отдали, за нее назначили такой большой выкуп, что ему, верно, и не собрать его, но если бы даже ей позволили выйти за него замуж, разве сама она решилась бы на это теперь?

Только о нем она думала, всегда готова была отдать ради него всю свою жизнь, даже любовь свою принести в жертву его спокойствию.

Жизнь потекла в своем обычном русле. В сутолоке трудовых будней проходили дни бедных тружеников.

Как-то Мзаго сидела позади дома и трепала шерсть. Рядом с ней примостилась Джаджала, — та самая девушка, что первая так приветливо встретила ее в доме Гаги. Джаджала на днях пришла из соседней деревни. Она была все также внимательна и ласкова к Мзаго.

Они рассказывали друг другу о всяких новостях и весело болтали. Вдруг беседа оборвалась. Обе вскочили на ноги. К ним приближался Симон Чопикашвили.

Он поздоровался с ними, потом попросил Джаджалу принести ему воды.

— Ты, надеюсь, довольна решением теми? — спросил Симон, оставшись наедине с Мзаго. — Не будет больше проливаться кровь.

— Теми всегда решает мудро, да не лишится он твоей милости!

— Где теперь Элгуджа?

— Не знаю! — смутилась Мзаго.

— Нет, ты знаешь, где он, и, если хочешь ему добра, должна мне это открыть!

Мзаго молчала.

— Дело твое, не хочешь говорить, — не надо! Только предупреди его, чтобы ушел он подальше в горы. Я бы и сам его оповестил, но никто не должен заподозрить, что я знаю о нем.


— А чего ему бояться, господин?

— Молода ты еще... У меня есть враги, — они враги и Элгудже.

— Не понимаю я...

— Так слушай... Прежний правитель распускает в городе слух, что это я через Элгуджу подстроил убийство Гаги.

— Что же нам теперь делать? — испуганно воскликнула Мзаго.



— Ты сообщи об этом Элгудже. Он сам сообразит, что делать.

— Через кого же я могу сообщить?

— Ну, это уж не мое дело, — сказал Симон. Не трудно было догадаться, что он знает обо всем, но сам не хочет вмешиваться.

Симон сейчас же ушел. Джаджала прибежала с глиняным кувшином в руке.

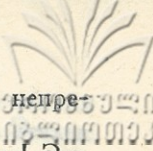
— Где хозяин?

— Ушел... Он нарочно отослал тебя, чтобы поговорить со мною!.. — сказала Мзаго. И она передала своей подруге слова Симона, рассказала обо всем, что узнала об Элгудже через какого-то мтиульца, по имени Матиа, который на-днях был у нее. Сердечно и откровенно беседуя, они вспоминали о прошлом, мечтали о будущем. Мзаго словно вырвалась из своего одиночества. Нуждалась она в дружеской поддержке и открыла Джаджале свое сердце. И теперь она смелее ходила по дому, где постоянно чувствовала присутствие верного друга, всегда готового защитить ее.

Они решили, что надо дожидаться субботы, когда придет Матиа с вестями об Элгудже. К тому времени они успеют соткать шерстяную ткань на чоху и вышить нагрудник — в подарок Элгудже. И они торопливо приступили к работе.

А Матиа тем временем пас свою отару. Овцы, рассыпавшись по склону, озабоченно пощипывали траву. Забегая вперед друг перед дружкой, они раскидывались все шире, продвигаясь все дальше. Прославленный на весь край пастух Матиа, прежде не отходивший ни на шаг от своего стада, на этот раз словно и не заметил, как далеко ушли от него овцы. Опершись на кизилковый посох, застыл он неподвижно и смотрел куда-то вдаль, за горы. Но не красота раскинувшейся вокруг природы приковала его к себе. Нет! Не замечал он ни гор, гордо высившихся перед ним, ни лесов, ни молочно-пенистых водопадов, стремительно низвергавшихся со скал и рассыпавшихся на тысячи сверкающих звездочек, ни зеленых лугов, усеянных яркими цветами, которые разливали в воздухе свою сладость. О чем же так неотступно раздумывал этот юноша?

С недавних пор стал Матиа замечать за собой что-то неладное, но и сам еще не мог хорошенько понять, чем скован он всецело. Неизменно стоял перед его мысленным взором образ прекрасной женщины, ее глаза до самозабвения влекли его, и



так мучительно было самому разрушать это очарование непростанными усилиями воли!

Чей же образ завладел стойким сердцем Матиа? Увы! Это был образ черкешенки, возлюбленной Элгуджи, его побратима.

Гордый мтиулец сперва думал, что только из-за дружбы и жалости к Элгудже так мощно разлилось в его сердце чувство братской любви к названной сестре. Но шли дни, и сила этого чувства стала его смущать. Он вступил в борьбу с собственным сердцем, — напрасно: образ Мзаго неотступно и беспощадно преследовал его. И как ни уверял самого себя Матиа, что страсть эту вложил в его сердце лукавый, чтобы заставить его изменить долгу дружбы и обычаю, — не в силах он был побороть всепобеждающее навождение и с каждым часом все самозабвенней отдавался ему. Из беспечного весельчака Матиа вскоре превратился в худого, бледного и грустного юношу, с тусклым взором всегда задумчивых глаз.

Соседи замечали в нем перемену, старались допытаться, что его гнетет, но он всегда ловко менял разговор и лишь жаднее затягивался табачным дымом.

Матиа неподвижно стоял все на том же месте, когда на гребне появился человек, который устремился вниз прямо к нему, прыгая через камни по спуску.

Он подошел совсем близко и удивленно окликнул:

— Матиа! А, Матиа!

Матиа вздрогнул, растерянно взглянул на подошедшего, провел рукой по лицу.

— Что с тобой, Матиа?.. Стадо у тебя погибает, в лес уходит, а ты не видишь?!

— Что же делать? — все еще в оцепенении, глухо отозвался Матиа.

— Да что с тобой, не болен ли ты? Стадо ушло, говорю!

— Ушло? Куда ушло? — встрепенулся вдруг Матиа и бросился за стадом.

— Рехнулся, должно-быть! — подумал пришедший и кинулся вдогонку помочь Матиа собрать разбредшихся овец.

Они собрали баранту, и только тогда признал Матиа в пришедшем пастуха Иване Харанаули.

— Да будет мирен твой приход, Иване! — приветствовал его Матиа.

— Мир и тебе! — ответил Иване.

— Как поживает Элгуджа?

— Хорошо.



34935930

4137070103

— Лекаря приставили?

— Как же, да еще какого! Равного ему нет во всем теми

— Что ты? А скоро он поправится?

— За две-три недели встанет на ноги, говорит лекарь.

— Дай-то бог! — Они помолчали. — Поручил он тебе передать мне что-нибудь? — спросил Матиа.

— Как же! К кому же ему обратиться, как не к тебе? Каждый день говорит он о тебе... Передай, говорит, ему, чтобы прислал весть о себе, проведал бы меня.

— Проведаю, конечно, проведаю! — грустно сказал Матиа.

— На него надеюсь, говорит, как на брата, — продолжал Иване: — выполнит все, как надо.

— Да, да, выполняю все! Как же не выполнить? Его слово для меня — печать нерушимая! — с какой-то горечью воскликнул Матиа и вдруг прибавил: — Ты присмотри за барантой. Верно, устал с дороги. Отдохнешь заодно. У меня дело есть. Пойду. Если кто спросит обо мне, скажи, что пришли покупатели за шерстью, и ушел, мол, с ними в Квешети.

— Ладно, ладно, друг!

— Отару к реке погони. Там попрохладнее, уляжется она на берегу.

Он загнул под ремень полы чохи, вскинул ружье на плечо и стал спускаться к Квешети.

Шел он быстро, торопился, и потому казалось ему, что никогда не дойдет. «Конца нет проклятой дороге!» — то и дело восклицал он. Солнце уже перевалило через зенит, когда достиг он Квешети. Было еще рано, ему не хотелось встречаться с людьми, — он укрылся в ближайшей роще, с волнением ожидая Мзаго. Но ведь он уславливался встретиться с нею в субботу, а нынче еще только пятница, — что если она совсем не придет сюда? Это опасение еще больше усиливало его муки. «Если не придет, — останусь здесь на всю ночь, — думал он с горечью, потом снова утешал себя надеждой на провидение: Ломиси внушит ей, и она придет».

Протекли два, три томительных часа. Терпение его иссякло в конце-концов, он решил идти прямо в дом Симона, постаравшись миновать охрану. Но тут появились две женщины, и он отказался от этого необдуманного шага. Быстро он спрятался за дерево. Сердце готово было выскочить из груди, он весь дрожал, как в лихорадке.

Джаджала и Мзаго подошли совсем близко.

— Как раз вот на этом месте, — произнесла Мзаго, —

Матиа рассказал мне правду об Элгудже, и слова его оживили мою душу.

Ножом полоснули по сердцу Матиа эти слова. Но он был покорен судьбе.

— А не обманул ли он тебя? Может, подослан кем-нибудь! — с сомнением сказала Джаджала.

— Обманул?.. Нет. Этот не обманет, не такой человек, — ты только один раз взглянешь на него и поверишь... Он побратимом стал моим, я верю его словам.

— Клянусь Ломиси! Ты не будешь обманута! — воскликнул Матиа, выскакивая из своей засады. — Ты доверяешь мне, и я готов ценою жизни оправдать твоё доверие, я буду верен тебе, Мзаго!

Женщины испуганно метнулись в сторону, но Мзаго узнала Матиа и радостно бросилась к нему.

— Матиа, Матиа!.. Родной мой! — воскликнула Мзаго, протягивая ему руки. Огнем обожгла руку Матиа её рука, мгновенно воспламенился он весь. Разум покинул его, он стремительно обнял Мзаго, прижал её к груди и крепко поцеловал. Мзаго с силой оттолкнула его.

— Что ты делаешь? — с упреком воскликнула она. — Не стыдно тебе? Ты назвался братом моим, и я тебе поверила...

— Да, да, я поклялся быть братом твоим и, если изменю когда-нибудь этой клятве, пусть суровая кара постигнет меня!

Девушка успокоилась. Братское чувство увидела она в его порыве, а Матиа подумал с горечью, что он недостоин счастья, что Мзаго создана на радость другому.

— Я не ждала тебя сегодня, — сказала Мзаго.

— Сегодня пришел человек от Элгуджи, и я поспешил к тебе с вестями.

— Что ты узнал?

— Элгуджа здоров, кланяется тебе. Счастливый, — хорошо ему!.. Если даже на краю могилы он услышит твоё имя, — и то не умрет, воспрянет, да... бог свидетель!

— Долгой жизни тебе, Матиа, за хорошую весть! Скоро он поднимется с постели?

— Скоро.

— И будет совсем здоров?

— Встанет, встанет, ты не горюй!

— Ах, лучше бы умерла я! Ведь и выходить-то его, верно, некому!

— Почему некому? Названных сестер, думается, у него много!

— Названных сестер, ты говоришь? — смущенно переспросила Мзаго.

— А что? — отозвался Матиа и посмотрел на нее с грустью.

— Нет, я ничего, — смутилась Мзаго, — лишь бы ухаживали хорошо.

— А если б меня ранили, разве ты не стала бы ухаживать за мной? — и снова он печально взглянул на нее.

— Я не стала бы? Да я жизнь свою готова отдать, если придется выручать тебя из беды. Умру, — и не задумаюсь! — горячо воскликнула Мзаго.

— Знаю... знаю, что правду говоришь! У тебя доброе сердце, ты со всяким бы так поступила в беде! — сказал Матиа, с горечью думая о том, что только ее доброта ему досталась в жизни.

Все примолкли.

— Идем скорей, дома нас ищут! — вдруг спохватилась Мзаго и подошла к Матиа.

— Вот, Джаджала, это и есть Матиа, мой названный брат. Джаджала поклонилась.

— Клянусь богом, я обрадовалась тебе, как восходу солнца! — тихо сказала Джаджала.

— И я радуюсь, что вижу тебя, клянусь благодатью Ломиси! — ответил он.

— Побратим моей названной сестры — и мой побратим! А как поживаете вы, семья ваша, скот ваш?..

— Долгой жизни тебе за ласковый привет!

— Какие вести принес об Элгудже?

— Хорошие, хорошие.

— Завтра придешь опять? — спросила Мзаго.

— Если пожелаешь, совсем поселюсь в этом лесу!

— Послушай, Матиа, приходи завтра сюда в этот же час! Мы передадим тебе чоху, и в воскресенье ты пойдешь к Элгудже, чоху ему отнесешь, повидашь его.

— Хорошо, приду!

— Все о нем разузнаешь... Да и сам ты, верно, хочешь его повидать!

— Да, да, хочу повидать!

— Идем, идем скорей, а то вы и до завтра все будете говорить про Элгуджу! — прервала их Джаджала.

Они расстались, условившись встретиться завтра.

Долго еще стоял Матиа, смотря вслед ушедшим девушкам. Он решил провести ночь в лесу, днем побродить по базару, а там и вечер подойдет.

Он привык проводить ночи под открытым небом. Выбрал удобное место, улегся, попытался заснуть. Но не тут-то было. Какой-то голос, словно дразня, нашептывал ему: «Хочешь заснуть? Напрасно! Хочешь позабыть ту девушку? Не позволю!» Матиа беспокойно повернулся на другой бок. Луна как нарочно, щедро и нежно заливавшая землю в ту ночь, засветила ему прямо в лицо, приковала к себе его взгляд. Лучи ее ласкали его пылающую грудь и сочувственно шептали: «Ты несчастлив, и одна только я понимаю тебя! Доверься мне! Я никогда не выдам тебя, только я одна могу сохранить твою тайну»...

И Матиа доверчиво раскрыл свое сердце луне, — все, все поведал он ей, наперснице влюбленных. Кому же еще мог он рассказать о своей запретной любви к возлюбленной друга своего и побратима?

Всю ночь не сомкнул он глаз. Встал вместе с зарей, спустился к ручью, освежил разгоряченный лоб чистой струей, помянул бога, проверил ружье. Запал отсырел за ночь, он обновил его. Вдруг в лесу послышался треск сучьев. Из чащи вышла огромная медведица с двумя медвежатами.

Нет зверя страшнее медведицы, когда ее детенышам угрожает опасность. Обычно трусливая, без оглядки убегающая от человека, если только ее не подбили, — делается она свирепой и бесстрашной, когда бьется, защищая своих медвежат.

Матиа очутился в страшной опасности.

Но он не испугался, он даже обрадовался неожиданной госте. Медведица могла его убить, и смерть была желанна для Матиа.

Медведица остановилась, как вкопанная, и заревела, опустив голову. Мощными ударами лап стала она вскапывать землю под собой, словно рыла могилу для врага.

Матиа отступил, спрятался за высокий пенек, взял ружье на изготовку, вытащил кинжал наполовину из ножен. Он готовился к бою так спокойно, словно давно его ожидал, словно не верил в опасность.

— Хочешь померяться со мною силой?.. Я готов, посмотрим кто кого!.. — и Матиа взвел курок.

Медведица поднялась на задние лапы, как-будто почув-

ствовав приближение схватки. Человек и разъяренный зверь топились сразиться, пожирая друг друга горящими глазами.

Еще мгновение и медведица со страшным ревом прыгнула на Матиа. Раздался выстрел, зверь перекувырнулся, но тотчас же снова вскочил и бросился на врага. Матиа отшвырнул ружье, выхватил кинжал, острием подставил его медведице. Оба покатались на землю. После короткой страшной схватки затихли, замерли оба, — человек и зверь. Наконец, человек-победитель поднялся. Удар клыков оставил след: ныло плечо. Но кинжал, угодивший зверю под самое сердце, ослабил этот удар.

Матиа вытер кинжал, опустил его в ножны. Обмыл и перевязал легкую рану. Потом стал осматривать медведицу. На время он отвлекся от своих горьких мыслей, но как только опасность миновала, снова потекли они привычным руслом и снова сердце заметалось в тоске. Тут-то и надумал он снять шкуру со зверя и поднести ее в подарок Симону. Тогда сможет он постоянно посещать дом Симона, сможет чаще видиться с Мзаго.

Симон стоял во дворе своего дома и беседовал с горцами, когда подошел к нему Матиа с медвежьей шкурой на спине. С удовольствием принял он подарок от Матиа. Похвалил юношу за смелое единоборство со зверем.

— Не задрал он тебя? — спросил Симон.

— Нет, мой господин, только поцарапал немного.

— Проводите его в дом, — распорядился Симон, — хорошенько накормите, дайте отдохнуть, — устал, наверно! Но чей же ты, из какого рода? — спросил он.

— Надибаидзе моя фамилия, господин!

— Чей сын?

— Ниниа — мой отец!

— О, Ниниа во всем Мтиулети прославлен храбростью и отвагой... Хорошо, что у достойного отца — достойный сын... Иди, отдохни. Огнь мой дом открыт для тебя, — приходи, когда захочешь.

— Дай вам бог здравствовать долго! — ответил Матиа, радуясь, что удостоился самой желанной награды.

Дворня Симона окружила Матиа. Всем хотелось посмотреть на убитого им громадного зверя, потрогать руками шкуру. Юношу поздравляли, расспрашивали.

Мзаго узнала от других о приключениях Матиа, но стояла в стороне: не хотела показать, что знакома с ним.



— Ступай, скажи Джаджале, — пусть приготовит еду для гостя! — окликнул ее правитель дома.

Охотно побежала Мзаго выполнять поручение, — не терпелось ей дать понять Матиа, как сочувствует она ему. Вскоре принесли обед, все разошлись, только Мзаго и Джаджала остались с Матиа. Радостно поздравляли они его с победой, восхищались его отвагой и силой.

— Слава богу, что так легко отделался! — снова и снова повторяла Мзаго.

— И для чего только я жить остался! — печально отозвался Матиа.

— Хорошего сына вскормила твоя мать своей грудью, — сказала Джаджала, — впрок тебе пошло ее молоко!.. Ой!.. — она оглядела шкуру медведицы, — смотрите, какая у нее пасть огромная!

— Лучше бы она убила меня! — с тоскою проговорил он.

— Что ты? Что ты? — удивились женщины.

— К чохе осталось только застежки пришить, к вечеру все будет готово. Значит, завтра пойдешь? — спросила Мзаго.

— Да, да, конечно, пойду! Ради тебя, хоть на край света пойду! — успокоил ее Матиа.

— Что ты в самом деле все про Элгуджу своего твердишь! — вмешалась Джаджала, — дай человеку поесть спокойно!

Матиа взглянул на нее с благодарностью.

— Все Элгуджа, да Элгуджа! И отдохнуть не дашь! — возмущалась Джаджала.

— Самому мне ничего не надо, мои хорошие! Вас бы только порадовать чем-нибудь, — в одном этом вся радость моя, — сказал Матиа.

После обеда Симон позвал Матиа к себе. Похвалил его еще раз, поблагодарил, предложил остаться здесь есаулом.

К вечеру женщины дошли чоху. Забрал ее Матиа и ушел к Элгудже.

Вечерело. В час крестьянского ужина подошел Матиа ко двору Харанаули. Лай собак спугнул постоянную его задумчивость.

«Какими глазами посмотрю я на Элгуджу? — подумал он. — Не в силах я совладать с собою! Люблю ее!»

Думы о Мзаго всецело завладели им. Единственное, что еще могло бы его спасти, это долг побратимства. Что побе-

дит? Любовь или долг! И хватит ли у него сил на такую борьбу?

Он вошел во двор, окликнул хозяина. Собачья свора кинулась ему навстречу, но прибежал на помощь мальчик-тушинец и разогнал псов.

— Добро пожаловать, Матиа!

— Мир тебе!

Они вошли к Элгудже.

Так обрадовался своему другу Элгуджа, что даже не сумел приветствовать его, когда тот вошел. Растерялся и Матиа, хотя и по другой причине. Они принялись пылко беседовать, но имя той, кем всецело были полны оба, не слетало с их уст.

Железные силы Элгуджи легко справились с болезнью, последние раны заживали на нем. Он считал себя здоровым, свободно ходил по комнате.

Им подали ужин. Вошел старший в доме Харанаули. За ужином разговор зашел о решении темы по делу Элгуджи. Тяжело обернулось для него это решение!

— Элгуджа!.. — сказал Харанаули. — Бог дарует мне кусок хлеба, благодать его не покидает меня, и овцы у меня есть.. Поселяйся здесь с нами, паси овец, я поделюсь с тобой своим стадом.

— Долгой жизни тебе! Господь потому и наделяет тебя щедротами своими, что сам ты такой щедрый.

— Говорю от чистого сердца, — да будет милостив ко мне крест Лашарский! — продолжал Харанаули.

— Нет, мой дорогой, по несчастливому пути я пошел, — так и пойду до конца!

— Что ты задумал? Не станешь же ты противиться общине?

— Можно ли ей противиться? Слово общины — как наказ свыше, кто же пойдет наперекор ему? — сказал Элгуджа.

— Достоиную пристала и речь достойная! — с одобрением покачал головой Харанаули. — Что же ты собираешься делать?

— Сам не знаю! Земля велика и небо высоко над нами. Все уместится под ним!

— Нет, Элгуджа, не годится такая речь! — вмешался Матиа. — Харанаули в достатке живут. Остаешься у них, поправишься, успокоишься, а там, как бог даст; может и что другое надумаешь.

— Так лучше будет, Элгуджа! — продолжал Харанаули,—

здесь я тебя и женю, сам тебе невесту найду!.. Кого назовешь, ту и посватаю за тебя! Нам никто не откажет! А сыновья мои жизнь отдадут ради тебя!

— У него есть уже своя избранница, — сказал Матиа, — он не может ей изменить!

— Ну, так ее и привезем! — весело воскликнул Харанаули, — я сам буду твоим дружкой!.. Разве не гожусь? — прибавил он, лихо заламывая шапку.

Долго еще отказывался Элгуджа, но потом согласился. Он остался в семье Харанаули, и старший в присутствии Матиа выделил ему стадо овец в восемьдесят голов.

Матиа и Элгуджа уговорились с соседскими юношами, что те помогут им, как только Элгуджа поправится, похитить для него Мзаго.

15

Вернулся Матиа домой и тотчас же пошел в Квешети. Хотелось ему порадовать Мзаго хорошими вестями об Элгудже, и он сам заранее радовался ее радости, но чем ближе подходил к дому Симона, тем мрачней становился. Даже подумал было, не повернуть ли обратно, не скрыться ли навсегда из этих мест.

— А данное слово?.. А клятва?.. — сурово упрекнул себя мтиалец и пошел дальше.

А Мзаго и Джаджала тем временем отводили душу в неустанных беседах о Матиа и Элгудже. Как-то раз пошли они вместе с другими девушками за орешками и земляникой. Все разбрелось по горному склону. В полдень солнце стало припекать. Девушки спустились к Арагви, расположились на лугу в прохладной тени. Обе молчали; каждая думала свою думу.

— Ты очень любишь своего Элгуджу? — спросила вдруг Джаджала и взглянула на Мзаго.

— Родная моя, зачем об этом спрашивать? А ты разве не любишь своего Матиа?

— Что из того, что люблю? Матиа мой брат названный, и люблю я его любовью сестры. Его каждая женщина может полюбить! — вздохнула Джаджала.

Лукавая улыбка пробежала по лицу Мзаго, она искоса взглянула на подругу.

— Урод твой Матиа, суший урод! — воскликнула она.

— Что ты сказала? — Джаджала вскочила на ноги.

— Говорю, что урод твой Матиа, — повторила Мзаго.

Она нарочно дразнила подругу, — ее, как ребенка, забавляло, что та сердится.

— Ты шутишь, — Джаджала прислонилась к дереву.

— И не думаю шутить! Правду я говорю, — за него ни одна девушка не пойдет!

— А почему?

— Да потому, что очень он некрасивый.

— Как некрасивый!.. А чем твой Элгуджа лучше него, а? — не выдержала Джаджала.

— То-то и есть, что лучше! А Матиа — что за мужчина?

— Зачем ты так говоришь, Мзаго? — обиженно воскликнула Джаджала. Больше не могла она сдерживаться, слезы полились у нее из глаз. Мзаго смутилась, она вовсе не хотела обижать свою подругу.

— Что ты, Джаджала, что ты?.. — обняла она ее. — Я пошутила, а ты плачешь... Успокойся, прошу тебя. Богом клянусь, родная сестра не любила бы его так, как я люблю.

— Никто меня не любит, все презирают меня! — всхлипывала обиженная Джаджала. — Вот и ты тоже меня ненавидишь!

Женщины окликнули их, пора было возвращаться домой.

Джаджала торопливо вытерла слезы, грустно взглянула на Мзаго. Мзаго не знала, как ей искупить свою вину. Обе стояли печальные и смущенные. Но вот опять их взгляды встретились, обе они улыбнулись и бросились друг другу в объятия. Каждая упрекала в душе себя за то, что обидела подругу. Снова их окликнули. Когда все собрались, Джаджала звонким голосом затянула песню, остальные подхватили. Двинулись к дому. Вдруг Джаджала остановилась, присела у края дороги на камень и разулась, чтобы вытряхнуть из чувяков песок. Подруги тем временем ушли далеко вперед, скрылись за выступом скалы. Джаджала торопливо натягивала чувяки и, как всегда бывает, когда человек торопится, дело не клеилось. Вдали, по верх кустарника, заколыхался, сверкая на солнце, штык. На шоссе выехал стражник. Испуганно схватила девушка свои чувяки, собираясь бежать, — но тот равнодушно проехал мимо. Отехав немного, он повернул коня, спешился, постоял в раздумьи. И вдруг он кинулся к Джаджале. Та и опомниться не успела, как он обхватил ее рукой.

— Ладно, ладно, Марушка! — осклабился он, скорчив улыбку.

— Пусть бы глаза твои лопнули! Уйди от меня! — вырвалась девушка. Но насильник преградил ей дорогу.

— Зачем кричишь! Денег тебе дам! — Он вынул из кармана посеребренную зеркальной ртутью копейку.

— Убирайся, не хочу от тебя ничего!

— Да не кричи ты! Никого кругом нет, помочь тебе никому. Возьми-ка денежку, — смотри, как сверкает, — и поцелуй меня сама, не то потом пожалеешь!

Не понимала Джаджала его речи, но сердце ее упало, почуввав беду.

— Ваймэ, погибла я! — в отчаянии закричала она и метнулась в сторону.

Полы ее платья распахнулись. Насильник ухватился за одну полу и рывком привлек девушку к себе. Джаджала поняла: не увернуться ей, резко повернулась она к своему мучителю, стала царапать его, колотить по лицу. Он совсем озверел, обхватил ее рукой, стал целовать мокрыми губами. Девушка изнемогала в отчаянной борьбе. Ужас сдавил ей горло, и не могла она даже позвать на помощь. Она потеряла надежду на спасение. Вдруг чья-то сильная рука схватила стражника за шиворот, отшвырнула его в сторону, как мяч.

Словно из-под земли вырос Матиа.

— Ступай домой! — сурово сказал он ей, потом обернулся к насильнику.

Не смея поднять на него глаз и горя от стыда, девушка побежала домой.

— Ах, ты, негодяй, пес ты этакий... Нападать на женщин, только на это ты и способен! — гневно воскликнул Матиа.

Стражник поднялся на ноги и, почувствовав перед собой грозную силу, вытянулся в струнку.

— Виноват... Прости! — трусливо пробормотал он.

— Простить?.. Собака ты и примешь собачью смерть! — и Матиа выхватил кинжал.

Насильник упал на колени, умолял о пощаде.

— Ваше высокоблагородие! Ваше сиятельство! Прости... Окажи милость...

Матиа поглядел на него с презрением.

— Жалко осквернять кинжал твоей кровью.

Он подошел к нему, скрутил ему руки за спиной, снял с него оружие и брюки, и, посадив на коня, отпустил его.

Счастливый, что остался цел, стражник погнал коня по спуску в Квешети. А Матиа смотрел ему вслед и думал:

«Случись это с другим, всякий сам бы спрыгнул с коня в пропасть, не перенес бы такого позора! А этот... Даже смотреть противно, с какой радостью скачет по дороге!»

Всадник достиг поворота, над которым нависала крутая скала. Она крошилась и оползала вниз. Вдруг что-то грохнуло, как выстрел, и отколовшаяся глыба сползла на дорогу. Конь шархнулся в сторону, седок не удержался, соскользнул, повис на стремях, из которого не успел высвободить ногу. Конь испугался еще больше, задними копытами стал бить несчастного всадника, волочащегося по земле, и размозил ему голову.

«По заслугам наказал его Ломиси», — подумал Матиа и сплюнул в сторону. С отвращением, как что-то нечистое, отшвырнул он прочь отобранное у стражника оружие и пустился в путь.

В Квешети вошел он, не таясь: в этом больше не было надобности.

Мзаго ждала его; Джаджала рассказала ей, что встретила мтиульца, хотя и скрыла, какая это была встреча.

Свидание было короткое, Симон позвал Матиа к себе. Мзаго успела только узнать, что Элгуджа здоров, скоро совсем поправится, что он собирается снова похитить ее, потому что уплатить выкупа не может.

Матиа вошел к Симону. Тот, сидя в кресле, просматривал какие-то бумаги.

— Добрый вечер, господин! — поклонился Матиа.

— О, Матиа... Здравствуй, как ты?

— Хорошо, Ломиси да пошлет тебе здоровья!

— Спросил ты отца, отпустит он тебя ко мне в есаулы?

— Как же, спрашивал. Великая честь мне сопровождать тебя!

— Ты мне по сердцу, и я записал тебя есаулом. Верховым или пешим ты хочешь?

— Все равно мне... Как тебе будет угодно.

— Хорошо. Тогда я запишу тебя с конем, а ты будешь пешим. Если понадобится тебе конь, на одном из моих сможешь ездить?

— Воля твоя, господин!

— Сразу же останешься или тебе надо еще домой вернуться?

— Домой надо вернуться, господин! Я ходил в деревню неподалеку и должен передать отцу ответ.

— Хорошо!..

Матиа поклонился и хотел идти. Но Симон остановил его.

— Это правда, что Элгуджа лежал у вас?

Смутился Матиа. Но быстро нашелся и ответил с достоинством:

— Да, он лежал у нас, мой господин!

— Ты, верно, побратался с ним?

— Побратался, мой господин!

Симону понравился смелый ответ мтиульца, ведь юноша этот, конечно, знал, что Элгуджа — кровный враг Симона, правителя гор, и что правитель не может одобрить гостеприимства, оказанного Элгудже кем бы то ни было.

— А где он теперь? — спросил Симон.

— Не знаю где!

— Не знаешь? — Симон испытующе взглянул на мтиульца.

— Нет!

— Вот что я скажу тебе, Матиа! Мне бы хотелось побрататься с тобой!

— Нет, нет, мой господин, не достоин я такой чести!

— Это мое дело... А ты прямо скажи, отчего не хочешь быть моим побратимом? Мужчина должен смело говорить правду в лицо.

Матиа поднял голову, посмотрел в глаза Симону.

— А сам почему не скажешь прямо, к чему ведешь разговор?

— И я скажу всю правду.

— Пусть будет так!.. Потому не хочу я стать тебе побратимом, что я — в побратимстве с Элгуджей; ты же хочешь побрататься со мной, чтобы погубить его. Нельзя изменять побратиму своему так же, как и самому Ломиси. Я не нарушу клятвы, если даже будешь грозить мне виселицей... Я все сказал тебе... Прикажи арестовать меня, связать, расстрелять, — никогда не нарушу я своего слова, не изменю данной мною клятве.

— Не торопись, юноша! — сказал Симон и, не спеша, снял с груди иконку. — Вот перед этим клянусь, что измене не будет места в моем сердце... Не такой я человек, чтобы стал предателем. Я знаю все. Знаю и о том, где теперь Элгуджа! Бог свидетель, вовсе не хочу я для него страдания и смерти!

— А чего же ты хочешь? — спросил Матиа, глядя в упор на Симона.

— Хорошо, я расскажу тебе обо всем. Для властей Элгуджа — изменник царю, они хотят схватить его живым или убить

его. Я получил предписание объявить народу, что доставившему его живым будет выдано сорок серебряных рублей, а если кто убьет его, тот получит двадцать пять.

— И что же? Уж это не мне ли убить его или доставить вам живым? — насмешливо спросил Матиа.

— Юноша, сердце у тебя чистое, но язык твой забегает вперед!...

— Ничего не могу с этим поделаться, господин мой!.. Недруга своего я сумею сам покарать, ничьей помощи не попрошу... Не могу ради денег изменить брату своему, не могу, — клянусь Ломиси!

— Знаю, знаю я это, Матиа, потому и хочу тебе довериться.

— Если знаешь, зачем же испытываешь меня, мой господин?

— А затем, что хочу спасти Элгуджу!

— Ты хочешь его спасти? — воскликнул Матиа удивленно.

— Тебя это удивляет?

— Да, поистине, удивляет.

— Слишком доблестный юноша Элгуджа, чтобы желать его смерти!.. К тому же он — сосед мой... И, бог свидетель, я не хочу его гибели!

— Другому никогда не поверил бы, — сказал, пораздумав, Матиа, — но тебе я верю... Скажи, чего ты хочешь?

У Симона просияло лицо.

— Слушай меня! Я не вправе скрыть эту бумагу, а в мире много недобрых людей. Когда я оглашу бумагу, боюсь, как бы жадность к деньгам не взяла свое и не побудила бы кого-нибудь убить Элгуджу!

— У нас таких людей нет! — гордо отозвался Матиа.

— И я думаю также, но береженого и бог бережет... Ты собери своих друзей, надежных парней, приведи их сюда и я оглашу им эту бумагу. Они поставят на ней свои кресты, и тогда я отошлю ее обратно в город, и у меня будет оправдательный документ... Понял?

— Понял, мой господин!

— И теперь откажешь мне в побратимстве?

— Теперь приказывай мне, мой господин, и убедишься ты, что мтиулец умеет быть другом.

Не прошло и недели, как Матиа и Симон совершили в доме Симона, в присутствии старейших, обряд побратимства.

Казенная бумага так была подписана, как хотел Симон, и Матиа поступил к нему в есаулы.

Матиа рад был своему новому положению: он надеялся сблизиться с Мзаго, чаще видеть ее. Но все повернулось иначе.

Не успокаивали его частые встречи с нею, наоборот, будоражили и лишали покоя.

Об Элгудже приходили хорошие вести. Джаджала, полюбившая Матиа до потери разума, страдала, все больше убеждаясь, что Матиа влюблен в Мзаго. Мученьем была для нее каждая встреча с ним: с неизменной нежностью и любовью он беседовал с нею о Мзаго, всегда только о Мзаго. Порой казалось ей, что она не выдержит, крикнет ему в лицо: «За что ты мучаешь меня, чем провинилась я перед тобой?» Но Матиа был глух и слеп к ее страданиям. Она не смела не отвечать ему на расспросы и, поборов себя, постоянно разговаривала с ним о своей подруге.

Как-то однажды печаль с особенной силой овладела юношей, хотя не было к тому никаких особых причин: жизнь текла своим привычным руслом. Симон уехал в Пасанаури на расследование дела об убийстве казаков. Погода стояла прекрасная. В Квешети царил полный покой.

В мягкий вечер, когда луна одевала светом своим нежно-притихшую природу, зовя человека к уединению и раздумью, Матиа вышел из караульного помещения, медленно прошел через двор и спустился к Арагви. Вода тихо плескалась в дремлющих берегах.

И так ласково рокотали волны в тишине, так чаровали они слух Матиа, что его закаленное сердце смягчилось, и мысли, — одна несбыточной другой, — пленительно закружились у него в голове. Он забылся, на миг представил себя счастливым: Мзаго любит только его одного, думает только о нем, она не променяет его ни на кого на свете!.. И единственный образ Мзаго встал перед ним. Нежно прикасался он к любимой, глядел ей в глаза, слышал дыхание ее. Гишерово-черные пряди волос ласкали ему лицо... И еле слышным шелестом слетали с губ Матиа слова любви и клятвы в вечной верности ей...

Какой-то человек в брод пересек Арагви, вплотную подошел к забывшемуся, зачарованному Матиа.

— Матиа, Матиа! — окликнул неизвестный, кладя ему руку на плечо.

Матиа вздрогнул.

— Что с тобой, друг, не узнаешь меня?

— А, а!.. Это ты?.. О-о!.. Ты? — и Матиа протянул руку вперед.

Неизвестный потряс его за руку.

— Ах, что тебе надо? — вырвалось со вздохом у Матиа, и он отшатнулся в страхе.

— Горе мне! Что с тобой случилось, ты не узнаешь меня?

Матиа поднял глаза. Перед ним стоял Элгуджа.

Даже воображаемым счастьем не дал насладиться ему соперник, тот, кому принадлежала Мзаго, кому он должен не только уступить ее без борьбы, но и помочь соединиться с ней.

Отчаянье овладело Матиа, скорбь его хлынула через край, не выдержал он и, зарывав, бросился в объятия своего побратима. А тот понял этот порыв как радость встречи с другом.

— Элгуджа, Элгуджа, дорогой мой!..

— Довольно, Матиа, замолчи ради бога... Что с тобой, бедняга ты мой?..

— Ничего, ничего!.. — смущенно бормотал Матиа. — Как ты? Откуда?

— Благодарение господу, хорошо!

— Поправился ты? Ничего не болит?

— Благодарение господу... А как ты сам?

— Что обо мне спрашивать? Я — ничего! — горько усмехнулся Матиа.

— А что в Мтиулети? Какие вести?

— Все по-старому!

— Как Мзаго? Ничего не расскажешь о ней?

— Мзаго?.. О, что же о ней рассказать? Счастливая она...

Дождается тебя, думает о тебе! — торопливо говорил Матиа. — Пойдем! Я вызову ее!..

Они направились к тому ясеневому дереву, под которым Матиа в первый раз увидел Мзаго. Элгуджа остался дожидаться, Матиа пошел за Мзаго.

Годами показались Элгудже минуты ожидания.

Вдруг что-то зашелестело, и в объятия Элгуджи упала Мзаго.

— Ты это, ты? — как во сне шептала Мзаго. — Неужели я снова вижу тебя?!

— Успокойся, жизнь моя! Не бойся, мы больше не расстанемся... Тебе холодно?.. Почему дрожишь?

— Нет, не холодно, нет... — все тесней прижимаясь к нему, шептала Мзаго.

Когда она успокоилась, Элгуджа сказал:



— Надо подготовиться, Мзаго, я пришел похитить тебя.
— Похитить меня? — испуганно переспросила она.
— Да, похитить... Ты испугалась? — Элгуджа пристально посмотрел на нее.

— Нет, нет... Не испугалась я... Мне не страшно с тобой.

— А почему ты удивилась этому?

— Нет, и не удивилась... нет, но... если станут опять нас преследовать... опять борьба, кровь...

— Любимая ты моя! — обнял ее Элгуджа, — все только обо мне думаешь!

— Нет, нет, я буду любить тебя и так, не похищай меня, не увози!..

— Но это невозможно.

— Ты говоришь, невозможно? — девушка задумалась. И вдруг заговорила быстро и горячо: — Так нужно!.. Только так... Послушайся меня, оставь меня... Я несчастливая, довольно жертв ради меня!

— В десять раз больше жертв готов я принести ради тебя, но не оставляю тебя!

— Нет, не стою я этого! — воскликнула Мзаго, и рыдая припала к груди Элгуджи. Она плакала горячо, дрожа всем телом. Видно было, что какая-то безмерная тяжесть камнем давит ей на плечи.

Омраченный, опечаленный, смотрел на нее Элгуджа, не в силах понять ее страданий, но мучаясь вместе с ней.

«Может быть она разлюбила меня»... — подумалось ему.

Когда Мзаго затихла, Элгуджа мягко отстранил ее от себя, взял за подбородок и, приподняв ей голову, заглянул прямо в глаза.

— Мзаго! Ты хочешь сказать мне что-то. Почему не говоришь прямо? Скоро ты станешь моей женой. Разве жена может скрывать что-нибудь от мужа?

Вздрыгнула Мзаго, опустила голову.

— Мужчина сумеет стойко встретить пришедшую к нему беду... Говори все!

Мзаго боролась с собой. Вдруг упала она на колени перед Элгуджей.

— Виновата я... Надо бы мне покончить с собой, да захотелось еще раз взглянуть на тебя... — с горечью воскликнула она.

Элгуджа порывисто схватился за рукоять кинжала, но опомнился. Скрестил руки на груди, посмотрел на нее сурово:

— Говори, что произошло?

И Мзаго рассказала ему обо всем. Всю свою жизнь жила она в этот рассказ.

— Ты понял теперь, что я недостойна тебя?

— Да, так следовало бы мне ответить, — но никуда не уйти мне от своей любви. Люблю тебя больше жизни!.. Люблю... — и Элгуджа привлек ее к себе, покрыл поцелуями ее лицо.

Через несколько дней на взгорье к дому Харанаули поднимался свадебный поезд. Элгуджа ехал со своей невестой. Поезжане пели:

«Мы едем веселым путем, —

К супругу — фазанку везем!..»

17

Мзаго и Элгуджа поселились у Харанаули, куда трудно было добраться врагу. Жизнь их потекла спокойно, радостно. Элгуджа ходил пасти овец, — все дивились его усердию и осмотрительности. Мзаго почти каждый день ходила к нему в горы, носила обед. Они усаживались где-нибудь на склоне горы или на какой-нибудь вершине высоко, высоко, так высоко, что туманы и облака плыли под ними. Они гордо могли бы сказать про себя, что попирают туманы своими ногами. Там, на альпийских лугах веселились они, смеялись, радовались своему счастью.

Так шли дни, недели...

А в Квешети тем временем два их друга сгорали в одинаковом огне, хотя огонь этот по разному терзал их сердца.

Не мог Матиа позабыть Мзаго, а Джаджала изнемогала от любви к Матиа.

Симон оставил без внимания похищение Мзаго, лишь для отвода глаз снарядил он погоню. Матиа поручил он выследить Элгуджу. А тот, разумеется, не очень усердствовал. Все это было известно Симону.

Как раз в ту пору дошла до Мтиулети весть о насильственном присоединении Грузии к России. Вся Грузия пришла в движение. Матиа не могло не захватить это событие. Слишком часто бывал он свидетелем бестолковых и несправедливых действий царских чиновников. Бесчинства солдат и казаков усугубляли страх перед чужеземцами, и многие из мтиульцев готовы были до последней капли крови сопротивляться им.

Мятежный царевич Александр и сторонники его захотели обернуть в свою пользу недовольство народа. Они сеяли пани-

ческие слухи, вызывали волнения среди мтиульцев, мохевцев, пшавов и хевсуров, и без того пребывавших в смятении.

Род Джалабаури был одним из самых славных в Мтиулетти, и старейший в этом роде, Абдиа, пользовался в горах большим почетом. Каждое дело, за которое брался этот старец, всегда проводилось искусно и завершалось успехом. С великим доверием примыкали мтиульцы к Абдиа.

Однажды собрались мтиульцы у гумна Абдиа и что-то взволнованно обсуждали. Все были озабочены. Смолкли обычные шутки и смех. Не было на этот раз даже араки, непременной соучастницы всех сходов. В стороне — юноши приводили в порядок свое оружие, чистили, оттачивали его с любовью.

Видно было, что по важному и необычному делу собрался народ. Взмыленные кони, доставившие сюда своих седоков, паслись неподалеку. Продолжали прибывать все новые люди. Молча встречали их старики, пожилых просили присоединиться к старшим, а юношей отсылали к молодым.

Послышалось пение и появились деканозы со знаменами. За ними шло не меньше трехсот мужчин с непокрытыми головами. Пение лилось торжественно, мужественно, но так скорбно, словно из самого сердца поющих исходила мужественная эта скорбь, далеко отдаваясь в горах.

Все снимали шапки и, стоя, приветствовали шествие.

С благоговением подходили мтиульцы и преклоняли колена перед общинными знаменами, за которыми не раз шли они в бой, которые не раз гордо реяли перед ними, когда они возвращались с победой.

Знамена водрузили в железные кольца вокруг жертвенника и рядом с ними стали деканозы. Народ расположился на косогоре за гумном. В настороженной тишине зазвенели колокольчики на знаменах. Снова все сняли шапки и опустили на колени. Деканозы благословляли народ, вознося к всевышнему и хевским святым молитвы о том, чтобы ниспослали они благодать на свой народ, поддержали его в решении трудного дела, уберегли от врагов и настаивали на правильный путь, как бывало это в прошлом. Вековая скорбь народа звучала в каждом слове молитвы, в каждом слове изливалось страстное его желание спокойной жизни и мирного труда. И народ в единодушном возгласе-вздохе выражал затаенные надежды свои:

— Аминь, аминь твоей благодати!

И звучало это, как всеобщая клятва, как отклик на бедствие народное, и силы каждого удесятерались. Когда же окон-

чилась молитва, и все принесли клятву, Абдиа направился к деканозам. Следом за ним двинулось еще несколько старцев. Собравшиеся разбились по своим общинам, каждая община выслала своего предводителя-знаменосца. Он подходил к знамени, которое держал Абдиа, преклонял колени и прикладывался к нему, и после этого вручали ему святыню народную, и он возвращался к своим. Община благоговейно встречала знамя и с пением окружала его. И чувствовалось, что этот священный знак народного единения никому не уступит община без жестокой борьбы.

Были избраны предводители всех общин, и каждому из них были вручены знамена. Отныне они могли всецело повелевать своей общиной, и сами прониклись величием и силой доверенной им власти.

— Пусть подойдут ко мне предводители! — возвысил голос Абдиа.

И предводители повиновались с неспешной важностью и собрались вокруг него.

— Братья! Известно вам, что послы наши к русскому царю вернулись обратно? — начал обсуждение дел Абдиа.

— Знаем, знаем!

— Вы знаете о смерти царя нашего Георгия?

— Да, знаем! — ответили собравшиеся.

— И ответ послов вам известен?

— Не совсем хорошо!

— Вот прибывший из города гость расскажет вам обо всем!

— Мир храбрым мтиульцам! — приветствовал собравшихся гость, выступив вперед. Он был одет в грузинское платье и вооружен с ног до головы.

— Мир да пошлет тебе святой Ломиси! — хором ответили собравшиеся.

— Гость, — обратился к нему Абдиа, — расскажи нам всю правду о том, что происходит в Грузии... Верно ли, что нам изменили, что предали нас?

— Да, это правда... Нет у нас отныне своего царя. Вы, верно, слыхали, что покойный царь Георгий отправил в Россию послов, чтобы определить условия, на которых могут оставаться у нас русские войска. Нам представлялось, что православная Россия протянет нам руку братской помощи, и мы общими усилиями сможем противостоять мусульманам. Однако, царь у нас должен был оставаться свой. Взамен обязывались мы

содержать за свой счет войска, которые находились бы в Грузии, и уплачивать им жалованье. Наш царь и наш народ в свое время нашли, что так нужно для нашей страны, что так будет лучше... Для заключения этих условий царь направил послов, и они возвратились в Тбилиси как раз в день смерти нашего царя. Они находились у реки Вера под Тбилиси, когда, к скорби нашей, царь опочил. И когда они, уже после смерти царя, прибыли во дворец, русский правитель объявил народу якобы волю покойного царя о том, что Грузия должна вступить в подданство России!.. Мы просили покровительства, а нас превратили в рабов! На самом ли деле царь предал свою страну или нас обманули послы, подменили бумаги, а нашего царя отравили в Тбилиси, как о том пошел слух, — никому о том достоверно неизвестно... — закончил гость свое сообщение.

Через десять дней новые русские войска должны были вступить через горы в Тбилиси. На сходе принято было решение запереть их в теснинах Пасанаурского ущелья так, чтобы не могли они двинуться ни вперед, ни назад. Решено было договориться с мохевцами, — пусть запрут они Дарьяльское ущелье так, чтобы ни одна живая душа не могла проникнуть через него.

Собравшиеся стали расходиться. Каждый спешил начать выполнение порученного. На поляне остался только один человек, глубоко ушедший в свои думы. Вдруг он встрепенулся.

— Ну, Элгуджа! — воскликнул он, — ты так тосковал по доблести, — вот и настало твое время!

И Матиа, — это был он, — поспешил к своему побратиму сообщить о волнениях, происходящих в стране.

18

По зеленому альпийскому лугу разбрелась белоснежная отара. Пощипывая траву, она медленно продвигалась вперед. Два барана, отстав от стада, дрались на смерть. Шла борьба из-за возлюбленной овцы. Они не щадили друг друга, только бы покрасоваться перед ней, завоевать ее сердце. Сперва они, пятясь, расходились в разные стороны, потом, согнув шеи, срывались с места, летели навстречу друг другу, сшибались изо всех сил лбами. Снова, фыркая, расходились, чтобы в новой схватке испытать прочность и силу своих рогов, шей, голов. Так велики были их самоотверженность и желание победить соперника, что после многих столкновений оба оглушенные валялись в беспомощности.

на задние ноги. Со стороны могло показаться, что борющиеся расколят себе лбы пополам. Однако, пастух, ведший отару, с удовольствием следил за этой борьбой. Он даже и не пытался разнять баранов, великолепно зная, что пока один из них не выйдет победителем, развести их нет сил. И до тех пор невозможно их унять, пока один из них не удостоится чести с ласковым блеянием пройтись перед своей овдой, а другой, посрамленный, низко опустив голову, не скроется в стаде.

Пастух, опиравшийся на свою кизилковую палку, смотрел за стадом, придерживая его, чтобы оно щипало траву усерднее и попусту не затаптывало кормов.

Огромная мохнатая овчарка возлежала на одном из ближних холмов и оттуда следила за стадом.

Вдруг собака сорвалась с места: из-за гребня холма появилась женщина. Собака, радостно повизгивая, стала прыгать перед нею, ласкаться к ней. Женщина нежно потрепала ее рукой. Пастух просиял, увидев свою подругу, и сердце его забилося так сильно, словно это была их первая встреча.

Они обнялись. Потом уселись на лужайке. Женщина развязала бурдючок, вынула оттуда ватрушку—хачапури, сыр и сладкую каду. Ласково беседуя, они принялись за обед.

— Милая, калау, из Мтиулети никто не приходил? — спросил Элгуджа, — это был он.

— Нет! — ответила Мзаго.

— Почему они опаздывают? — раздумчиво проговорил Элгуджа.

— В деревне говорят, что в Мтиулети какие-то волнения, только я не знаю какие...

— Волнения? — переспросил Элгуджа.

— Юноши готовятся к войне!

— А что говорят о царе? Кто же будет у нас царем?

— Не знаю... Народ оплакивает царя Георгия. Старшие бороды отпустили в знак скорби.

— Что в том?.. Мало надежды!

Вдруг собака, лежавшая у ног Мзаго, снова сорвалась с места и со злобным лаем кинулась к тропинке, по которой легкими шагами спускался Матиа. Тушинская войлочная шапка, чуть сдвинутая на бок, шла к его живому юному лицу, полы чохы были загнуты вверх и подоткнуты углами за широкий ремень, как это обычно делают, когда пускаются в дальнюю дорогу или идут на войну. На поясе красовался довольно большой кинжал, патроны «сасцрапо» и пороховницы по-военному обхва-

тывали его плечи с обеих сторон. Начищенное ружье за плечом сверкало на солнце. Вся стать его выражала храбрость и достоинство. Вооруженный и подтянутый, он шел так смело и так был красив, что даже враг залюбовался бы им и опустил бы нацеленное ружье.

— Матиа, Матиа! — воскликнул Элгуджа, вскакивая навстречу гостю.

Разъяренная овчарка накинулась на юношу.

— Аптара, несчастная, друга не можешь признать! — отогнал ее Элгуджа, и пристыженная собака отошла в сторону, поджав хвост.

— Победа тебе, Элгуджа! — воскликнул Матиа.

— Победа и тебе, Матиа! — приветствовал друга Элгуджа.

Подошла Мзаго и... О, горе! Как только Матиа глянул на нее, побледнел он и зашатался.

— Что с тобой? — поддержал его за плечи Элгуджа.

— Ничего, ничего!.. Голова закружилась... — и Матиа, опустив глаза, тихо приветствовал Мзаго:

— Здравствуй, сестра!

— Ох, горе мне, сердце у меня чуть не разорвалось, глядя на тебя!.. Присядь, присядь, а то свалишься совсем, — озабоченно говорила Мзаго.

— Ничего, пройдет! Видно, солнце чересчур сильно пригрело меня!

— Принеси холодной воды! — обернулся Элгуджа к Мзаго.

— Не тревожьтесь, не хочу, пройдет! — бормотал Матиа, сясь совладать с собой.

Мзаго пошла за водой. Элгуджа и Матиа уселись на камни около шалаша.

— Какие новости в Мтиулети? — начал Элгуджа.

— Новости такие, что война начинается.

— Война? С кем?

— С русским царем!

— Наконец-то! — воскликнул Элгуджа. — Теперь мы посмотрим, кто достоин называться мужчиной.

Страх за любимого сжал сердце Мзаго.

— И ты пойдешь на войну? — робко спросила она.

— А как же! У меня к тому больше причин, чем у всякого другого... Ступай к Харанаули, скажи, чтобы присмотрели за стадом. А я пойду туда, где будут товарищи мои и сверстники...

Мзаго молча встала, молча простилась с Матиа. Слезы за-

ливали ей глаза. Все также молча стала она спускаться к деревне.

Два друга сидели задумавшись.

— Посмотри за стадом, — не выдержал Элгуджа, — забыл я одну вещь домой передать... Сбегаю, может, догоню ее, — смущенно сказал он.

— Хорошо! — коротко ответил Матиа.

Элгуджа быстро догнал жену.

— Калау, подожди, стой!

Мзаго обернулась, взглянула на него с благодарностью.

— Я не спущусь в село, прямо отсюда пойду.

— Опять война, опять убийства! — дрогнувшим голосом проговорила Мзаго.

— Делать нечего, врагу надо ответить по-вражески, насилие надо отразить.

— Спустился бы домой, с детьми попрощался, — сказала Мзаго, — сердце у нее разрывалось от горя.

— Лишняя встреча — лишняя печаль! Что надо детям? Добрые соседи не переведутся в нашем краю, а ты сама, — разве оставишь их без присмотра?..

— О! Что ты говоришь?

— А то, что ты должна дать мне клятву... От смерти никто не защищен... Как знать, вернусь ли, останусь ли жив? Если убьют меня, ты заменишь им отца...

— Пусть свет померкнет в моих очах прежде, чем доживу до того черного дня...

— Кто знает... Мужчина создан для битв, для того, чтобы защищать честь родины, а женщина должна растить детей... По-клянись мне, что выполнишь свой долг, не оставишь детей!

— Тобою клянусь! — прошептала Мзаго, вся в слезах прижавшись к нему. Они постояли молча.

— Ну, довольно, любимая моя! Бог милостив... Опять вместе будем...

Мзаго обняла его. Она беззвучно плакала. Страх, что любовь их может оборваться до срока, мелькнул в душе Элгуджи. Но он напряг свою волю, — долг перед народом, товарищи, Матиа представились ему. «Нельзя быть слабым». Осторожно разомкнул он обнимавшие его руки, заглянул жене в глаза, обнял ее, порывисто поцеловал и быстро пошел обратно.

— Стой, подожди! Я еще не все тебе сказала! — крикнула вдогонку Мзаго, но было уже поздно, — Элгуджа скрылся за холмом. Мохевец спешил к своему побратиму, чтобы вме-

сте с братьями своими единым усилием противостать несправедливости и отразить ее!

На другой день харанаульские юноши приняли стадо.

Элгуджа и Матиа ушли в Мтиулету.

По пути забирали они с собой своих сверстников, таких же самоотверженных, как они сами. И пока дошли до места, набралось их не меньше двух десятков, и каждый из них стоил тысячи бойцов. Они поклялись всегда быть вместе, всегда стоять всем за одного и одному за всех. Иначе и не могли поступать сыны народа, который презрение и ненависть к предателю впитывает с молоком матери, черпает из своих сказаний и песен.

Готовые биться на смерть за справедливость и честь своей родины, шли они к Абдиа, чтобы поручить себя его мудрости.

И в это время явился к ним посланный от Симона. Он разыскал Матиа и передал ему просьбу Симона — собраться у него вместе с Абдиа и другими старейшими.

— Симон человек хороший, он не похож на изменника! — сказали Матиа товарищи, — ты подымись к Абдиа и поступай так, как он скажет тебе. Но все же действуй с оглядкой... Симон состоит на службе у русского царя, получает от него за это деньги, и неровен час...

19

В восьмом часу вечера в Квешети было уже темно, но перед домом Симона роился народ. Во дворе стояли оседланные кони, запряженные арбы.

Симон в служебной форме, вооруженный, взволнованно ходил по комнате. К нему постоянно входили, он отдавал распоряжения, секретные приказания и быстро отпускал посетителей. При этом поминутно осведомлялся, не явились ли те, кого он, как видно, с нетерпением ждал. Наконец, доложили ему, что долгожданный человек пришел.

— Введите его сюда и не пускайте ко мне больше никого, — сказал он.

В комнату вошел Матиа. Он был в полном вооружении, в подобранной по-военному чохе.

— Слава богу! — воскликнул Симон. — Чего добился? Рассказывай скорее!

— Всех повидал, все сказал, как ты велел!

— И как? Что они ответили? Не захотели притти?

— Нет, не захотели! Они говорят, если ты желаешь блага нашему народу, сам придешь к ним.

— Я? — удивился Симон.

— Да, ты должен сам пойти к ним! — подтвердил Матиа.

— Как? И ты тоже так думаешь? Но ведь я сейчас первый человек в горах?

— Абдиа просил тебе передать: на старейшин мтиульцев возложены сейчас такие тяжкие обязанности, что им даже зевнуть некогда, не то, чтобы уходить со своих постов! Если ты что-нибудь доброе придумал для народа и отчизны, то не поленись, мол, спуститься к нам.

Симон задумался. Нелегко ему было решиться в эту пору смут и волнений пойти к восставшим мтиульцам, ему, представителю правительства, и значит человеку, к которому они не могли питать полного доверия. В ту пору достаточно было ничтожного подозрения, чтобы раздраженный народ, не разобравшись до конца в деле, обезглавил человека, как курицу. Жизнь стоила тогда не дороже соломинки. Страх был неведом Симону, но не хотелось погибнуть напрасно, бессмысленно, от руки своих же соплеменников. И семья его могла стать жертвой нелепой ошибки. Однажды и навсегда решил он держаться лишь того пути, который считал спасительным для своего народа. Но что, если его благоразумие и осмотрительность будут поняты ими, как трусость! От одной этой мысли побледнел он, как полотно. Тяжело вздохнул.

— Хорошо, я пойду! — сказал он, наконец.

Он вышел, чтобы приготовить свою семью к отправке в Ларсскую крепость, к правителю Осетии.

Жена Симона даже не посмела спросить его, что происходит вокруг, что ожидает ее. Он прижал ее, бледную и молчаливую, к своей груди. Прощаясь с детьми, он подумал: «Приведется ли вашему отцу когда-нибудь еще обнять вас?» И сердце его залила горечь разлуки. Но долг перед отчизной взял верх над чувством.

— Ступайте, ступайте! Да не оставит вас господь! — и все вышли во двор.

Заскрипели арбы, и отец расстался с семьей. Спокойно вернулся он в свою комнату.

— Я готов! — сказал он Матиа, — идем, выполним наш долг!

Взяв с собой еще одного мтиульца, сели они на коней и

поспешили туда, где ждал их Абдиа, окруженный старейшими и предводителями дружин.

Мало кто надеялся, что Симон-батони, как называли тогда правителя горских племен, обласканный и задаренный царским правительством, сам придет к народу. С тем большей радостью и почтительностью встретили его и ввели к Абдиа.

— Батон Симон! Ты — гость наш дорогой. Ломиси тому свидетель!.. Рад, что вижу тебя в своем доме, — сказал Абдиа с низким поклоном.

— Мтиульцы — храбрый народ, гостеприимный! Для меня честь — гостить у такого хозяина, как ты! — почтительно ответил Симон.

— Вот — мой дом! Входи в него, ты — наш господин, а все мы — рабы твои покорные! — и оба вошли в комнату, где в большом котле на огне приглушенно клокотала варившаяся убоина.

Гость и хозяева сели. Наступило молчание. Все чувствовали какую-то неловкость.

— Абдиа! Я просил тебя пожаловать ко мне, но ты отказался. Видно, не доверяешь мне? — начал Симон.

— Нет, дорогой мой, как могу я не доверять тебе? Ты ведь плоть от плоти и кровь от крови нашей, прославлен ты отвагой и мужеством... Как же не доверять тебе?!

— А почему не пришел?

— А потому, что нам, старейшим, поручил народ командовать дружинами, и мы не вправе покидать наши посты.

— А меня поставили начальником над вами, и если я требовал вас к себе, вам надо было притти!

— Начальником? — гордо возвысил голос Абдиа. — Тебя поставили начальником чужие, а мы, мы избраны своим родным народом... Твои покровители — гости у нас, не нынче-завтра они уйдут, а мы — коренные жители здешние... Наши правители избраны нами самими и являться к тебе не обязаны!

— У мужей — и речь мужественная! Вот и я подчинился решению теми и сам явился к вам!

— Значит и ты наш! — радостно воскликнул Абдиа.

— И в жизни, и в смерти я ваш, — бог свидетель!

— Так и подобает, дорогой ты наш! — Абдиа обнял его дрожащими руками! — Радостно слышать твои слова!

— Но почему же не сообщили вы мне о решениях ваших? Разве не болит у меня сердце за отчизну, разве и я не предви-

жу гибели нашей? Да, я знаю все, но поспешность не поведет к победе.

— Что же ты нам советуешь?

— Сначала расскажите мне подробно о ваших решениях, и тогда поговорим, как братья, посоветуемся друг с другом, как нам быть?

— Я попрошу сюда старейшин, все вместе побеседуем!

Вошли старейшины.

— Нам нечего скрывать от Симона, — сказал один из них. — Положили мы отстоять нашу свободу или погибнуть всем до одного. И тот не грузин, кто не станет в наши ряды. Картли нас поведет, а мы, частица Грузии, не отступимся от нее.

И тогда Абдиа рассказал Симону все, что знал от посланца из Тбилиси, поведал ему и о решении мтиульцев — запретить дороги и не пропускать русское войско.

Глубоко задумался Симон.

— Народ мой! — сказал он, наконец. — Никто из вас, надеюсь, не заподозрит, что Симон боится смерти, что Симон любит себя больше, чем свой народ и свою страну. Клянусь всеми святыми моими, всем, что дорого мне на земле, если для спасения отчизны понадобится мне пожертвовать всей своей семьей, я не пощажу даже ее. Но не в этом вижу я выход. Нам нужно объединиться, собрать все наши силы. Иначе, выступая порознь, мы только обречем людей на верную гибель. Вы вот уверяете, что Картли восстала, а я знаю на верное, что Картли еще не оправилась от опустошительных набегов кизилбашей, от нынешнего неожиданного вторжения, от внутренних раздоров. Она обессилена и оглушена. Никто там не знает, как быть... И даже бодрствующие ни на что не надеются и, притаясь, выжидают...


Все слушали, затаив дыхание. Когда Симон кончил, заговорили все сразу, перебивая друг друга.

— Картли восстала, Картли борется! Мы должны поддерживать ее, не пропускать новых войск, они уничтожат наших братьев.

— Братья, нравится мне ваша самоотверженность! Но давайте сперва проверим слухи, пошлем людей в Картли. Узнаем, что происходит во всей Грузии. Тогда и мы сможем действовать на благо нашей родины.

Слова Симона понравились всем. Однако, Абдиа сказал:

— Правильно говорит Симон. Мы пошлем в Картли на-



ших людей. Но все же нельзя пропускать туда новые войска. Мы запрем их в наших ущельях, не нанося им никакого вреда и будем ждать возвращения посланных.

Все одобрили предложение Абдиа. Поддержал его и Симон. Он взял с собравшихся слово не давать волю своему гневу, пока не вернутся люди из Картли. Но если Картли восстала, то и горские племена пойдут рука об руку с ней!

В тот же вечер было избрано несколько человек, надежных и храбрых, и отправлено в Картли.

Начальники дружин вернулись к своим отрядам, а Симон уехал обратно в Квешети: туда ожидалось новые отряды русских войск, и ему надежало позаботиться об их приеме.

20

Было около десяти часов утра. В Квешети царило тревожное оживление, все обращали взоры к Квешетскому спуску; в те дни частые лавины и обвалы затрудняли обычное движение по этому пути.

Квешетский спуск шел прямо в ущелье от гребня горы, которая тянулась вдоль северной его стороны, защищая село от северных ветров.

На самой верхушке горы появились груженные двухколесные арбы. Они медленно стали спускаться. Волон погоняли солдаты, а впереди ехал верхом на коне офицер. Было очевидно, что мохевские арбы везли вещи армейских частей, но вот что казалось странным: почему не сами мохевцы сопровождают арбы, почему они доверили свою скотину чужим людям? Волю едва волокли непомерную тяжесть.

Одна арба отличалась от всех своим грузом. Взамен грязных мешков и всякой рухляди тряслись на ней привязанные спинами мохевские мужчины. Лица их были покрыты синяками и кровоподтеками от побоев. Глаза затекли.

Арбы спустились в Квешети, стали на поляне близ дома Симона. Офицер явился к начальнику. Он вытянулся перед ним и, взяв под козырек, доложил, что они прибыли благополучно и доставили все вещи в целости.

— Очень рад, очень рад, что благополучно доехали, — сказал Симон.

— Да, ваше высокоблагородие, вполне благополучно! — повторил офицер, снова поднося правую руку к виску. — Хотя мохевцы и вздумали было... так... что-то будто бы вроде восста-

ния... Но, — гордо прибавил он, — я отдал строжайшее распоряжение, и горды рассеялись, как трусливые зайцы.

Тень неудовольствия прошла по лицу Симона, нижняя губа его дрогнула. Молчание Симона офицер понял, как поощрение, и продолжал смелее:

— Несколько главарей я велел арестовать и доставил их сюда. Они должны быть примерно наказаны, чтобы впредь им было неповадно. Полагаю, что всего полезнее было бы их повесить. Это всегда производит сильное впечатление на остальных.

— Я не намерен спрашивать вашего совета в этих делах, — нетерпеливо перебил его Симон. — Я прошу вас выполнить свой долг и сдать мне задержанных. Остальное — дело мое!

Офицер прикусил язык. Он хмуро козырнул и отошел к своим арбам.

Измученные побоями мохевцы не могли сами подняться с арбы.

Симон вспыхнул от гнева, когда глянул на их изуродованные лица.

— Разве так можно поступать? — обернулся он к офицеру. — Своим поступком вы можете вызвать восстание, протест всего народа. Вы несете за это ответственность и заслуживаете порицания.

— Ваше высокоблагородие, я вынужден был так поступить! — оправдывался офицер. — Иначе все вещи и сейчас еще были бы вон за тем хребтом. А, кроме того, грузинам вменяется в обязанность относиться к нам, как к господам своим, с трепетом и преклонением.

— Вы не только бессердечны, но, оказывается, еще и не воспитаны, господин офицер! — гневно сказал Симон. — Я произведу следствие, милостивый государь, и доложу в Тбилиси о ваших незаконных действиях... Вместо того, чтобы привлечь народ на свою сторону, вы всеми мерами стараетесь посеять вражду и раздоры между русскими и грузинами!.. Не думаю, чтобы это отвечало желаниям правительства.

— Я выполнял свой долг, защищая честь русского оружия.

— Ошибаетесь, милостивый государь, ошибаетесь! Беззаконие никому не может быть зачтено в заслугу, не может вызывать к себе уважения!.. Вы только взгляните, что это такое? — указал Симон на мохевцев, едва державшихся на ногах. От побоев одежда на них висела клочьями, из-под лохмотьев зияли кровавые, засоренные пылью раны. Офицер равнодушно зри-

рал на эту страшную картину нечеловеческих мук, словно по добные зрелища были для него привычны.

— А вы? Какая же такая напасть стряслась с вами? — обернулся Симон к мохевцам.

— Мы сами ничего не понимаем, — с трудом заговорил один из избитых мохевцев. — Мы выпрягли скотину у Джварт-Ваке, чтобы ее подкормить, — известно, хоть и скотина, а кормить ее тоже надо, иначе не потащит ноши... А они кинулись к нам, стали нас избивать... Кричали на нас, да мы ведь не понимаем их языка... Ну, а когда очень уж стали напирать... Жизнь-то ведь каждому дорога... Тут мы стали защищаться... Да только разве одному сладить с тысячей?.. Кто сумел, предпочел убежать, чем умирать собачьей смертью, а кто не сумел... вот — мы перед тобою...

— Они выпрягли волов и собирались удрать, — вставил офицер в свое оправдание. — Горцы — тупой и дикий народ, разве им можно верить?

— Во всяком случае больше, чем вам, милостивый государь! — резко оборвал его Симон.

— Нет, ваше...

— Хорошо, довольно! Дознаемся потом. А теперь можете идти к своей части.

Симон распорядился уложить мохевцев и приставить к ним лекаря.

Тем временем на Квешетском спуске показалась русская пехота. Передовой отряд спустился заранее и, раскинув свою кухню на прибрежной лужайке, варил обед.

Когда весь полк спустился в ущелье и разместился, Симон пригласил к себе командира, чтобы оказать ему обычное гостеприимство.

— Я хочу поговорить с вами, — обратился к нему Симон после обеда.

— К вашим услугам! — ответил гость, беспечно откинувшись в кресле.

Командир полка, как и многие русские, впервые вступавшие в Грузию, совершенно не знал обычаев и уклада жизни горских племен. Он был убежден, что грузины — варварский народ, что его можно прибрать к рукам только грубой силой и жестокостью.

— Приступлю прямо к делу... — и Симон предупредил командира, что в народе волнения и опасно продолжать путь, пока не будет восстановлено спокойствие.

— Опасно? — переспросил гость, — не думаю, чтобы кто-нибудь осмелелся преградить мне следование! — самодовольно усмехнулся он.

— Вы не знаете горских племен... Не представляете себе, на какую мужественную борьбу способна эта горсточка людей! — говорил Симон.

— Все это — одно бахвальство и ничего больше, уверяю вас! — коротко оборвал командир.

— Ошибочное мнение изволили себе составить, — продолжал настаивать Симон. В голосе его слышалось раздражение. — Мтиульцы храбры и мужественны, они самоотверженно сражаются, очутившись в беде.

— Я убежден, что нашему оружию ничто не может противостоять.

— А я убежден, что вам придется изменить свое мнение, если вы рискнете продолжать путь.

— Посмотрим, посмотрим... — снова усмехнулся командир.

— Мой долг предупредить вас, а в остальном — воля ваша.

— Не извольте беспокоиться попустому. Я со своим полком пройду через всю Грузию, и никто не посмеет стать мне поперек пути.

Симон боялся, что произойдет стычка между мтиульцами и вновь вступившими войсковыми частями и напрасно прольется кровь. Знал он, что столкновение это не пойдет на пользу народному делу, — пусть бы даже мтиульцы и уничтожили весь этот полк.

Иначе рассуждал командир полка. Он был убежден, что никто не устоит перед его оружием, особенно «глупые, дикие и неразумные мтиульцы», которые вооружены палками, и сам он был бы даже рад маленькой стычке, чтобы выслужиться перед начальством и получить награды.

— Значит вы не хотите послушаться моего совета? — в последний раз спросил Симон.

— Ах, прекратим этот разговор!.. Не стоит.

«Пеняйте на себя!» — подумал Симон и вышел из комнаты. Командир прилег на тахту подремать после обеда. В гостиную вошел давешний офицер и вытянулся в струнку, ожидая, когда генерал разрешит ему изложить причину своего появления. Но командир не торопился. Он продолжал возлежать в приятном забытии. Наконец, он лениво открыл глаза и соизволил снисходительно спросить:

— Как ехали? Ничего не случилось в дороге?



— А робшники немного заупрямились, но я образумил их!

— С ними надо как можно строже, господин офицер, как можно строже, добром ничего не добьешься.

— Я приказал всех высечь, а главарей доставил сюда, привязав их к арбам.

— А этих, главарей, разве вы не высекли? — с живостью спросил командир, словно жалея, что сам упустил такой приятный случай.

— Немного!

— Как немного? Надо было так их выпороть, чтобы на всю жизнь запомнили!

— Я и этим заслужил упрек уездного начальника, ваше превосходительство! — вкрадчиво проговорил изворотливый офицер.

— Что-о-о? — нахмурившись, протянул генерал.

— Начальник уезда сделал мне выговор, ваше превосходительство!

— Как выговор? Выговор моему офицеру?.. Нет, это уже дерзость! Смотрите, пожалуйста! — возмущался командир полка. — А где арестованные?

— Я сдал их начальнику.

— Попросите сейчас же ко мне уездного начальника! — горячился генерал. — Надо арестованных еще дополнительно высечь хорошенько!

Офицер вышел. Долго еще продолжал возмущаться генерал поступком начальника уезда, сонным голосом выкрикивая угрозы, но вскоре его тучным телом овладел сон, и он громко захрапел, бессвязно бормоча: «Моего офицера... офи... офи...»

Вечером у генерала был долгий спор с Симоном, но начальник уезда не выдал на новые муки и без того измученных, еле живых мохевцев.

Наступила ночь и все разошлись на покой. В лагере кое-где тлели догорающие костры. Караульные солдаты подремывали, устав от длинного и трудного перехода. Тишина стояла вокруг. Даже Арагви затихла, словно утомясь, и с глухим рокотом катила волны. Изредка тишину нарушало фыркание лошадей. Наконец, все уснули, все затихло. Но тишину эту пристально стерегли горцы, высланные повстанцами на разведку. Они кружили вокруг лагеря противника, выведывая число солдат

и оружие. Среди этих разведчиков были Элгуджа и Матиа. Скрываясь в лесу позади лагеря, несли они свою службу. Вдруг как-то странно зашуршали листья. Товарищи насторожились. Шум повторился.

— Не вздумай стрелять, — шепнул Элгуджа.

— Нет, конечно! — отозвался Матиа, и оба еще тесней прижались к стволу дерева, чтобы стать совсем невидимыми.

Послышались осторожные шаги, ветки раздвинулись и глазам Элгуджи предстал юноша, почти мальчик, в полном боевом вооружении.

— Ты кто? — преградили ему дорогу два друга.

— К чему вам знать это? — тихим голосом проговорил неизвестный, — я — ваш друг, остальное неважно!

— Откуда ты? Зачем пришел сюда? — строго спросил Элгуджа. Его удивил нежно-мелодический голос неизвестного.

— Пришел, чтоб умереть вместе с вами! — просто ответил мальчик.

— Разве ты знаешь нас? — еще больше удивился Элгуджа.

— То-то и есть, что знаю: ты — Элгуджа, моховец, а он — Матиа, мтиулец!

— Сам ты не моховец ли?

— То-то и есть, что моховец!

— Вот что я тебе скажу! Судьба, видно, гонит тебя на смерть, иначе не пришел бы ты сюда! Возвращайся домой, к родителям, не губи свою жизнь понапрасну, чтобы и нас потом не мучила совесть!

— Куда мне возвращаться? Кто у меня есть?

— Ты сирота?

— Был у меня отец, и они убили его! — он протянул руку в сторону лагеря. — Был брат и, когда он работал на них, снежный обвал задавил его. Один я остался. Так пусть и я умру от их руки, пусть и моей кровью обогрятся они!

— Не бойся, бог милостив! — ободрил его Матиа.

— Может и не убьют, и сумею я отомстить за своих. О-о! Как жадно приникну я к крови врагов!

— Довольно, мальчик! Хотя ты и мальчик, но говоришь по-мужски... Мужчину должен мстить за кровь, и ненависть его к врагу неутомима до конца его дней!

— Клянусь благодатью Ломиси, в первый раз вижу такого мальчика! — восторженно воскликнул мтиулец.

— Хорошо, оставайся с нами, будешь нашим братом третьим! — сказал Элгуджа.

Окончив разведку, все трое возвратились в свой лагерь.

С рассветом русские войска стали готовиться к переходу. Они хотели засветло пройти Пасанаурское ущелье.

К командиру полка непрерывно входили подчиненные и, получив приказ, возвращались на свои места. На лицах у всех была начертана безотчетная тревога. В войске прошел слух, что мтиульцы устроили по пути засаду, и значит стычка с ними не нынче-завтра неизбежна. Тревога солдат еще возросла, когда с восходом солнца увидели они местность, по которой предстояло им продвигаться. Узкая дорога шла среди высоких гор, покрытых густым лесом, — там противник был невидим для них. Страх гибели на чужбине пробуждал в сердцах память о родине, о доме, о семьях, оставленных в далекой стороне. А здесь все вокруг казалось им безрадостным и враждебным, суровая неизвестность подстерегала их. На каждом шагу, за каждым деревом таилась безжалостная смерть, равно беспощадная к юноше и старцу. Они ведь и сами не знали, почему их оторвали от родины, лишили мирной жизни и забросили так далеко — в чуждый им край. Потому шли они с угрюмыми лицами, низко опустив головы.

Ударили в барабаны, затрубили сбор. Симон явился к генералу — напоследок предупредить об опасности, быть-может, подстерегающей их в пути.

— Напрасно вы беспокоитесь, господин начальник уезда! Смею вас заверить, мы спокойно совершим переход, и никто не посмеет потревожить нас.

Генералу подали коня. Он гордо прогарцовал перед солдатами, приготовившимися к выступлению в поход.

— Здорово, ребята! — подбоченившись, приветствовал он своих солдат.

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — дружно отвечали они.

Когда все войско промаршировало мимо генерала, он стегнул коня и проехал вперед. Солдаты пели, стараясь придать себе бодрости, не умея разгадать, по чьей вине подставляют они грудь опасности.

Нежданно появилась на небе черная туча; в воздухе стало душно и жарко, как будто никогда здесь не пробегало даже легчайшее дуновение ветерка. Туча все росла, ширилась, неведомая сила раздувала ее, небо стало свинцовым. Сразу подул ветер, и вихрем закружилась на дороге густая пыль. Листья

зашуршали, могучие деревья зашатались, угрожающе покачивая головами. Но ветер тотчас же затих, и опять налегла на землю тишина, опять стало трудно дышать. Вдруг ударил гром, хлынул частый звонкий дождь и перемешался с взвихренной пылью. Ручейки, бегущие с гор, в одно мгновение превратились в бурные потоки, сметающие все преграды; щебень, камни, огромные деревья, вырываемые с корнями, — все это, крутясь в невероятном месиве, с оглушающим ревом неслось вниз. Подмытые бугры и выступы то и дело со стоном и скрипом сползали в ущелье и залегали поперек реки, мгновенно вздымая густую перемешанную с обломками камней и деревьев бурную топь. И эта вязкая жижа заливала дороги и луга, воздвигая позади себя новые холмы и возвышенности.

Среди войска, выступившего в боевом порядке, нарастала тревога. Трудно стало продвигаться по размытой дороге. Медленно тянулись тяжело груженные арбы, все перемешалось, — верховые, пешие, — все кричали, все распорядились и никто не слушал друг друга, колеса и лошади вязли в грязи. Начало смеркаться, а прошли они всего лишь несколько верст.

Войско вступило в Пасанаурское ущелье, где по обе стороны узенькой дороги, идущей вдоль Арагви, высятся горы, покрытые густым сплошным лесом. Здесь-то и засели мтиульцы в ожидании непрощенных гостей. В самом глухом месте дороги, среди вплотную нависших обрывистых скал, перед войском вдруг выросло искусственное заграждение. Видно было, что это заграждение возведено наспех, и строившие заботились больше о прочности его, чем о красоте. По гребню возвышения расхаживал мтиулец с ружьем наготове, зорко высматривая дорогу. Как только показался головной отряд, мтиулец выстрелил в воздух, давая знак о приближении войска.

В то же мгновение отряды мтиульцев появились над гребнями гор и наставили ружья на дорогу. Войско остановилось. Солдаты в недоумении переговаривались.

Старик-горец выступил из засады и, став на вершине искусственного холма, громко обратился к пришельцам:

— Мы, горцы, решили преградить вам путь. Вы не сможете уйти обратно, потому что мы и позади вас возвели укрепление... Если вы благоразумны, сдайтесь нам!

Офицер, командовавший передовым отрядом, сперва растерялся от неожиданности, но быстро пришел в себя и приказал переводчику сказать, что полком командует генерал и без него он не может принять никакого решения.

— Ступай, передай ему наше слово! — ответил старейший офицер. Офицер повернул коня и поскакал навстречу генералу. Генерал был в плохом расположении духа, его утомила непогода, и он готов был сорвать свою досаду на первой попавшейся жертве.

— Ваше превосходительство, — доложил офицер, — горцы преградили нам дорогу... Невозможно пройти... Я вынужден остановить войска...

— Что? — грозно вскинулся на него генерал. — Вы, верно, выпили лишнее, господин офицер, и вам мерещатся горцы!

— Нет, ваше превосходительство! Я только что сейчас отсюда... Они выстроили укрепления, и весь народ вооружен.

— Вооружен?.. Ха-ха-ха! — расхохотался командир полка. — Да вы и в самом деле пьяны, мой друг! Кто дал оружие грузинам? Зря только беспокоите меня этакой глупостью!

— Разрешите еще раз доложить вам, что все вооружены, и людей много у них! — горячился офицер.

— Я повторяю, что вы пьяны, и все это кажется вам. Я приказываю вам немедленно отправиться к дежурному офицеру, вручить ему свою саблю и передать от моего имени, чтобы он взял вас под арест на трое суток.


— Слушаюсь, ваше превосходительство!

— Трусость не пристала воину! Вместо того, чтобы обрадоваться счастливому случаю и прославить себя храбростью и отвагой, вы от страха потеряли голову и прибежали ко мне!.. Какую-то горсточку горских разбойников вы приняли за целую армию и уже готовы сложить оружие! Ступайте. Я прощаю вам на этот раз, но впредь берегитесь! Взамен ожидаемых на Кавказе чинов и отличий я вас разжалую, и вы останетесь ни с чем. А теперь идите, присмотрите за войском, и если в самом деле какие-нибудь бездельники попытаются на вас напасть, спустите с них шкуру пельями... Но не забудьте, что на первый раз даже при такой стычке надо пустить в ход и конницу и артиллерию... В дальнейшем... Это пригодится для внесения в рапорт... За сегодняшний поход все должны получить награды... Ступайте и в точности выполните мой приказ.

Офицер отдал честь, повернул коня и лихо поскакал к своей части, хотя убежден был, что отдать приказ куда легче, чем выполнить его. Но делать было нечего, — военная дисциплина обязывала к беспрекословному подчинению.

Подъехав к своим, он командовал:

— Стройся, приготовься, вперед!



Солдаты покорно выстроились. Повстанцев поразило это движение: они были уверены в неприступности своих укреплений, и сопротивление казалось им безрассудным.

— Куда они лезут? С ума что ли сошли? — удивленно спрашивали они друг друга.

— Залпом, залпом в них! Медлить незачем! — крикнул старшина, и по ущелью покатился грозный гул выстрелов.

Передний строй противника сразу же поредел и смешался, человек двадцать осталось лежать на земле. Послышались крики, солдаты, бросая оружие, кинулись искать убежища. Но и бегство не спасало их: засевшие в лесу горцы подстерегали их всюду. Стрельба докатилась и до того участка, где был генерал. Только теперь он убедился, что у грузин есть оружие. Солдаты падали вокруг него, подкашиваемые горскими пулями.

— Дьяволы, лешие! Они уничтожат нас начисто, — испуганно кричал генерал. — Назад, назад, отступление! — скомандовал он.

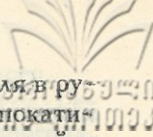
Стремительно повернув коня, он поскакал обратно. За ним последовал его штаб, а оставшаяся без командования пехота в совершенной растерянности металась в узкой расселине дороги.

Между тем у беглецов с каждым шагом росла надежда на спасение. Вот минуют они тот выступ, и тогда можно считать, что спасены, что не попадут в плен к горцам. И вдруг как раз из-за этого выступа грянули выстрелы, и два всадника рядом с генералом свалились на землю. Генерал осадил коня.

— И здесь они дорогу перерезали! Боже, как нам выбраться? — восклицал он.

Теперь генерал окончательно убедился, что глупые и дикие туземцы, — какими он считал всех живущих за Кавказским хребтом, — очень ловко умеют пользоваться случаем и прекрасно владеют оружием. Командир вспомнил слова Симона и горько вздохнул.

Надвигались сумерки, черный покров упал на окрестность. Одинокие выстрелы, сопровождаемые выплеском пламени, еще перекатывались эхом в горах. В одном только месте все еще шел рукопашный бой. Элгудже с товарищами удалось оторвать один отряд от полка, и они, упоенные азартом боя, рубились, как пьяные драконы. Увлеченные борьбой, грозно испытывали они всю силу своих мускулов, всю ловкость ударов. Тут же самоотверженно бился мальчик, присоединившийся к ним в Квешети. Вдруг он замер на месте, вскрикнул и упал, пронзенный штыком. Озверевший враг бросился к нему, чтобы вторым



ударом штыка пригвоздить его к земле, но сверкнула сабля в руках Элгуджи и туловище солдата, рассеченное наискось, покатилося в разные стороны. Матиа, подхватив мальчика одной рукой и держа в другой занесенный кинжал, двинулся вперед, чтобы вынести раненого с поля боя. Другой солдат преградил ему дорогу. И не успел Элгуджа кинуться на помощь, как сам Матиа замахнулся и раскрыл ему череп. С боем пробились они к лесу и скрылись в нем.

Мальчика осторожно положили на сено, развели костер и хотели осмотреть раненого. Но мальчик крепко прижимал руку к груди и ни за что не хотел показать свою рану. Боль как будто немного утихла, и он закрыл глаза. Но скоро снова приподнял отяжелевшие веки, огляделся и остановил взгляд на Матиа.

— Слава богу, тебе лучше? — спросил Матиа.

— Матиа, ты жив? — слабым голосом проговорил мальчик, — хорошо, что хоть вы остались в живых!

— Горе мне! И ты тоже будешь жить, вот теперь тебе уже стало лучше! — утешил товарища Элгуджа, не решаясь посмотреть ему прямо в глаза, — знал он, что рана смертельна.

— Да, мне лучше! Да и чего мне надо? Умру и кончится все.

— Молчи, молчи, ты скоро поправишься, — сказал Матиа.

Раненый взглянул на него, тяжело вздохнул.

— Подойди ко мне, Матиа! — угасающим голосом позвал он. — Дай мне руку... Не поправлюсь я больше... Прощай, Матиа, и ты, Элгуджа...

— Да что ты, что с тобой? Ты будешь жить!.. — воскликнули друзья.

— Нет! — слезы катились по его щекам. — Да и к чему мне жизнь? А ты разве не узнаешь меня? — он устремил взгляд на Матиа. — Я... Я же ведь — Джаджала...

— Джаджала?! — изумленно вскрикнули Матиа и Элгуджа. До сих пор им некогда было попристальнее взглянуть в лицо «мальчика».

— Матиа!.. — продолжала Джаджала, — не суждено мне было жить с тобой, а без тебя жить я не могла... не могла... и вот теперь я умру... Я любила тебя. Но ты любил другую... Как же могла я жить без тебя?

Товарищи смотрели на нее, оцепенев от изумления и горя. — Прощай, Матиа!.. Элгуджа!.. Передай Мзаго при-

вет мой... Скажи, пусть вспоминает меня... Очень я ее любила... — и Джаджала затихла, закрыв глаза. Вдруг она встрепенулась, приподнялась, посмотрела на Матиа долгим взглядом.

— Милый! Поцелуй меня хоть один раз, я умру тогда спокойно... — Она приблизила к себе любимое лицо, залитое слезами, но... руки ее опустились, губы, раскрытые для единственного в жизни желанного поцелуя, дрогнули и замкнулись, еще мгновенье — и смерть согнала улыбку с ее лица, и оно застыло в неподвижности.

А тем временем генерал укрылся в безопасном месте и созвал к себе всех, кто мог подать ему какой-либо совет.

— Почему я не послушался начальника уезда? — упрекал он себя в сотый раз. — Как выйти из этого положения, что делать?

— Продолжать с ними борьбу невозможно, они дерутся, как черти! — сказал один офицер, — и оставаться так тоже нельзя: помимо всего остального, мы погибнем от голода.

Вдруг попросил слова один пожилой офицер.

— Ваше превосходительство! Вызовем сюда переводчика, он может подать нам совет, он знает местные условия!

— Как это я не подумал об этом до сих пор? — воскликнул генерал.

Привели переводчика Гуласпашвили, в эту минуту он представлялся им ангелом-спасителем.

— Мой друг, спаси нас, и я озолочу тебя, на всю жизнь очастливилю.

Переводчик хорошо знал нравы горцев. Он был уверен, что те прекратят враждебные действия, если генерал не нарушит данного слова. Он обещал им поехать к Симону за помощью, но советовал ничего не предпринимать до его возвращения, иначе всем грозит неминуемая гибель.

С этим он и уехал в Квешети. А генерал вознес молитву господа и дал обет поставить в церкви рублевую свечу, если гибель минует его.

К рассвету гонец достиг того места, где горцы возвели заграждение с северной стороны. Тихо и мирно было вокруг. Изъезженная, утоптанная дорога, словно износившись от времени, углубилась, обрывисто нависала над нею отвесные края ее

русла. Широкие, раскидистые ветви густолиственного орешника по обеим сторонам дороги сходились над нею природным шатром. Стволы деревьев, от самых подножий повитые плющом, тянулись сплошной живой изгородью, даря путнику летом тень и прохладу, а зимой — защиту от бури и снега.

Только конский топот нарушал разлитую вокруг тишину. Вдруг листья дрогнули, зашуршали, и чья-то рука схватила гонца за шиворот. Он придержал коня.

— Кто ты? — раздался грозный окрик.

— Я — посланец, — спокойно ответил путник, — однако, отпусти мою шею, а то получается, что ты шутить не умеешь!

— Это мы еще проверим! — сердито проворчал горец. И, ставив гонца с коня, он окликнул товарищей.

— Вы меня к вашему главному поведите, тогда все сразу узнаете.

После короткого допроса посланца отпустили с миром. Не долго пришлось ему ехать. Вскоре повстречался ему Симон, который, узнав о столкновении горцев с русскими войсками, поспешно выехал на место.

— Я к тебе, наш господин! — еще издали закричал гонец, — солдат побили.

— Значит произошла стычка? — придержал коня Симон.

— Да, кровь лилась рекой!.. Им невозможно двинуться ни вперед, ни назад.

— А как генерал?

— Генерал, известно, сперва хорохорился, ну, а теперь раскис, дрожит от страха, как осиновый лист. Оказалось, что легче хвататься, чем дела делать, мой дорогой! — лукаво добавил гонец.

— Боже, каким людям поручается судьба людей и целой страны? — огорченно проговорил правитель, — а много погибло?

— Много, очень много! По всей дороге валяются убитые.

— Опять кровь... напрасно пролитая! Разве могут сопротивляться одни мтиульцы и мохевцы? А Картли молчит, словно спит мертвым сном!... — с горечью произнес Симон, трогая коня.

Они спешили к лагерю русских. По пути Симон всех спрашивал о сражении. Доехали до того места, где выставлен был дозор.

В роце гудел народ. Симон соскочил с коня.

— Вы обещали мне, — с укором обратился он к горцам, — что не тронете русского войска, пока не вернутся послы из Карт-

ли. Мтиульцы всегда были хозяевами своего слова. Почему же изменили себе?

— Мы не виноваты, господин, они хотели силой пройти...
Нельзя было обойтись без оружия...

— Как же помочь теперь делу? Людей побили напрасно, войска русских против себя озлобили...

— Разве были они когда-нибудь нашими друзьями? — сказал один из мтиульцев. — Да и почему напрасно? Они за людей нас не считали, будто мы в платках бабьих ходим, а мы их встретили, как мужчины, в шапках. Впредь будут осторожней с нами, не дело целый народ попирать пятой, — мы тоже православные, тем же миром помазаны.

— Все это верно, но пока враг сильнее тебя, не годится дразнить его понапрасну, — ответил Симон.

— Что могут они с нами сделать хуже того, что сделали?.. И нож у них в руках, и шея наша им подставлена...

— Мужчина должен уметь терпеть, выжидать свой час... Вот видите, к чему привело не во-время начатое дело? В Картли арестовали всех восставших и теперь некому даже за вдов и сирот заступиться...¹ Нет, надо мириться с судьбой, иначе плохо нам будет.

— Правду ты говоришь, но невозможно нам примириться с ними, пока не вернутся посланцы из Картли!

Вдруг в середину толпы вошел мтиулец и остановился, тяжело дыша.

— Где ваши старейшие? — спросил он, низко опустив голову.

— Мы здесь! — слышались голоса.

— Меня к вам прислал Абдиа!

— С чем прислал, какие вести?

— Вернулись из Картли наши люди... Грузия спокойна, — упавшим голосом сказал гонец, срывая шапку с головы.

Спустилась свиная тишина. Все, застыв, стояли безмолвно. Всем словно судорога сдавила горло. А гонец не смел говорить дальше, чувствуя, как тяжело слушать его весть. Могильным камнем легла она на все сердца. Тбилиси, их надежда Тбилиси, душа Грузии, молчит, безмолвствует в такие дни, а что могут сделать одни мтиульцы?

— Братья! Когда над волом топор занесен, тут уж медлить не стоит. — сказал кто-то наконец, — пусть рассказывает дальше.

¹ См. Матер. для новой истор. Кавказа II. Г. Буткова, СПб. 1869 г. Прим. автора.

— Пусть, пусть рассказывает! — подхватили остальные. Гонец бросил шапку и посох на землю, опустился на одно колено.

— Наши царевичи Юлон и Парнаоз собрали своих сторонников, чтобы изгнать русских из Грузии. Но в смутное время не бывает единства. Они враждовали друг с другом. А тут еще переехали в Имеретию. Там Юлона арестовали, а Парнаоз убежал... Народ не успел еще притти в себя, не успел разобраться в этих делах... Все молчат, все притаились... Абдиа просил нам передать, что теперь ни к чему наша борьба, и лучше нам разойтись по домам.

— А как Тбилиси? Тоже молчит? — спросил кто-то с робкой надеждой.

— Что Тбилиси? Он мирно принял русские войска и спокойно слушает их «рай, рай, рата-тай»!

Симон стоял бледный, он весь дрожал.

— Больше ничего не передавал нам Абдиа? — спросил он гонца.

— Нет, он просил всех разойтись по домам.

— Нет, братья! — сказал один из старейшин, — мы сами, главари, пойдем к Абдиа, посоветуемся с ним, а пока не следует расходиться.

— Пойдем, пойдем! — подхватили остальные, цепляясь за последнюю надежду.

— Главари! — воскликнул Симон, — ступайте к Абдиа, обсудите все, подумайте... Он не подаст вам праздного совета. И скажите ему, что я сам еду к русским начальникам и прошу до моего возвращения ничего не предпринимать... Ни воевать, ни расходиться по домам не следует!

Совет этот понравился всем. Симон поехал в русский лагерь.

Генерал, несколько часов тому назад не желавший слушать Симона, встретил его теперь с подобострастной радостью.

— Ах, милостивый государь мой Симон! Желанный гость наш! Боже мой, не знаю, как вас благодарить! — суетился он.

— Меня благодарить не за что, — прервал его излишняя Симон, — я только выполняю свой долг...

— Нет, нет! Это больше, чем долг, это доброта ваша безмерная, человеколюбие!.. Помогите нам, господин Симон, выручите...

— Зачем вы довели до этого? Не послушались меня?

— Кто мог знать? Я бы ни шагу без вашего совета...

— Для этого знания не нужны, надо только уметь дове-

олять человеку... Вы не оказали мне этого доверия,—упрекнул генерала Симон,—наш народ чистосердечен и прямодушен... Да, однажды слово, он будет верен до последнего вздоха, не изменит, если не вынудят его!

— Не знал, не знал я этого! — генерал схватился за голову. — Ради бога, простите меня великодушно!

— Передо мною извиняться незначем. Я только сожалею, что напрасно погибли люди. Сердиться на вас я не имею права... А теперь я пойду, постараюсь сделать все возможное, чтобы благополучно вывести отсюда оставшееся войско. Однако, и вы должны выполнить одно условие, должны обещать мне...

— Приказывайте!

— Вы должны помиловать людей, не притеснять их впредь, не мстить им...

— О-о! Обещаю, даю слово офицера...

Симон прервал его и протянул ему руку.

— Для меня... достаточно хотя бы слова честного человека! — спокойно сказал он.

Генерал покраснел и закашлялся.

— Даю слово честного человека не притеснять здешний народ, оказывать ему помощь.

— Спасибо! — все также спокойно ответил горец.

Симон рассказал генералу о волнениях в Грузии, о несправедливостях, чинимых приезжими царскими чиновниками в горской стране. Не скрыл он и того, что живущие вдоль дороги мтиульцы и мохевцы больше всех общаются с русскими войсками, что молва о русских полках расходится по всей Грузии через мтиульцев и мохевцев. Симон раз'яснил генералу, что именно они оказывают бесценные услуги русскому войску по пути его продвижения в Грузию, принимают солдат к себе на постой, доставляют дрова, перевозят поклажу.

— Повадки местного зайца лучше всех знает местная гончая, ваше превосходительство! — закончил Симон. — Если народ этот снимется со своего места и уйдет с гор, другие ничего здесь не смогут поделывать... Здесь даже при обыкновенном тумане чужой человек побоится переступить за порог своего дома. А мтиульцы привычны к своей суровой природе. Их надо ценить в этих местах.

— Представьте, а я и не знал, что горцы нам могут когда-нибудь понадобиться! — удивлялся генерал.

— Горские племена не требовательны. Человеческим отношением к ним и справедливостью можно покорить их навсегда.

да. А такой вот поступок, какой совершил один из ваших офицеров, может навсегда отвратить их от вас и сделать их вашими врагами.

— Вы правы, совершенно правы!

— Ваш офицер обошелся бесчеловечно, несправедливо и немилосердно с аробщиками, а вы даже не подвергли его взысканию... Разумеется, поощренный вами, он в будущем совершит еще не одну ошибку и причинит вам не одну неприятность.

— В самом деле, я и позабыл о нем вовсе! — засуетился командир. — Позовите ко мне дежурного офицера! — крикнул он.

— Господин капитан! — обратился он к вошедшему офицеру, — распорядитесь назначить следствие по делу офицера, который обошелся так несправедливо с аробщиками, перевозившими наш обоз. Доложите мне подробно обо всем, а пока возьмите офицера под стражу. Как можно строже поведите дознание! — крикнул он вдогонку дежурному офицеру, который, отковыряв, повернулся к выходу.

— Вы довольны? — обернулся он к Симону.

— Извините, ваше превосходительство! Наказание офицера не составляло моей цели. Наоборот, если мою жалобу вы считаете неосновательной, прошу вас отменить свое распоряжение.


— Ах, зачем вы изволите так говорить? Как может быть ваша жалоба неосновательной!

Симон попрощался с генералом и поехал к Абдиа — прямо в горы.

По приезде туда Симон сразу же узнал, что жители Хеви вместе с санибскими осетинами заперли проход через Ларское ущелье, перебили много русских и не пропускают их дальше, ожидая вестей от мтиульцев.

Симон вызвал представителей Хеви, повел с ними разговор о бедствиях Грузии. Черной, угрюмой тучей залегла в его сердце дума о судьбе Грузии, и безрадостна была его речь. Страну, обескровленную вечными опустошительными вторжениями иноземцев, терзают ныне изнуряющие междоусобицы и раздоры. Народ без пастыря своего мечется, как заблудившееся в дремучем лесу стадо овец, и не знает, куда ему податься, люди топчут друг друга, думая обрести в этом свое спасение.

— А теперь замолкнем и мы, братья, замкнемся в себе, — закончил он, — мы утратили дар понимать друг друга, страна наша обессилена, она тяжело больна. Но настанет время, ту-



ча рассеется, солнце выглянет снова, изменятся времена, и тогда брат признает брата, и обратят они усилия против общего врага и примут, признают общих своих друзей. Теперь разойдемся по домам... Настала для нас пора скорби, так поскорбим же каждый в своем углу...

— Да, надо нам разойтись, иного нет выхода!.. — с горечью сказал Абдиа.

— Надо так расхотиться, чтобы русское начальство истолковало это как дружеское примирение с ним. В нашем бедствии — это не позор! — прибавил Симон. — Прощайте, братья!

Безмолвно стояли люди. Потом стали медленно расходиться. Один Абдиа продолжал сидеть неподвижно. Трудно ему было проститься с прошлой славой и свободой своего народа. Мрачно глядел он на дорогу, на которой в последний раз довелось ему увидеть сверкание грузинского меча, поднятого на защиту своей собственной воли. Вдруг послышались звуки рога. Мтиулец вздрогнул, сердце его сильно забилося, словно влекомое в бой. Он посмотрел вперед: развернутые знамена победителей медленно колыхались, ласкаемые душистым веянием гор. Озноб охватил его тело, вся кровь отлила от лица, низко опустил он голову. С тихой печалью произнес:

«О, сердце, закаленное в огне!
Внимаю скорбно жалобам твоим!
Уж лучше бы сокровища свои
Заранее ты роздало другим!»

23

Совсем мало времени прошло после этих событий, а русское самодержавие уже успело обосноваться в Грузии, гости превратились в хозяев и стали распоряжаться на свой лад.

Те, что болели за дело народное, были частью арестованы, частью рассеялись по стране, а оставшиеся на месте запуганные одиночки сидели по своим углам и, глубоко затаив свое горе, безнадежно взирали на новые порядки. Ни смеха, ни веселья, ни многолюдных престольных празднеств, — все это было позабыто; а единственная забота, сковавшая все помыслы людей, ни в чем не находила себе исхода.

Симон вернулся домой и снова приступил к своим делам. Эгуджа сперва поселился в доме Харанаули, где оставалась Мзаго с детьми. Но он вскоре затосковал по родным местам. Он все еще не мог вернуться к себе, хотя кровная месть от ру-

ки Симона не угрожала ему. Симон относился к нему скорее дружелюбно, чем враждебно, но, по суждению народа и по обычаю гор, Элгудже все-таки не следовало попадаться ему на глаза. Элгуджа, сам человек гор, хорошо понимал все это и в знак благодарности держался в стороне, избегал Симона. Но с неодолимой силой манил его родной Кинвари. И вот однажды связал он свое нехитрое имущество, забрал семью и спустился в свои края. Он устроился на жительство поблизости от своей деревни, на холме, откуда видна была его брошенная хижина. Снова ходил он охотиться в свои горы, по своим родным местам, где каждый камень напоминал ему невозвратимые дни юности. Но спуститься в родную деревню он пока еще не решался.

Был темный холодный вечер. Деревья заиндевели, мороз одел белым саваном горы. В доме Симона было необычно многолюдно и шумно. Сам хозяин, тяжело больной, лежал в постели. То и дело входили в ворота посетители. По обычаю гор каждый приносил больному какой-нибудь гостинец; кто кувшинчик домашней водки, кто курицу и яйца, кто свинину и хабизгини.

Гости Симона были в большинстве пожилые, поседевшие, очень почтенные люди. Они осведомлялись о его здоровье, рассказывали разные истории, чтобы отвлечь больного от тяжелых дум, и уходили опечаленные. В большом камине ярко полыхал огонь, трещал и гудел. Жена Симона молчаливо стояла у изголовья постели, не смея, по принятому в горах обычаю, выказывать свою нежность и любовь к супругу, и тревога за него омрачала ее лицо. Дети, погодки четырнадцати и тринадцати лет, прислуживали гостям, потчивали их домашней аракой.

У постели больного сидел старик Гинджа. Его длинная седая борода пожелтела от времени. Прославленный в горах певец, слагатель мудрых и вдохновенных песен, — был он не меньше искусен в беседе, весел, остер на язык. Его любили и уважали в горах.

Задумчиво и печально смотрел Симон на окружающих. Взгляд его остановился на детях. А Гинджа в это мгновение вполголоса напевал под приглушенный рокот пандури:

«Знал я бедность и сиротство
На тропе своей земной.
Лучше бедность, чем сиротство:
Тяжело быть сиротой!»...

Струны замерли, и молчание осенило дом. Каждый ушел в свои мысли.

— Сиротство... Тяжело быть сиротой! — прошептал Симон, и слезы навернулись ему на глаза.

— Горе мне! — упрекнул его Гинджа. — Разве так можно?.. Тогда я совсем перестану играть и напевать.

— Нет, Гинджа! Играй, играй!.. Я не боюсь смерти. Видит бог, только этих вот ребят мне жалко. Трудно сиротам!.. А врагов у меня много...

— У мужчин никогда не переведутся враги. Бог дарует нам жизнь, он и заступник наш! — утешил его Гинджа.

— Сам-то я ничего не боюсь, да только как бы маленьких моих без меня не обидели!

— И об этом не тревожься!.. Мать у них надежная, сумеет защитить их от бед. Да и теми наш велик, да и соседи твои не уроды... Приглядят, присмотрят!

— Теми, говоришь?.. — грустно усмехнулся Симон. — Хорошо, кабы у нашего теми прежняя сила была! Но, увы... «Мы уже не то, что были, — тем не будем, что мы есть», — произнес Симон строчку стиха, — трудно будет женщине одной!

— Не думай ты об этом, — прервал его Гинджа, — ты лучше сделай одно доброе дело, во имя детей своих.

— Какое доброе дело?.. Говори!

Гинджа глянул на него просиявшими глазами, ласково улыбнулся, заломил шапку.

«Старший, с просьбой приходящий,

Для любого сердца свят.

Если ж кто нарушит клятву, —

Будет пламенем об'ят!» —

шутливо обратился он со стихами к Симону.

Улыбнулся и Симон, оживился и, напрягши память и силы, ответил стихами:

«Гинджа! Вот тебе мой кубок!

Кто дороже мне? Никто!

Все клянусь исполнить просьбы, —

Будь их сто и трижды сто!»

— Слушаю твою просьбу! — сказал он.

— Вот спасибо тебе, мой дорогой, что уважил меня!.. Святой Георгий да будет заступником вам обоим, — помирись ты с Элгуджей!.. Не сгоняй его с земли дедов и прадедов его, сделай это во здравие детей своих.

— Я не враждую с ним... Ведь я же подчинился решению
теми...

— Но совет теми не мог выказать мягкосердечия. Он судил по законам нашим... И чего судья не может простить, то да простит человек!

— Да, но мы ведь не боги, а люди живые, Гинджа!

— Прости ему во здравие наших детей, примиись с ним! — тихо и почтительно сказала жена Симона.

— Да, надо простить, Симон, надо примириться с ним! — повторили все в один голос, вставая со своих мест.

— Глас народа—глас божий!—сказал Симон, помолчав. — Вы все хотите этого, — подчиняюсь вашей воле!

Всех обрадовало согласие Симона.

— Тогда приведите его! — сказал Гинджа. — Медлить нечего!.. Хозяюшка! А ты должна усыновить его! — обернулся он к Кетеване.

— Воля ваша! — ответила жена Симона.

Один из старцев пошел за Элгуджей, и вскоре вернулся вместе с ним.

Жену Симона, Кетевану, усадили в треножное деревянное резное кресло, и женщины окружили ее. Обнажили ей правую грудь. Элгуджа подошел к ней, опустил на колени и, трижды коснувшись зубами ее соска, произнес:

— Ты — моя мать, а я — сын твой, ты — мать, а я — сын, ты — мать, а я — сын!

Все благоговейно смотрели на этот обряд, крестились и возносили молитвы за вновь породнившихся.

— Элгуджа! — обратилась Кетевана к усыновленному, — отныне ты — сын мой, плоть от плоти и кровь от крови моей!

Она обняла и поцеловала его. Потом подвела к постели мужа:

— Вот, привела к тебе сына, благослови его!

Симон посмотрел на Элгуджу долгим взглядом. Слезы навернулись ему на глаза. Он положил ему на лоб свою разгоряченную ладонь и благословил его. Сколько волнующих мыслей пронеслось в это мгновение в голове Симона!

— Элгуджа! — произнес он слабым голосом, — отныне ты — сын мне, и всякий, кто обидит тебя, обидит и меня, кто нанесет боль тебе, нанесет и мне боль, кто ранит тебя, ранит и меня! Отныне ты — из рода моего, и предавший тебя предаст и меня!

— Аминь! — произнесли присутствующие.

— Я завещаю и вам, — обратился он ко всем, — бласти мое желание, ибо я выполнял всегда волю народную. Я был облечен властью и мог по своему призыву, ради собственного блага принести в жертву сотни жизней... Мог укоротить дни Элгуджи, погубить его, но теми указал мне свою волю, и я склонил колени перед его решением...

— Да, да, он прав и правду говорит! Слушайте его! — раздались голоса.

— Мне мало осталось жить, — продолжал больной после короткой передышки, — запомните то, что я скажу вам: сила — в единении, а сила — это счастье... Элгуджа! — перевел он взгляд на усыновленного, — все имущество твое: пашни, покосы с пастбищами и родниками, с холмами и долинами, все это передано мне волею теми...

— На здоровье тебе и на пользу, как молоко материнское! — пылко воскликнул Элгуджа.

— Нет, Элгуджа! Не надо мне этого. Если даже ты и виновен, то дети твои не при чем. Но и покойника из моего рода я не могу оставить без mzды. Я сохранию себе твой покос, прогалину меж лесами. Ты знаешь, что только название тому месту — покос, а на самом деле ничего там нет, кроме щепня да булыжников, и потеря для тебя невелика. Остальное все возвращаю тебе, на благо детям твоим!..

Вдруг послышался шум, дверь резко распахнулась, в комнату вошли вооруженные казаки. Впереди выступал их начальник в военной форме.

Все расступились, чтобы пропустить офицера. Он был среднего роста, худой, сутулый. Выпуклый, бугристый лоб и густые лохматые брови нависали над лицом, придавая ему злобное выражение. Длинный, кривой нос, с крючковатым концом, тонкие сжатые губы, как бы пытающиеся улыбнуться, но не умеющие утаить яд злости; темно-желтая обтянутая кожа на лице местами уродливо морщилась, выдавая взбалмошный и раздражительный нрав. Несдержанность, жестокость и чванливость выражал весь облик человека, которому надлежало заменить в горах Симона.

— По распоряжению высшей власти я назначен правителем гор на ваше место... Сегодня же должны вы сдать мне дела, и я произведу расследование о некоторых незаконных ваших действиях. Надеюсь, мне не придется прибегнуть к наси-

лию, и вы беспрекословно выполните мои требования! — резко сказал он больному.

— Вы напрасно беспокоитесь, — ответил Симон, — я подчиняюсь распоряжению высшего начальства... К тому же я давно этого ждал... Только, прошу вас, дайте мне срок до завтра, сегодня я очень слаб.

— Я не могу входить в это, — надменно прервал его начальник, — и должен сегодня же приступить к расследованию. Я хочу задать вам всего лишь несколько вопросов об обстоятельствах гибели, по вашей вине, наших верных людей при переходе через Пасанаурское ущелье, в результате нападения на них горцев.

— По моей вине? — переспросил больной, и еще сильнее засверкал его лихорадочно-горящий взгляд.

— Да, по вашей вине... Это уже доказано, и вы не сможете отрицать, и сам его превосходительство командир полка утверждает то же самое.

— Командир полка? — вскинулся Симон.

— Да, командир полка. И я сам за короткий срок успел убедиться в правдивости его слов...

— Тот самый человек, который клялся верой и правдой, что по приезде в Тбилиси сделает все возможное для облегчения участи горцев, для смягчения их страданий, будет ходатайствовать перед властями? Это он занимается доносами?.. Простите меня, я не знаю, что и думать?..

— Так вы значит утверждаете, что горцев мучают, что надо облегчить их участь? — спросил новый начальник.

— Да, с ними обращаются жестоко, несправедливо, и каждый честный человек обязан заступаться за них.

— И вы значит заступаетесь за них?

— Я уже сказал, что это долг каждого честного человека.

Новый начальник обернулся к писарю, который тут же на столе разложил бумаги и ждал распоряжения.

— Запишите: сам начальник уезда публично признает, что горцы в бедственном положении, что их мучают и обращаются с ними бесчеловечно.

Писарь выполнил приказ начальника.

— Вы, разумеется, считаете своим долгом заступаться за народ? — снова обратился к Симону новый уездный начальник.

— Да, считаю своим долгом.

— И... вероятно, заступаетесь?

— Да... Но, к сожалению, у меня меньше прав, чем желания им помочь.

— Запишите и это, — обратился допрашивающий к писарю.

— Кроме того, вы должны назвать мне главарей восстания, — снова приступил он к допросу, — их приказано задержать и препроводить в город.

Стрелой впились эти слова в сердце Симона. В одно мгновение пронеслись перед его мысленным взором все страдания и ужасы, на которые хотели обречь его братьев, честных тружеников с их семьями. О, в какие безжалостные, корыстные руки попала судьба народа! Ему захотелось крикнуть, что жители гор честные, чистые люди, что их долг повелевает им защищать свою родину и ее независимость, — но... посмотрел на своего противника, и только стон вырвался из его груди... Он преодолел свою слабость и, собрав последние силы, протянул с мольбой руки к допрашивающему.

— Не за себя хочу я просить вас! Но жаль людей безвинных! Окажите человеколюбие, не будьте жестоки к ним! Обо мне записывайте все, что хотите, поступайте со мною, как вам выгоднее, но только их оставьте в покое, оставьте, а то... а то... — и Симон, потеряв сознание, откинулся на подушку.

— Воды, воды! — закричал начальник, словно испугавшись своей собственной бесчеловечности.

В комнату вбежала жена Симона. Все окружили больного, стали приводить его в чувство.

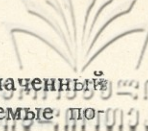
— Из уважения к вам я откладываю допрос до завтра! — и, чопорно шаркнув ногой перед супругой Симона, начальник вышел из комнаты.

Симон пришел в себя только затем, чтобы проститься со своим народом, прижать к груди детей своих и жену и благословить их...

24

На следующее утро разнеслась в горах печальная весть о смерти Симона. Отовсюду двинулся народ, — мужчины и женщины, старые и молодые, все устремились на похороны и каждый нес свою долю пожертвования, чтобы, по обычаю гор, отдать последний долг покойнику. Похороны такого большого человека в горах, каким был Симон, не могли дешево обойтись его родным, и потому все старались им помочь.

Целым селом или каждый порознь пригоняли убоину —



быков, овец без числа, несли масло, сыр. Вновь назначенный уездный начальник, видя сочувствие и почет, оказываемые покойнику народом, решил на время остаться в тени, отложить на несколько дней свои распоряжения; он боялся вызвать недовольство и навлечь на себя месть народную.

Покойника обмыли, убрали в лучшие одежды, положили на носилки. Родственники и близкие с трех сторон окружили покойника, стоя так, чтобы между ними и носилками мог пройти человек. Больше всего было женщин. Они сняли платки, распустили волосы и, загнув рукава, приготовились оплакивать усопшего.

На открытом длинном балконе собирались непрерывно подходившие женщины.

У входа они выстраивались одна за другой. Впереди шла самая пожилая из них. Негромко и скорбно она еще с порога начинала голосить, восклицая «дадай» и ударяя себя ладонями по щекам. Остальные вторили ей и медленными шагами входили в дом. Стоящие вокруг покойника отвечали им возгласом «адай» и тоже били себя ладонями. И эти скорбные возгласы и звуки ударов по щекам длились до тех пор, пока вошедшие, очень медленными шагами, трижды не обходили покойника. Пока одни женщины исполняли обряд, другие собирались на галерее, чтобы сменить их.

Семь дней длилось оплакивание. В доме шли приготовления к погребению, к поминкам. Время от времени, когда галерея ненадолго пустела, какая-нибудь из постоянно оставшихся в доме пожилых женщин выступала вперед, брала ружье с груди покойника и, опершись на него, принималась в стихах восхвалять умершего, повествуя о его жизни. Плакальщицы вторили ей хоровым плачем.

Все деяния усопшего, все заслуги его перед людьми и родной рассказывались в этом плаче, пробуждая в слушателях благоговейную благодарность.

Но рядом с его именем упоминались также имена тех, кто когда-либо оказал услугу своему народу, пожертвовал собой ради него и тем прославил свое имя. И когда плакальщица кончала свой рассказ, она подходила к покойнику, клала обратно ружье со словами: «Мир тебе и долгоденствие оставшимся в живых», и потом поднималась новая плакальщица. Так узнавал народ имена своих героев, и история их деяний переходила из уст в уста, от поколения к поколению.

Одна из плакальщиц заканчивала свой плач, когда со двора донесся стон пандури и послышалось чье-то скорбное дыхание.

— Эгуджа идет, Эгуджа! — прошептали все, затаив дыхание.

На пороге появился мужчина, по львиному гневный и иступленный. Грива его буйно и беспорядочно спуталась, застежки пооборвались, грудь обнажилась. Страшно было смотреть на его мужественное скорбное лицо, залитое слезами.

Эгуджа держал в руках пандури и перебирал струны дрожащими пальцами. Он вышел на середину, остановился и обвел взглядом окружающих. Так глубоко была тоска в его глазах, что все почитительно умолкли, и наступила тишина.

Мохевец ударил по струнам, ударил еще раз, и в воздухе задрожали стонущие звуки. Он крепко прикусил губы и беззвучно заплакал. Глядя на него, плакали все.

Мохевец снова ударил по струнам и стал нараспев причитать:

«О, горе! Доблесть наша!

Ушел ты, канул в прах.

В груди вскипает горечь,

Молчанье — на устах.

Ушла от нас отвага,

Наш недруг злобно рад.

Реки, и той не слышно

От вопля наших стад!»

Он отшвырнул пандури, устремил на покойника долгий взгляд, и слезы снова покатались из его глаз. Еще сказал он что-то горестное, потом, махнув рукой, воскликнул:

— Увы, лживый и превратный мир!

Подошли юноши и со словами: «Довольно слез, Эгуджа!» вывели его на балкон, усадили на длинную перекладину и подали чубук:

— Покури, покури, одурманишься немного и легче станет!

На балконе родня покойника угощала гостей аракой. В воротах появился юноша и предупредил:

— Гости идут, гости!

Хозяева и кое-кто из старших спустились с балкона и вышли за ворота. Старцы с посохами в руках медленно шествовали в ряд. Когда гости и встречавшие их подошли друг к другу близко, все остановилось и долго молчали, опершись на палки и низко опустив головы. Каждая сторона почитательно

ждала другую, уступала слово другой. Наконец, один из гостей поднял голову и проникновенно сказал:

— Меня бы лучше прибрал господь, Датука, — меня! Как тяжело слышать, что надежду и опору Хеви должна поглотить черная земля...

— На все воля божья, Торгвай!.. Что же делать? — ответил старший с хозяйской стороны. — Лишь бы жить вам долгие годы, а от смерти никому не уйти!

— Верно говоришь ты, Датука! Твоими устами бог глаголет! Умер у нас хороший человек, но «умирает лучший из лучших, и лучшие же вырастают вновь»...

— Без этого пропали бы мы, Торгвай! Спасибо, что провели вы нас. Приведи нам господь сойтись на свадьбе, на празднике... Входите, входите, вы с дальней дороги, верно устали!

Все поднялись на балкон, зажгли трубки и повели беседу.

Заботу о гостях, прибывших с утра и к вечеру изрядно уставших, взяли на себя соседи, потому что в доме Симона все были заняты приготовлением ко дню похорон.

Вдруг до собравшихся во дворе донеслись какие-то странные звуки, и все устремились туда, откуда слышался сухой, размеренный треск.

— С плетью идут, с плетью! — шопотом передавали друг другу.

Женщины вышли навстречу юношам, стоящим в ряд у порога.

— Авай! — со скорбным стоном воскликнула одна из них.

— Ав-дадай! — откликнулись ей родственники покойника.

Юноши медленно двинулись вперед. Лево́й рукой они прикрывали лоб, в правой держали плети, нарочно изготовленные для этого скорбного дня. Каждый замахивался через голову этой плетью и тонкая деревянная наощенная пластинка больно стегала шею. При возгласах «Ав-дадай» они размеренно повторяли удары. На шеях потрескалась кожа, и кровь сочилась из ран. Женщины, шедшие следом за ними, при каждом ударе плетью били себя ладонями по щекам. Так прошли они трижды вокруг усопшего, потом отшвырнули в сторону плети, все разом вздохнули «вай» и, ударив себя в грудь кулаком, быстро вышли из комнаты.

Матра, прибывший из Мтиулети, горючими слезами оплакивал своего побратима.

Всю неделю длилось оплакивание Симона. В день похорон зарезали множество баранов, вокруг накрытых для поминок столов вилась детвора в ожидании лакомо́й еды.

Вынесли покойника, оплакали его в последний раз, обвели вокруг него задом наперед оседланного коня, и сердце, когда-то горячо бившееся, предало холодной земле.

Овдовевшая Кетевана, еще нестарая, полная жизни женщина, облачилась в глубокий траур по своему любимому супругу. С тревогой думала она о судьбе своих детей, осиротевших в такое смутное время. Добросердечные, отзывчивые соседи помогали ей во всем. Мзаго постоянно хлопотала по хозяйству в ее доме. Зато начальник не давал ей покоя, требуя от нее все новых и новых показаний, и это особенно огорчало горянку, потому что трудно ей было сейчас принимать чужого мужчину и беседовать с ним. Элгуджа и Матиа каждый день приходили в дом Симона и всячески помогали его семье. Так проходили их дни, и хотя все чувствовали горечь утраты Симона, — мало-помалу привыкали жить без него.

25

Был вечер. В очаге у Элгуджи трепетал огонь, мягко озаряя стены. Над очагом висел на цепи котел, комнату наполнял аромат варившегося ужина. Хозяин дома и Матиа, мирно беседуя, сидели у огня. Они говорили о несправедливостях и притеснениях, чинимых новым начальником уезда. Для того, чтобы выслужиться и добиться чинов и медалей, он не щадил никого. Подбирался он и к Элгудже, ожидая больших для себя выгод, если сумеет его зацапать. При Симоне правительство не считало возможным арестовать горца.

— Завтра надо сделать первый выстрел!¹ — сказал Элгуджа.

— Верно, друг! Пора! — отозвался Матиа. — Охотники заскучали, да и на селе как-то без этого невесело.

— Охотники и без того заскучали!.. Вон какая зима!.. Зверь от снегов вниз сбежал.

Дверь приоткрылась. Стряхивая с ног снег, вошла Мзаго.

— Пришла? — спросил Элгуджа.

— Да, пришла

— Почему опоздала?

¹ В селе, где лежал покойник, в знак траура никто не может стрелять до тех пор, пока его родственники не сделают почин «За упокой его души», т. е. не устроят стрельбы в цель. Примечание автора.

— Симонова «женщина» не отпускала меня. Так жалко ее, больно смотреть. Глаза не просыхают, — все плачет, бедная.

— Да и что удивительного, горе-то у нее какое! — заметил Матиа.

Мзаго стала прибирать посуду на полке.

— Дай поесть чего-нибудь! — сказал Элгуджа, — а то опоздаю я, надо по делу выйти.

— Нынче ночью хочешь итти? — спросил Матиа, побледнев.

— Да, придется сейчас же отправиться, мы людей со Снос-Цхали позабыли на «упокой души» пригласить, могут обидеться на нас. Я ведь просил поскорее дать поужинать! — Элгуджа с удивлением взглянул на Мзаго, — никогда раньше не приходилось ему повторять просьбу.

— Сейчас, сейчас! — очнулась и засуетилась Мзаго. Она быстро накрыла на стол.

Матиа был задумчив, рассеянно молчал.

— Вот что, Элгуджа, я сам пойду на Снос-Цхали! — вдруг сказал он.

— Горе мне, что это ты выдумал? Гостя по делу послать, а самому сидеть дома! Да какими глазами я потом гляну на мир! — удивился Элгуджа. — Или ты хочешь ославить меня? — прибавил он.

— Почему ославить? Разве я гость? Твой дом — мой дом. Что-то тоскливо у меня на душе, пройдуся, рассеюся!

— Нет, нет, Матиа! Да ты и не знаешь, к кому надо зйти, кого позвать.

Мзаго укрепила на каменном выступе лучину, и лицо Матиа вдруг осветилось. Он был бледен, губы у него дрожали. Он быстро отвернулся от света.

Элгуджа это заметил.

— Матиа, ты чего нахмурился?..

— Сам не знаю! — дрожащим голосом пробормотал Матиа.

— Не заболел ли ты? Дрожишь как-будто...

— Холодно что-то, знобит.

— Калау, дай-ка кожух, прикрой его, — обернулся Элгуджа к Мзаго.

— Не беспокойся, не надо! — но он все-таки взял кожух, прикрылся, низко нахлобучил шапку на глаза.

— Арака есть у нас? — спросил Элгуджа и, когда Мзаго подала кувшинчик, поставил его перед огнем и сказал: — Вы-

пей немного, согреешься, пропотеешь. Я пойду, а то поздно будет.

— Пойду и я с тобой! — поднялся Матиа, но Мохевец удержал его.

— Ты что? Обидеть меня хочешь? Постель ему стели, да потеплее, — сказал он жене, — плохо, когда стужа разберет человека... Ну, прощай, Матиа!

Мохевец схватил ружье и шагнул к двери. Жена проводила его с лучиной на балкон. Элгуджа вдруг обернулся, крепко обнял Мзаго, притянул ее к себе, поцеловал несколько раз. Мзаго зарделась, быстро вернулась в дом, заперла дверь на засов и села у очага на свое место.

Матиа поглядел исподлобья на Мзаго, заметил, что лицо ее все лучится от счастья, и тяжело вздохнул. Долго сидели они, не произнося ни слова, словно сердились друг на друга. Как ястреб на перепелку, смотрел на женщину одержимый страстью горец. Женщина чувствовала на себе этот взгляд и, низко опустив голову, притаилась, не смела пошевелиться от страха. Иногда Матиа как-будто собирался ей что-то сказать, но дыхание перехватывало, и не было слов. Иногда ветер врывался порывами в хижину и шевелил пламя лучины. Вдруг он дохнул с такой силой, что лучина упала на пол и погасла. Оба испуганно вскочили. Руки их встретились. Матиа вырвал у Мзаго лучину, швырнул в огонь. Потеряв всякую власть над собой, он обхватил и притянул к себе Мзаго, кинулся иступленно ее целовать.

— Что ты делаешь? — вскрикнула Мзаго и рванулась из его объятий.

— Ты должна стать моей, только тебя одну я хочу! — шептал Матиа, задыхаясь, теряя рассудок.

Брошенная в огонь лучина вспыхнула ярким пламенем, — увидел Матиа откинутое назад лицо Мзаго, ее распустившиеся косы, широкие от страха глаза, и бешеная, долго сдерживаемая страсть с еще большей силой охватила его.

— Ты моя, моя! — и он впился в ее горячие губы.

— Бесстыжий! Нет для тебя ни родства, ни побратимства!

— Нет! Ничего нет, кроме тебя! Тебя одну люблю, тебя хочу!

— Но я тебя не хочу, я ненавижу, презираю тебя! — крикнула она.

Матиа отшатнулся, как ужаленный. Он корчился от боли.

— Его любишь, одного его, один только он может быть счастлив с тобой!

— Да, его одного люблю, один только он — мой, счастливый! Уйди от меня! — голос Мзаго звенел ненавистью.

Мтиулец с силой оттолкнул ее от себя.

— Значит, он должен умереть! — произнес Матиа с яростью зверя, почуявшего запах крови.

— Матиа, что ты сказал? — воскликнула Мзаго.

— Ты лишила меня рассудка! Нельзя нам жить вместе!

— Боже мой, почему? Разве я не люблю тебя?

— Ты меня любишь?.. — надежда мелькнула в глазах у Матиа, и он протянул руки к Мзаго.

— Ты — брат мой, и я люблю тебя, как брата!

— Я опять ошибся! Тогда — вот! — Матиа поднял лежавший у очага колун, — ударь меня и прикончи сразу.

— Что ты? — в страхе отступила Мзаго.

— Ударь, говорю! — обезумев бормотал Матиа. — Если хочешь спасти Элгуджу, — убей меня, не выпускай отсюда живым! — он протянул топор дрожащей рукой.

— Горе мне! Умоляю тебя, Матиа!

— Скорей, скорей! — торопил ее Матиа.

Шум за дверью избавил женщину от мучений.

— Элгуджа! — радостно вскрикнула Мзаго, кинувшись к двери. Матиа преградил ей дорогу.

— Постой! На! — и он снова протянул ей топор.

— Пусти, дай открыть дверь!

— Убей меня!

— Нет!.. Пусти!..

— Так ты не хочешь? Грех — на тебе! — Матиа отшвырнул топор и, обнажив кинжал, бросился к двери.

Мзаго вскрикнула и упала на пол, как мертвая.

26

Дверь распахнулась, и Матиа отступил назад. Вооруженные казаки стояли перед ним. Они ворвались в дом.

— Ты Элгуджа? — спросил старший.

— Нет. Я не Элгуджа! — Матиа не выпускал из рук обнаженного кинжала.

Казаки взяли ружья на изготовку и обступили его.

— Убери кинжал! — приказал старший.

— Кинжал? — с горькой усмешкой переспросил Матиа и низко надвинул на глаза папаху. — А почему?

— Я приказываю! Следуй за нами! — повторил старший.

— Куда мне следовать? Я не Элгуджа. Чего вам от меня надо?

— Ты трус, скрываешь свое имя! Мы заберем тебя силой! — пригрозил старший.

Вдруг Мзаго кинулась с мольбой ему в ноги. Он небрежно ее оттолкнул.

— Уйди! С бабой нам не о чем разговаривать!.. — крикнул он на нее. — Взять под стражу этого человека! — приказал он казакам.

Но мтиалец подскочил к стене, сорвал с нее ружье и, отбежав в угол за корзину, приготовился к обороне. Казаки двинулись на него.

— Стойте! — воскликнул Матиа. — Клянусь Ломиси, живым я не сдамся!

Старший рассвирепел, но не решился стрелять, ему хотелось забрать Элгуджу живым.

— Хорошо! — сказал он с угрозой. — Тогда забирайте женщину.

Казаки кинулись к Мзаго. Она в ужасе жалась к стене, кричала, отбивалась. Они силой вытащили ее во двор.

Матиа выстрелил, выскочил из засады и бросился вслед за казаками, размахивая кинжалом. Сперва они растерялись, но вскоре опомнились, окружили его и стали избивать шашками. Матиа не сдавался. Раздались выстрелы. Матиа был весь в крови, но не замечал этого. Он неотступно видел Мзаго, которую тащили казаки, и жаждал отомстить за поруганную честь женщины. Он не помнил больше ни о чем. Он отбивался, наносил раны врагам, но вместе с кровью терял силы. Вот опустился он на колени, рука его дрожала, еще мгновение и он пал бездыханный... С радостными криками окружили его казаки и еще раз испробовали остроту своих сабель на теле мертвого горца.

Элгуджа возвращался из соседней деревни, когда услышал ружейные выстрелы. Он ускорил шаг, побежал. Навстречу ему выслали из деревни мальчика предупредить, что за ним пришли казаки.

Он побежал еще быстрее.

— Не ходи, несчастный! Разве можно сладить со столькими врагами? Обойдем их иначе! — остановили его соседи.

Но никого не послушался Элгуджа.

— Брата моего убили, я должен мстить! — твердил он. Убьют — и пускай; один раз родиться, один раз и умирать!

Всегда осторожный и осмотрительный, Элгуджа словно обезумел: он был одержим всепоглощающей жаждой мести за убийство гостя своего и побратима.

Элгуджа подбежал к дому как раз в то мгновение, когда один из казаков издевался над трупом Матиа. Элгуджа схватил его за шиворот и повернул к себе лицом.

— Собака, ты ко мне повернись! — И он вонзил ему в грудь кинжал по самую рукоять. Казак рухнул на землю.

— Это первый, Матиа! — воскликнул Элгуджа, — ты будь покоен, еще многие пойдут за тобой.

И он ринулся на казаков.

Они заметили горца только тогда, когда многие уже свалились на землю. Они не могли вообразить, что один человек посмеет так, очертя голову, ворваться в гущу целого отряда, и потому сперва испугались.

Но когда выплыл из-за туч месяц и осветил место побоища, казаки увидели, что рубится так храбро один лишь Элгуджа. Они спохватились и окружили его. Элгуджа хотел пробиться, но казаки с обнаженными саблями стояли вокруг. Мгновение они глядели друг на друга, мерили друг друга взглядом. Моховец напрягся весь, прыгнул как барс на врагов, но успел лишь замахнуться кинжалом. Сильным ударом сабли ему раскроили череп и он свалился рядом с Матиа.

— Ты не можешь упрекнуть меня, Матиа! Я не оставил тебя одного... Мзаго... Дети мои!.. — прошептал Элгуджа и навеки закрыл глаза.

Прошли годы. В Грузии утвердилась новая власть со своими законами. Народ смирился, зажил новой жизнью, как бы отдыхающая от изнурительной многовековой борьбы.

Забыты были многие прежние обычаи и нравы, без которых раньше, казалось, нельзя было существовать. Были забыты и герои этой повести.

Власти приступили к разбору многочисленных споров, возникших в связи с упразднением крепостного права. Помещики старались записать в свои реестры как можно больше крепостных людей, присвоить как можно больше земель, и ловко преуспевали в этом.

Однажды к сыну Симона, одного из героев повести, при-
были в гости чиновники, которым было поручено произвести
камеральную опись крепостных и государственных крестьян.

По этому случаю в доме гостеприимного грузинского феода-
ла был, разумеется, задан богатый ужин, обильно поливаем-
ый добрым кахетинским вином.

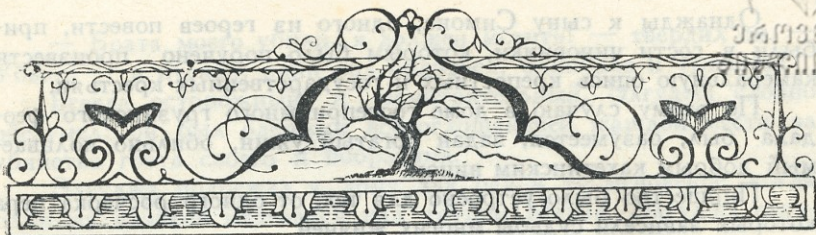
Пиршество было устроено для тех, от одного росчерка пера
которых зависели судьбы многих жизней.

Крестьяне, лишенные всяких средств к существованию,
расставшись со своим помещиком, искали убежища у какого-
нибудь другого могучего феодала, закабались к нему в новую
зависимость.

Чиновник окончил свою работу. Если бы вы поинтересова-
лись содержанием его тетради, в списке новых рабов феодала
вы бы прочитали: «Мзаго Наскидашвили со своими двумя
детьми»...

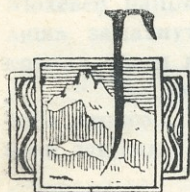
Да, Мзаго с детьми сделалась собственностью феодала.
Народ в Грузии снова устремил взоры на будущее, в ожи-
дании новых громовых ударов свободы.






Пастырь

1



удамакарское ущелье, как бы с умыслом разрубив главный нерв Кавказского хребта, врезается в него тесной ложбиной. Ураганы и ливни изрыли его, и все оно завалено крупной галькой и огромными валунами, сползающими с гор. Дремучий, темный лес, заросший непроходимым кустарником и густо перевитый плющом, с обеих сторон сбегает по склонам. Трудно пробраться там человеку! А высокая скала, такая высокая, что глазом ее не достать, гордо и грозно висит над окрестностью, замыкая устье ущелья неприступной стеной. Места эти кажутся с первого взгляда столь мрачными и унылыми, что как-то невольно, без всякой причины, делается тоскливо на сердце. Неизменно сумрачный Бурсачирский утес никогда не расстается с туманами и скрывает от глаз даже ту единственную тропинку, которую ветры и метели проторили к нему, — высокомерно и злобно глядит он вниз, угрожая всякому, кто дерзнет приблизиться. Сырость и туман непрестанно разедают вершину скалы, и частые обвалы щедро рассеивают смерть, губя людей



и скот. Тревожно замирает душа, когда глядишь снизу вверх на этот кряж. Но зато с высоты перевала перед глазами вдруг распаивается пленительный кругозор. Широкая, благоухающая травами и цветами ложбина, небольшое плато и разубранная, как невеста, лужайка, — все зовет и манит к себе. Опьяняет ласково-влажный ветерок; сверкающей змейкой вьется ручей, сладостно убаюкивая слух.

Бурсачирская ложбина — истинный рай, здесь раскрывается замкнутое сердце человека, умеряется горе, смягчается грусть. Редкий путник минует ее, не сделав хотя бы минутного привала, не повалывшись на ее мураве, не забывшись в сладкой истоме ее очарований.

Бурсачирскую ложбину надо видеть летом, чтобы почувствовать во всей полноте отрадность горной природы, неистощимую прелесть ее. Чудесные видения реют над головой, когда покоишься на лоне ее бархатно зеленеющих отрогов, овеваемых пьянящим ароматом цветов.

Вдоль ложбины вздымаются огромные, до небес, горы, оберегая ее от ноги недостойного.

Вот какова стоянка пастухов снойских и гудамакарских ущелий; сердца этих людей бьются в лад с природой, плоть их и кровь одушевлены любовью к этим священным местам...

Стояло лето. В Бурсачирской ложбине паслись бесчисленные стада овец. Для подоя отар пастухи привезли сюда своих жен, — надо было заготовить на зиму побольше сыра и масла.

Обласканные самою природой, жизнелюбивые горцы всецело предавались радостям жизни, неустанно наслаждались красотой мира. Сытые овцы, пофыркивая, резвились по склонам. Пробужденные к жизни цветы уклонялись от солнечных лучей; пчелы яростно носились над красавицами полей, и легкий ветер ласкал их, порхая; пламенеющее небо обливало золотом плечи горских богатырей. Вновь завязавшиеся бутоны еще только едва отогнули края зеленых своих покрывал, — оттуда стыдливо улыбались их лица. Кругом, на всех вершинах, примостились пастухи, приветствуя зарю песнями или прощаясь с лучами заходящего солнца. Женщины ходили сюда собирать ягоды, и нередко пронзали пастухов быстрые стрелы их черных, сверкающих глаз. Весело распевая, спускались они за водой.

«Весна, это — жизнь сама!»

Все движется, радостно сознавая, что живет; повсюду — сладкое беспокойство и буйная неутомимость — неизменные спутники жизни!.. Сочетание грустной неги и неясных порывов

расцветивало жизнь, наполняя все души счастливой надеждой!

Томительно билось сердце каждой черноокой, согретой лаской смуглого юноши, и у каждого смуглого юноши томительно обмирало сердце. Уста напевали, ладоши отбивали плясовую, сердца трепетали, играя. И все это сливалось с необъятным праздничным ликованием природы.

От этой всеобъемлющей гармонии отделилась одна девушка редкой красоты, сиротливо бродила она в стороне от всех. Не было ей места ни среди женщин, ни среди сверстников и друзей, ни в человеческом жилище, ни в овечьем загоне. Днем она пряталась в скалах, стыдясь показаться на людях в своих лохмотьях. И лишь в те часы, когда уставшие от трудов, побежденные дневной истомой люди отдавались отдыху, она, ночная гостя, выходила из своего убежища на лунный свет, как лесной зверь. Подобно отверженному духу, бродила она по полям, вдоль реки и, чуждая солнцу, купалась в лунных лучах.

Девушке едва минуло восемнадцать лет, и была она в той поре, когда ни одна живая душа в горах не остается без друга. А она всегда бродила одна, совсем одна, без пути, без дороги. С молодостью сочетались в ней красота и стройность. Она, как горный цветок, могла бы быть окружена поклонением гордых юношей, и каждый из них с готовностью, не рассуждая, сложил бы к ее ногам и все свое добро, и жизнь свою, и даже тысячу своих жизней, — за один взгляд ее бархатистых черных глаз с легкой поволокой грусти. И все же не было никого, кто бы заботился о ней, кто бы опекал, оберегал ее. И никто не знал, чем она кормится, как сохраняет жизнь в слабом теле.

Вот выглянул месяц и, когда во всех жилищах уснули и даже лай собак приумолк, девушка вышла из пещеры, изнуренная, скорбная, робкая, как ночной призрак. С дико спутанными волосами, с безысходной печалью на лице, в лохмотьях, едва прикрывавших тело, — она была похожа на лесную волшебницу.

Девушка огляделась по сторонам, глубоко вздохнула и пошла к ручью. Она наклонилась над струями, освежила лицо пригоршней холодной воды. Потом села на берегу и стала глядеть на залитые лунным светом горы.

«Мир мгновенный! Провиденьем

Ты украшен и храним!

Если ласков ты с одними,

Отчего суров к другим?..» —

скорбно произнесла она и задумалась. Какие виденья прошлого вставали перед ней, чего еще ждала она от живого, преврат-

ного мира?.. Всякое воспоминание о прошлом обжигало, испепеляло ее, терзало ей сердце, заливало слезами ее лицо. И вот девушка заплакала навзрыд, громко запричитала, и казалось, что камни расплавятся от ее слез, горе затопит всю землю.

— Горемычная! Совсем ты ослепнешь от слез! — проговорил кто-то за ее спиной.

Девушка вздрогнула и обернулась.

Она увидела высокую, немолодую женщину с открытым и добрым лицом. Женщина опиралась на палку, на ее поясе висел кинжал, большой пес стоял рядом с ней.

— Не вставай ты, сиди, сиди!.. И я передохну немного. А то мне ведь в гору итти...

Она села, сняла со спины бурдюк, достала оттуда хлеб, сыр, кусок мяса и положила все это перед девушкой. Та безучастно глядела на нее, ни до чего не дотрагиваясь.

— Возьми, калау, несчастная, возьми! Поешь немного, а то истаяла ты вся, умрешь и нечистому душу отдашь!

— Пусть бог осенит тебя благодатью своей... Твоим милосердием кормлюсь! — молвила девушка. — Покончить с собой не хочу. А так — все равно мне, что жить, что умереть! Смерть мне дала бы покой, — добавила она.

— Помолчи, не гневи бога! Лучше поешь чего-нибудь.

— Не хочется пока.

— Ты плачешь дни и ночи. На вот, промой глаза, освежи лицо, — женщина зачерпнула воды деревянной миской и протянула девушке, — испей водицы, от сердца отляжет, и есть тогда захочется.

Пока девушка послушно умывалась, женщина разрешила ножичком мясо на тонкие куски.

— И я поем с тобой, — не ужинала еще. Ты посмотри, какая грудинка! — и она протянула девушке кусок мяса.

Та взяла и нехотя стала жевать.

— Горько мне! — сказала она, отпив глоток воды из миски.

— А ты посмотри, как я ем! — И женщина так ретиво набросилась на еду, будто и вправду целую неделю куска в рот не брала. — Хоть один кусочек насильно проглоти, а потом и самой захочется!

Девушка, поборов себя, проглотила кусочек мяса и, в самом деле, почувствовала вдруг такой голод, что молча и жадно принялась за еду. Женщина, боясь ее спугнуть, тоже не проронила ни слова за трапезой. Когда обе угодили голод, старшая сказала:

— Девушка, пойдем ко мне, — переночуешь в моем жилище.
— Не могу я! — у девушки дрогнул голос, глаза снова заволоклись слезами.

— А почему, почему не можешь?

— Потому что... — и она быстро зашептала: — Знаю, ты не выдашь меня, не оставишь без милости своей... Я отрешена от теми...

— Отрешена! — воскликнула женщина, невольно отшатнувшись от нее, как от нечистой. Некоторое время она молчала, не находя слов, и глядела на девушку так пристально, словно увидела ее впервые.

— Почему? — отрывисто спросила она, наконец.

— Потому, что... Нет, ты добрая, не заставляй меня говорить!

— Чья ты, из какого рода?

— А к чему тебе это?

— Ни к чему... Я так просто спросила! А как тебя зовут? Или это тоже тайна?

— Нет, не тайна. Только поклянись никому не рассказывать, что видела меня!

— Детьми своими клянусь.

— Маквала — мое имя.

— Маквала! — воскликнула женщина, побледнев. — Знаю я, знаю, кто ты... Даю обет перед богом, что не выдам тебя... Доверься мне, дочка, иди жить к нам в дом. Именем святого Гиваргия клянусь, я сумею тебя так охранить, что луч солнца тебя не разыщет, ветерок не посмеет коснуться тебя.

— Нет, милая... Не хочу я, чтоб стала ты соучастницей моей несчастной доли.

— Как могу я стать соучастницей?.. Все семейство мое — сын один, он не пойдет против меня. Ну, а если кто и проведаст, на то воля господня, есть у нас бараны, пожертвуем ими, лишь бы достойными хозяевами быть для тебя.

— Благослови тебя господь! Сердце мое смягчилось от твоих слов, душа отдохнула, — ответила Маквала. — Сказали надо мной: «Да свершится!..» Прокляли меня и предадут анафеме каждого, кто руку помощи мне протянет... Тяжкое бремя — проклятье общины!.. Вот я рассказала тебе обо всем, теперь ты можешь отвернуться от меня, если хочешь...

Женщина задумалась; трудно было ей разобраться в услышанном. Человек, выросший в горах, одинаково верит и в силу проклятья, и в силу благословения, для него глас народа —

глас божий, и вдруг — такое испытание! До сих пор она не знала, кому протягивает кусок хлеба, перед нею было бесприютное, безутешное создание, погибающее от нужды, взывающее о помощи. А теперь? Теперь ей известно, что та, кого она обогрела своей лаской, изгнана из теми, проклята людьми. И проклятие обращено не только на эту несчастную, но и на каждого, кто ей предложит напиток, кто накормит ее.

В душе женщины шла борьба, борьба между жалостью к погибающей жизни и верой в то, что решение теми неизбежно, и каждый отвечает за него перед всеми. Трудно было одинокой вдове Джатия Облисашвили, известной по всему Гудамакари своей добротой и милосердием, решить эту глубокую душевную задачу. Пастырь считал ее лучшей христианкой в Хеви, ее христианская самоотверженность была поистине глубока.

— Ну, что ж, Маквалаиси! — сказала наконец Джатия, — все люди грешны, один бог без греха... Не могу я отвернуться от христианской души, это мне не под силу. Пойдем!

— О, горе мне! Да разве могу я показаться среди людей? — с горечью воскликнула девушка. — Нет! Маквала умерла для людей. Маквалы больше нет на свете!

— Да и звери тебя тут растерзают. Как же ты так останешься? Пока-то еще ничего, скот здесь пасется, да и сама я здесь, не оставляю тебя, как не предаю господа бога моего, не будет у тебя недостатка в еде. А зимою? Что ты станешь делать зимою? Стада отсюда угонят, ты останешься одна...

— Богу известно, что будет со мной, — ответила девушка, — человеку ли противостоять его воле?

Как ни старалась Джатия, все было напрасно. Маквала стояла на своем: не могла она вернуться к людям, навеки покрывшим ее позором.

Так прошло лето. Джатия все меньше и меньше верила в то, что обреченье человека на такую страшную жизнь угодно богу, однако, она не смела роптать и на теми, строгого охранителя людских нравов. Не было у нее в сердце решения; вправе ли она протягивать руку помощи страждущей, отверженной людьми. И потому каждый раз, идя к Маквале, она осеяла себя крестным знамением и шептала молитву:

— Господи, сердце велит мне быть милосердной к ней, и если я совершаю прегрешение, — прости меня!

Лето миновало. Поблекли зеленые одежды природы. Подул северный ветер, поникли чашечки цветов, трава повяла и смялась, птицы потянулись в теплые края, и не слышно стало ласточкиного щелбета. Радостно улыбавшееся небо стало свинцово-серым, нахмурилось и готовилось разразиться слезами. Притихли откормленные за лето, налившиеся здоровьем стада, и воздух не оглашался больше веселым бляением овец. Редко, редко налетали друг на друга бараны—для того только, чтобы согреть застывшую кровь. А пастухи старательно кутались в бурки, с неохотой подставляя холоду свои хмурые лица. В ложбине клочьями залег туман, и от этого все кругом стало еще безотрадней. Все загрустило, замкнулись все сердца. Воздух налился сыростью, отяжелел и приглушил веселый рокот горной речки. Ночи стали долгими, зверь напирал на стада и собаки теряли покой. Иногда ненадолго распогодится, прозрачно засветлеет воздух, а через мгновение—все закружится, смешается, поднимутся, словно из-под земли клочья тумана и поползут к горным вершинам, то протягиваясь вдаль, как копыта сатаны, то угрюмо застывая в вышине. Или вдруг пыль налетит, бешено взовьется, закружится. Завывая, сшибаются встречные ветры и, как два удалых витязя, вступают в самозабвенный бой. Над землей носится свист незнающего усталости ветра, и чудится, будто хохот злого духа вторит ему. Скалы раскалываются, с грохотом оползают вниз. Вороны, предвестники непогоды, нагоняли тоску на сердце своим зловещим карканьем. И вся благодатная ласковая природа превратилась вдруг в содом, куда слетелись со всего света силы нечистые и справляли свой шабаш, и кружились в адском весельи.

Стада снялись и двинулись сначала в свои деревни, с тем, чтобы переочевать потом на зиму в более теплые места. Пастухи старались обогнать друг друга, — никому не хотелось долго задерживаться в тесном и трудном проходе Бурсачирского ущелья. А зима надвигалась, густой туман ни на мгновение не покидал оголившихся склонов, непрестанно носилась пороша, грозя разразиться снежной бурей. Ушли все стада. Одна только Джатия не торопилась, — она снялась последней. Когда отаратронулась в путь, Джатия взвалила на спину бурдюк с припасами и сказала сыну:

— Вы идите, а я вас догоню еще до Бурсачирского прохода.

— Будет тебе, мать, вместе пойдём! — заботливо сказал сын, — к чему задерживаться, что ты здесь потеряла?

— Твое дело молчать! — оборвала его Джатия. — Сама без тебя знаю, что потеряла, ты лучше за барантой присмотри!

— Одна пойдешь через эти гиблые места, боюсь за тебя.

— Нечего бояться!

— Давай, и я с тобой останусь, потом вместе уйдем! — не унимался сын.

— Это зачем же тебе оставаться здесь? — насмешливо подбоченилась мать.

— Кто знает, может от зверя тебя защищу.

— О!.. — улыбнулась Джатия, схватившись за рукоять своего кинжала, — пусть позор покроет мою седину, если не смогу связать зараз семерых таких, как ты!

Тогда улыбнулся и сын.

— Это ты теперь так говоришь. А посмотрел бы я на тебя, как станешь удирать, если случится какая беда... — пробормотал он, немного робея.

— Кто? Я? — надвинулась на него мать. — А-ну, держись, трусишка! — крикнула она, и, подставив сыну подножку, одним толчком опрокинула его на землю.

— Бедняга, а еще хвалился! — шутливо прибавила она, помогая ему подняться.

— Мокро, потому и поскользнулся, — смущенно оправдывался сын. Его поборола женщина, — пусть и родная мать.

— Скажи на милость, где же сухие места для тебя прикажешь искать? — насмешливо оборвала его Джатия, но тут же прибавила ласково: — Ну, хорошо, ступай, а то я опаздываю.

Сын двинулся за стадом, а мать свернула с дороги в сторону и пошла по усеянному щебнем склону.

Джатия не нашла девушки на обычном месте. Маквала, как видно, оставила свою лачугу.

— Горемычная! Не выдержала холодов, ушла куда-то! — печально проговорила Джатия.

Она уже собиралась повернуть обратно, но вдруг догадка осенила ее, и она сказала громко:

— А, может, и не уходила она никуда, только от меня спряталась. Эти припасы я принесла для нее, пусть они здесь и останутся; свеча господня, говорят, всегда проторит себе дорогу.

Она сняла со спины бурдюк и положила его в лачуге. Потом долго ходила вокруг, искала, звала Маквалу, но той нигде не было.

День клонился к вечеру, пошел снег. Джатии пора было уходить.

— Боже милостивый, триединый! Святой Георгий и Солнцеликая, осените несчастную Маквалу своей благодатью, не дайте ей погибнуть! — горячо помолилась она.

И двинулась торопливо к Бурсачирской горе.

Как только Джатия ушла, Маквала высунула голову из-за каменистого холма и стала пристально глядеть вслед удалявшейся женщине. Она спряталась нарочно от доброй своей кровительницы, чтобы не поддаться ее уговорам, не уйти с ней и не обременить ее. И теперь стояла она, обреченная на смерть: последняя надежда уходила от нее. Ее посиневшие губы были плотно сжаты, словно сдерживали рвавшийся из груди вопль. Скорбные глаза впилась в удалявшегося от нее, единственного на свете друга, и с каждым шагом уходившей Джатии она приподнималась из своей засады все выше и выше, точно ее кто-то тянул веревкой за шею. Одной рукой Маквала схватилась за сердце с такой силой, что расцарапала себе ногтями грудь: она как-будто хотела умерить удары сердца, не дать ему выскочить из своего гнезда. Глаза, обведенные синевою, глубоко впади. волосы развевались, высоко взметаясь над головой.

Вдруг яростно дунул ветер, нагнал клубы тумана, и непроницаемая пелена сразу и навсегда скрыла Джатию от взоров Маквалы. Девушка схватилась за горло. Словно кто-то сдавил его жесткой рукой, ее волосы вздыбились, шурша, кровь ударила в голову, она потеряла сознание, пошатнулась, упала. Но скоро очнулась. Горячие слезы залили лицо.

— Ушла, исчезла!.. И вместе с нею исчезла надежда моя на жизнь! — тихо сказала она. И отчаяние с новой силой овладело ею, она колотилась головой о камни.

Но горе изнурило ее, она постепенно слабела и наконец затихла. Слишком много бед обрушилось на нее, слишком много слез она пролила, слишком сильный огонь опалил, испепелил ей душу, чувства ее притупились. Она медленно поплелась к своей лачуге, чтобы укрыться хотя бы от ветра, безжалостно рвавшего ее лохмотья, чтобы хоть немного умерить боль своего полуобнаженного тела.

Несколько дней она не выходила из своего укрытия. Но еда кончилась, а морозы становились все крепче. Зима начинала лютовать. Маквала стала испытывать страшные страдания. И неожиданно в ней проснулась жажда жизни, ей захотелось

спастись. В Хеве и Мтиулети ей нельзя было идти, там никто не посмел бы принять ее, отрешенную от теми.

Ей оставалось искать спасения только в Картли, где могла приютить какая-нибудь добрая семья, а она трудом и старанием окупила бы свой хлеб до конца дней своих.

И она пустилась в путь. Трудно было идти среди наметенных ураганом сугробов. Впереди, весь укутанный туманом, как саваном, грозно преграждал ей путь Бурсачирский утес; над головой ее каркали вороны, провожая несчастную на неизбежную гибель. Но страх смерти удесятерил ее силы, желание во что бы то ни стало спастись придавало ей мужество и выносливость, и она отчаянно боролась за жизнь.

Маквала устала, она слабела с каждым шагом, но все шла и шла и достигла, наконец, Бурсачирской теснины. Еще совсем немного, и она одолеет эту последнюю преграду и будет спасена! Но внезапно налетел сокрушительный ветер, завыл, загудел и ударил ей в лицо колючим снегом. У девушки перехватило дыхание, потемнело в глазах. Небо нависло низко, низко. Стало темно. Оглушительный гул прошел по горам. Наметенные вихрем сугробы, не успев пристынуть к голым скалам, стремительно понеслись в пропасть. Женщина укрылась за выступом скалы, чтобы обвал не затянул ее, не похоронил под собой. Дальше идти стало невозможно, снег засыпал глаза, ветер валил с ног. Маквалу знобило, лицо у нее горело, силы постепенно покидали ее; в ушах стало шуметь, — не оттого ли, что сильнее задвигалась кровь? Отрадное тепло разлилось по телу, сердце растаяло в нежной истоме, глаза закрывались сами собой. В голове мелькнуло: это — гибель. Маквала заставила себя пошевеливаться, с испугом широко открыла глаза, но сладкий дурман охватил ее с неодолимой силой, и ее веки снова медленно сомкнулись. Девушка глубоко дышала, прислонившись к скале, — она спала. А ветер неустанно засыпал ее снегом, как бы укрывая от холода нежное ее тело.

3

В народе есть поверье, что разбушевавшаяся природа до тех пор не успокоится, не затихнет, пока не унесет обреченную жертву. И в самом деле, морозы смягчились в Бурсачирском ущелье, ветер утих и с рассветом рассеялся туман. Небо очистилось, солнечные лучи осветили и обогрели землю. Удивительное зрелище представилось взору.

Черные пасти расщелин заполнились снегом и оковались

льдом; из обвалов и оползней возникли новые холмы, и шероховатая поверхность земли стала еще более волнообразной. Над ослепительно белой поверхностью неожиданно взвивалась голая скала, на которой снег не закрепился, и стояла, как черная свидетельница мрачных событий прошлой ночи. Все было недвижимо, молчаливо вокруг, будто склоняло голову, смиряясь перед гордым своенравием величественной природы.

Что-то вдруг дрогнуло на бескрайнем просторе, — появился человек. Он не спеша шел на лыжах. Медленно и сосредоточенно двигался старец с белой бородой, слегка пожелтевшей от времени и ниспадающей мягким шелком на его широкую грудь. Лицо его светилось умом и добротой, хотя долгие годы и наложили на него свою неумолимую печать. Зато телу его, статному, крепко сложенному, здоровому, мог позавидовать любой юноша. В теплой меховой одежде, подпоясанный веревкой, нагнувшись на лоб мохнатую шапку, он медленно расчищал себе лопатой дорогу.

Рядом с ним бежала умная его собака красновато-коричневой масти с большой, словно сажей вымазанной, мордой.

Старик не торопился, он что-то бормотал про себя, то и дело окидывая внимательным взглядом окрестность.

Пастырь Гудамакарского ущелья Онуфрий давно уже стал тяготиться жизнью среди людей и удалился в Бурсачирскую пещеру. В молитвах проводил он дни, оказывая помощь попавшим в беду путникам.

— Дурная ночь была, — тихо произнес Онуфрий, — дабы господь, чтобы не было жертв этой ночью!

Вдруг неподалеку спустился ворон. Он мрачно и надрывно каркал. Собака кинулась на ворона и спугнула его; потом подбежала к месту, откуда он взлетел, принялась обнюхивать снег, жалобно заскулила.

— Сюда, Курша, сюда! — крикнул пастырь, но собака не послушалась и все продолжала скулить и обнюхивать снег.

— Ты что там нашла? — и Онуфрий двинулся было дальше.

Но Курша не побежала следом за ним. Тогда Онуфрий остановился и еще раз покликнул ее.

Курша кинулась к своему хозяину, стала перед ним прыгать, ластиться к нему. Умные ее глаза о чем-то просили его. Пастырь приласкал собаку, потрепал ее по спине и зашагал дальше. Тогда Курша схватила его за полу одежды, стала изо всех сил тянуть за собой.

— Вон туда пойти? — спросил старик, протягивая руку в ту сторону, где опускался ворон. Собака радостно залаяла, но неслась вперед.

Подбежав первой, она принялась раскидывать лапами снег.

Онуфрий стал помогать лопатой. Свежий, еще неслежавшийся снег легко подавался лопате. Старик нащупал под ним человека и с благодарностью глянул на своего чуткого друга, на верную свою собаку. Та поняла взгляд хозяина, блеснула глазами, весело замахала хвостом и облизнулась.

Маквала крепко спала под снегом. Пастырь расстелил принесенную с собой бурку, уложил на нее женщину, стал растирать ей лицо и руки шерстяной тряпкой. Потом, отвязав от пояса маленький бурдючок, он нацедил из него водки в роговую ложку, концом ножичка разжал женщине зубы, влил водку ей в рот.

Она пошевелинулась, застонала и на мгновение открыла глаза.

— Бедная, сильно замерзла! — сказал Онуфрий.

Он обхватил веревкой завернутую в бурку женщину, вскинул ее на спину и зашагал к своему жилью. Он легко нес свою ношу и быстро добрался до дома. Здесь пастырь уложил женщину на душистое сено, укрыл потеплее, потом развел в очаге огонь.

Маквала открыла глаза, ей показалось, что она все еще видит сон. Но, попробовав пошевелинуться, она почувствовала такую боль во всем теле, что громко застонала.

— Где я? — она хотела было провести рукой по лбу, но рука не повиновалась.

— У своего духовного отца, дочь моя! Господь направил мои стопы, чтобы спасти тебя! — ласково сказал Онуфрий.

— У духовного отца... — Маквала все еще не понимала, где она и что с ней. — Что было со мной? — тихо спросила она.

— Ничего, дочь моя! Снегом тебя занесло, но господь спас твою жизнь... Приложись к святому кресту, спасшему тебя.

И отец Онуфрий поднес к ее губам крест. Маквала попробовала приподняться, но, едва коснувшись креста, снова откинулась навзничь.

— Не могу! — с тоской прошептала она.

Она вдруг вспомнила, что не достойна святого креста.

Пастырь понял: какая-то тайна отягощает несчастную. Он перекрестился.



— Владыка, возри на убогих и обездоленных, придай им сил, чтобы они стали достойны славить имя твое! — Он протянул женщине крест: — Поклонись, дочь моя, поклонись ему: он распял тело свое, пролил кровь свою во отпущение грехов наших!

Женщина приподнялась, просветленная, и коснулась губами креста. Слезы полились из ее глаз.

Пастырь повесил крест на стену, опустился на колени перед распятым и долго молился за спасение душ всех тех, кто преступил законы его.

— Дочь моя, ты, верно, есть захотела?

— Нет, отец мой, я не голодна.

— А ты заставь себя. Вот мясо, подлива.

Маквала немного поела.

— Как ты теперь себя чувствуешь? — спросил ее Онуфрий.

— Лучше, отец! Но болит, гудит у меня все тело, точно его иглами колют...

— Хорошо, что болит, значит, скоро поправишься. А теперь расскажи мне, кто ты, откуда?

— Кто я? — горько улыбнулась Маквала. — Просто — несчастная!

— У тебя никого нет близких?

— Были, когда-то были! А теперь нет никого.

— Как ты очутилась в Бурсачирах в такую пору?

Глаза Маквалы подернулись слезами.

— Трудно тебе говорить о себе. Не буду больше расспрашивать. Мой долг облегчать страдания человека. Придет время, и ты сама все мне расскажешь, покаешься в делах своих перед господом, облегчишь душу свою... Теперь немощно твое тело, обессилено, нуждается в поддержке, в уходе!.. Останься здесь... Кров этот дал мне господь, все страждущие и алчущие могут оставаться под ним...

Простое человеческое сочувствие звучало в словах старца, и оно отогрело сердце несчастной женщины.

— Господь да поможет тебе! — воскликнула она, — ты обласкал меня, несчастную... Вселил надежду в мое опустошенное сердце... — горячо продолжала она. — Твои ласковые слова вернули мне жизнь.

Слезы, сладостные, спасительные слезы, полились из ее глаз. Она постепенно затихла и снова покорно погрузилась в сон. Пастырь встал, бесшумно отошел от нее. Он знал, что длительный отдых необходим ее смятенной душе.

Маквала выросла в небогатой крестьянской семье. Был у нее нареченный — ее жених. Хотя отец не знал об этом до поры, но ей верилось, что он не пойдет против ее избранника. Будущее представлялось ей безоблачным, полным радости. Однако, надежды обманули Маквалу, судьба изменила ей. Ее просватали за другого и тотчас же выдали замуж.

Муж Маквалы Гела Годерзишвили, молодой, стройный, от природы не злой человек, служил есаулом у правителя Хеви в Пасанаури. В те времена должностной человек обладал большой властью в селе, и потому Гела разрешал себе такие поступки, на которые при ином положении никогда бы не осмелелся.

Ему нравилась Маквала, но он отказался бы от нее, — она еще до свадьбы откровенно рассказала ему, что сердце ее бьется для другого, — если бы не спесивый юношеский задор, внушенный ему его положением.

— Я на казенной службе, и можно ли равнять меня с каким-нибудь мохевцем... Не уступлю я ее никому, чего бы мне это ни стоило! — кичился он.

Отец девушки, выживший на старости лет из ума, в самом деле считал, что Гела выше всех остальных соседей. К тому же он любил выпивать, и Гела щедро угощал его. Так решили они судьбу пятнадцатилетней Маквалы, и она стала женой Гелы. Старик вскоре умер, и Маквала осталась круглой сиротой, всецело во власти своего мужа. Она покорилась судьбе и, не любя мужа, все же с честью несла свою долю, была предана семье, трудолюбива и хозяйственна.

Гела совершенно успокоился, был доволен женой, ему казалось, что он сломил ее волю, полностью ее покорил. Он продолжал заниматься своим делом, подолгу не бывал дома. В доме он держался господином и повелителем, появлялся там лишь ради того, чтобы жена не отвыкла от послушания, и, насладившись ее лаской, вдоволь поиздевавшись над нею, снова уходил в Пасанаури. Раньше, до поступления на службу, Гела был человеком гор, мыслил и чувствовал, как все горцы. Женщина была для него существом уважаемым, жена — подругой, которая трудится и работает рядом с мужем, как равная, ради создания семьи. Но теперь все выглядело для него по иному. Не раз доводилось ему видеть, как его господа, пьянствуя и безобразничая, издевались над женщиной, считали ее созданной только для их удовольствия и развлечения. Вкусил он и сам

сладость порочной жизни. Господа не раз посылали его с недостойными поручениями, охотно рассказывали ему о своих позорных подвигах. Гела, красивый и юный, скоро приковал к себе внимание женщин, и они стали отдавать ему предпочтение перед своими иссохшими кавалерами. У Гелы не было недостатка в вине, водке и женщинах.

Маквала жила одна. Самым ужасным в ее жизни было то, что Гела приносил в свой дом нравы той, чуждой ей, жизни. Безобразное пьянство, сквернословие, притеснение соседей, все это разжигало ее ненависть к Геле.

А тот с каждым годом становился все разнузданней. Он истязал жену, не давал ей спокойно работать, требовал беспрекословного выполнения всех своих вздорных желаний.

У Гелы Годерзишвили было большое стадо овец. Его престарелый дядя, единственный работник в доме, умер, хозяйство требовало присмотра, и Геле пришлось, оставив службу, вернуться к своему двору... С того дня, хоть и не очень охотно, стал он пастушествовать и среди пастухов скоро занял видное место. У него были связи с сильными мира сего, они принимали его, так как через него постоянно обделывали свои темные дела; чувствуя сильную поддержку, Гела Годерзишвили пользовался всяческими преимуществами перед своими односельчанами.

Все льнули к бывшему есаулу, старались заручиться его расположением, чтобы дешевле и быстрее улаживать свои дела, однако, никто с ним не сходилась по-братски; очень дорого обходились его услуги и слишком уж чванился он перед всеми.

Только одна беда, непоправимая, давняя, злила, ожесточала его. Маквала чуждалась его попрежнему, не подчинялась ему; не мог склонить он к себе ее сердце, а любовь его к ней росла с каждым днем. Ни гневом, ни побоями, ни лаской не мог он сломить жену, которая непрестанно наносила ему обиды. Дошло до того, что однажды Маквала сбежала в родную деревню. И, хотя не было у нее никого близких, она добилась того, что в общине святой троицы был созван темский сход, на котором разбирали ее дело и вынесли решение развести несчастливых супругов, так как Маквала была выдана замуж насильно. Однако, в те времена теми уже не располагал достаточной силой, чтобы принудить своих членов к подчинению. Была введена власть начальников-диамбеков, и закон решительно запрещал развод.

Гела, давно утративший уважение к родным обычаям, разу-



меется, не подчинился решению теми, покинул сход с угрозами и вскоре силой закона водворил жену обратно в свой дом.

Гела, насильно вернув жену, не добился ее любви, но Маквала снова покорилась своей судьбе, снова впряглась в домашнее ярмо. Гела с тех пор успокоился, поверил, что образумил; наконец, жену, стал полным ее господином. Маквала беспрекословно повиновалась ему во всем.

А Онисе, любимый когда-то девушкой Маквалой, считал, что она его обманула, и после ее замужества не появлялся больше в родном селе. Он жил в горах, пас свою отару. Огонь его сердца погас, подернулся пеплом, и только однажды, когда Маквала ушла от мужа, слабая надежда на мгновение затрепетала, затеплилась в нем. Но Маквала вернулась к мужу, снова покорилась его воле, и надежда Онисе развеялась навсегда, сердце его замкнулось. Он утешался мыслью, что обуздал свою страсть, и жизнь его отныне потечет спокойно; но он твердо решил никогда не жениться, никогда больше не полагаться на верность женского сердца.

5

Однажды летним вечером Гела сидел у порога своего дома. Набив трубку табаком, он старался разжечь трут, долго, но тщетно ударяя о кремень кресалом. Он только-что закончил отбор из своей отары яловых овец и провсдил их в горы, а дойных пока-что оставил дома, так как близ ледников еще не подросли корма. Долго мучился он над трупом, но так и не высек жара.

— Хозяйка, принеси-ка мне огня! — приказал он жене.

Маквала вынесла горящий уголек на обломке коры, подавала его мужу, повернулась и хотела уйти.

— Постой! — остановил ее муж.


Женщина замерла на месте. Гела, не спеша, разжигал трубку, время от времени поглядывая на жену.

— Калау, садись сюда, — сказал он, наконец, — хочу с тобой поговорить...

— Опоздаю я с ужином для пастухов! — хмуро отозвалась Маквала.

— Садись, говорю тебе! — Гела повысил голос, хотя самодовольная улыбка блуждала на его губах.

— Некогда мне! Говори скорей, и я пойду! — все также хмуро ответила женщина, не двигаясь с места.



— Ничего, садись, моя милая! Рано еще, поспеешь! ласково сказал Гела и, протянув руку, привлек ее к себе.

Женщина покорно опустилась рядом с ним у порога.

— Хороша же ты, богом клянусь! — воскликнул вдруг Гела и жарко поцеловал ее.

Маквала не вымолвила ни слова; покраснев и нахмурившись, она провела рукой по щеке, как бы стирая поцелуй мужа. Гела заметил это ее движение, усмехнулся и с силой привлек ее к себе.

— Будет тебе! — не выдержала женщина и попыталась высвободиться из его объятий.

— Молчи, моя милая! Почему не хочешь, чтобы я поцеловал тебя? — ласково уговаривал ее муж, но она продолжала отстраняться от него.

Тогда он насильно закинул ей голову и крепко поцеловал ее в сердитые губы.

— Тьфу! — сплюнула Маквала. — Что это нынче с тобой?

— А почему ты стираешь мой поцелуй? — самодовольно поддразнивая ее, ответил Гела.

— Потому, что ненавижу тебя! — не стерпев, крикнула Маквала.

Гела нахмурился.

— Богом клянусь, ты полюбишь меня! — тихо и раздельно сказал он.

Эта самоуверенность повелителя еще больше возмутила Маквалу, она взглянула на него с нескрываемой ненавистью.

— Не гляди так, а то еще раз поцелую! — криво усмехнулся горец, злобно глядя на нее.

Маквала тяжело вздохнула, не зная, как ей избавиться от докучных ласк.

— Не сердись, перестань, не то опять поцелую! — не унимался муж.

— Я не сержусь! — Маквала готова была расплакаться. — Отпусти меня, я опоздаю с тестом. Скажи, что хотел сказать?

— Поцеловать хотел тебя! — расхохотался бывший есаул. — Что, не нравится? — и он снова обнял ее.

— Пусти, пусти! — отбивалась Маквала.

— Нет, радость моя, никуда не уйдешь!

— Чего тебе от меня надо?

— Не нравится? Разве я плохо целуюсь? — теша себя собственным злым упрямством, изводил ее Гела.



— Поцелуй меня сама!

— Нет!

— Дай, еще разок поцелую, и тогда скажу, зачем тебя звал.

— Не хочу, нет! — женщина закрыла лицо руками.

— Не хочешь, тогда вот тебе! — и он снова крепко обхватил ее, прижал к груди и... вдруг отпустил. Оба вскочили.

Кто-то тихо открыл калитку, спугнув супружеские ласки. Гость застыл на месте и низко опустил голову.

Все трое смутились.

— Добрый вечер, Гела! — наконец, выдал из себя гость.

— Онисе, ты?! Иди же сюда! — шагнул к нему навстречу хозяин.

Маквала зарделась от стыда и досады, вскочила и убежала в дом.

Введя гостя, хозяин пригласил его сесть. Оба молчали. Лицо у Онисе пылало, он сидел, низко опустив голову. Гела все еще мысленно обнимал свою красавицу-жену и твердил про себя с самоуверенностью упрянца: «Врет она, любит меня!»

Онисе Арабули, сосед Гелы, много моложе, осанистей и красивей его, был желанным гостем в каждом доме села. Но после женитьбы Гелы Онисе ни разу не ступал на его порог. Он не был так зажиточен, как Гела, но превосходил его старательностью, часто сам водил отары, а в этом для крестьянина — залог благосостояния и успеха.

Трудясь больше Гелы, Онисе и прибитков имел больше, и больше добра видели от него соседи и весь теми. Этот красивый и статный юноша был первым женихом Маквалы, и образ ее так властно запечатлелся в сердце Онисе, что ни адский огонь, ни всемирный потоп не могли бы изгнать его отсюда.

Гость и хозяин молчали из уважения друг к другу: никто не хотел первым начать беседу.

— Оставайся ужинать с нами, — сказал, наконец, хозяин.

— Будь долголетен, Гела, рад бы и сам побыть с тобой, да работник я одинокий, баранту не могу бросить, погибнет она.

— Не погибнет! Что с барантой делается, — разве нет с ней пастухов? Оставайся! — стал упрашивать хозяин.

— Есть у меня к тебе одно дело, ради него с гор спустился.

— Вот и расскажи! — подсел ближе Гела.

— Ты, говорят, идешь снимать луга. Вот товарищи и послали меня к тебе, — хотим взять пастбища сообща с тобой.

— Очень хорошо! — обрадовался Гела. Соседство с таким

смелым и опытным пастухом, как Онисе, для всякого было на-ходкой. — Почему бы нет? Такое товарищество — милость божья!..

— Дружба с тобой, Гела, вот — истинная божья милость, а ты других хвалишь!.. Ты знаешь чужой язык, законы чужие, с тобой никакая беда не страшна.

— Я завтра в горы собираюсь, хорошо бы тебе самому пойти со мной. Могу тебя подождать

— Зачем я тебе нужен? Кто лучше тебя сумеет выбрать место, сговориться о найме?

— Нет, Онисе, свой глаз — никогда не лишний!..

— Лишний человек — лишние расходы. Денег я тебе дам, место ты сам снимешь, а уж мы всегда с тобой поладим.

— Как хочешь, друг, воля твоя! — согласился хозяин.

— Вот так, Гелаиси! Место ты займешь, а там — захочешь, пойду к тебе в товарищи на смену, захочешь — овец перемешаем.

— Перемешаем, Онисе, перемешаем, так лучше будет, лучше, и сдружимся тесней! — ответил Гела. — А теперь уж ты без ужина не уйдешь! — весело добавил он.

— Не надо, Гела, боюсь, отару без хозяина зверь заде-рет, — упрявился Онисе.

— Что ты? Пастухи у тебя такие, что птицу в небе, му-равья под землей не пропустят. Не идешь, так хоть благослови меня на дорогу... Хозяйка! — крикнул он, — любимого гостя любовно встретить надо, подавай все, что бог послал!

Онисе вручил хозяину деньги на аренду пастбища и на до-рожные расходы. Они сели ужинать. Выпили по одному рюгу. Гость загрустил. На него нахлынули воспоминания о тех сча-стливых днях, когда он верил в любовь Маквалы, и сладкая надежда ласкала его. Теперь он одинок, никогда не будет у не-го любимой подруги, никогда никто не приголубит его, никто не скажет ему нежных слов, — железным обручем сковано его сердце. Онисе стал угрюм. Лицо его помрачнело.

Хозяин, заметив это, принялся еще усерднее потчевать го-стя домашней водкой, еще чаще провозглашать задравные тос-ты. Но печаль не покидала Онисе. Вдруг Гела поднялся.

— Ты посиди немного, — я скоро вернусь, — сказал он гостю.

— Куда ты, зачем?

— Подожди меня здесь, мы сейчас устроим такой пир, что мертвые встанут из могил поглядеть, как мы веселимся.

— Не надо, Гела, поздний час, да и жена твоя спать хочет! — оглянулся Онисе на Маквалу, пригорюнившуюся у огня.

— Маквала! — окликнул ее муж, — отчего ты невесела, когда у нас гость?

— Нет, нет! Клянусь божьей благодатью!.. Гость от бога, и я возношу хвалу господу, пославшему нам его.

— Ну, если так, — воскликнул Гела, — пусть святой Гиваргий ниспошлет на нас свою благодать, — завтрашнее солнце мы встретим пиром... Подожди немного! — и хозяин выбежал за дверь.

Легко ему было говорить, — завтрашнее солнце встретим пиром. Но тем, чьи сердца облечены в одежды скорби, кто оплакивает утраченную навсегда надежду, — тем тягостно встречать весельем первые утренние лучи!

Много дней утекло с тех пор, как Онисе и Маквала растались друг с другом, и оба они в эти дни разлуки копили печаль в своих сердцах. Они научились скрывать свои чувства, и теперь, когда они остались вдвоем лицом к лицу, стало им еще тягостней. У обоих было о чем рассказать друг другу, оба они, как все влюбленные, таили в душе обиду друг на друга, и им хотелось излить ее во взаимных упреках. Слова подступали к горлу, но непомерное волнение сковывало губы, и невозможно было нарушить молчание.

Маквале казалось, что сердце Онисе давно отдано другой, — ведь отошел же он от нее и даже в беде не протянул ей руку. Также думал и Онисе: если Маквалу склонили выйти замуж за другого, значит она и любит того, другого, больше, чем его.

Так сидели они долго, опустив головы, как два врага, и только отрывистое, учащенное дыхание выдавало их непостижимую душевную бурю.

Вдруг Онисе воскликнул с отчаянием:

— Калау! Давно я не видел тебя, не слышал о тебе... Скажи, как ты живешь?

— Что мне? — с горькой улыбкой отозвалась Маквала, пожав плечами: — У меня муж, хозяйство.

— Значит, счастлива? — голос Онисе задрожал. Он поднял на нее глаза, заглянул ей в лицо и, сразу весь поникнув, тихо сказал: — Дай тебе бог!.. А для меня все исчезло, все умерло, жизнь ненавистна стала!.. Ну, что ж, будь хоть ты счастлива!

Женщина взглянула на него, и что-то невыразимо-томитель-

ное закипело у нее в груди, поднялось к горлу, перехватило дыхание. Дрожащей рукой схватилась она за ворот платья, с силой оттянула его, сорвала застежку. Ей казалось, что ворот давит ей горло, не дает дышать.

Они молчали. Онисе взял рог, наполнил его аракой и выпил весь залпом, чтобы оглушить себя. Женщина взглянула на него с тоской.

— Почему смотришь на меня? — спросил Онисе, устремив на нее помутившийся взгляд.

— Не надо пить так много! Убьешь себя, — с горечью сказала Маквала.

— Ну, и что ж? Пускай убью! — он провел по лбу рукой. — Разве жалеешь меня?

— О, ведь я — человек!

— Да, конечно, ты — человек!

Оба снова замолчали, поникли.

— Калау! — не выдержал Онисе, — скажи мне что-нибудь!

— Что мне сказать тебе? — печально отозвалась Маквала.

— Ты раньше много со мной говорила! Много мне сулила!

— То было раньше, все изменилось теперь.

— Зачем же ты меня поманила? Зачем околдовала всю мою жизнь? Чтоб потом сбросить меня прочь со своей дороги!.. Не любила, смеялась надо мной, — верно?.. Что ты ответишь перед богом своим?..

— Онисе!.. — начала женщина, но он прервал ее.

— Ты позабыла меня, но я тебя люблю попрежнему, люблю, как святыню свою!..

Горе переполнило Маквалу. Она думала, что Онисе давно уже вырвал из своего сердца память о ней, позабыл ее... Оказывается, она заблуждалась, он все еще любит ее, еще есть у нее надежда вернуться к жизни!

— Молчи! — крикнула женщина. — Молчи, ради господ бога, не то — руки наложу на себя!

— Зачем же?.. Кого любила, за того и вышла замуж... Кого ненавидела, от того избавилась... Зачем тебе кончать с собой?..

— Молчи, говорю тебе! — гневно сказала она.

Дрожь охватила Онисе, он чувствовал, что больше не в силах сдерживать свою страсть, как за спасение, схватился он за водку. Но не успел он поднести к губам рог, как Маквала вскочила и бросилась к нему.

— Довольно, хватит! — крикнула она возмущенно.

— Почему ты сердишься? Я хочу за твое здоровье выпить!

Не успел он произнести эти слова, как нежные женские руки обвились вокруг его шеи. У него потемнело в глазах.

— Не пей, не надо, родной ты мой... Не топи себя в вине... Не хочу я этого, милый, слышишь меня, не хочу! — шептала ему Маквала и вся трепетала, горела, обвиваясь вокруг него.

Мир исчез, уплыл куда-то, Онисе позабыл о своем долге гостя, позабыл о самом себе, и страсть, одна только страсть нераздельно завладела им. Он чувствовал, что Маквала любит его, любит всеотдающей, бескорыстной любовью, он чувствовал ее жаркую ласку, слышал биенье ее сердца, и на мгновение утратил власть над собой. Кровь заклокотала в жилах, он раскрыл объятия, прижал к груди единственное свое сокровище и пил, ненасытно пил сладость жизни.

Сумеет ли Маквала потушить любовь в своей крови? Какая сила возьмет верх в ее сердце — женский долг или самозабвенная страсть?

Вдруг со двора послышалась песня. Они вздрогнули, прислушались.

«Вспомнит молодец в дороге,
Что забыт женой,
Запечалится и сгинет
В пропасти ночной...»

Влюбленные разошлись. Маквала, вся пылая, кинулась в чулан. Онисе, взволнованный, потрясенный, растянулся на длинной скамейке.

Дверь распахнулась, вошел Гела и с ним несколько юношей-певцов.

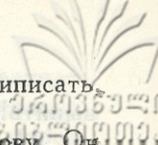
Началось пиршество с плясками, с песнями. Хозяин сдержал свое слово: утреннюю зарю пирующие встретили веселой песней «Гогона».

Солнце стояло уже высоко, когда гости Гелы, выпив последний прощальный тост, шумно поднялись из-за стола и распрощались с хозяином.

Проводив гостей, Гела торопливо принялся за сборы в дорогу. На этот раз Маквала помогала мужу с непривычной готовностью и торопливостью, как бы искупая перед ним свою вину.

Хозяин дома оделся по-дорожному, опоясался оружием и оседлал коня.

— Калау! — сказал он жене на прощанье, — ты что-то



очень усердно помогала мне в сборах, не знаю, чему приписать рада ли, что уезжаю, или взялась за ум?

Она не ответила, слегка покраснела, опустила голову. Он посмотрел на нее долгим взглядом.

— Сердце мое противится, не советует мне уезжать, но я не останусь... Надеюсь, побережешь мой дом, врагу на посмешище не предашь! — он взял плеть. — Ну, прощай... Давай поцелуемся и знай, если осрамишь меня перед людьми, ничто тебя не спасет!

Женщина не двинулась с места, не подняла головы, только нижняя губа ее чуть-чуть дрогнула.

— Ты что, не слышишь? — резко возвысил голос Гела и стегнул ее плеткой. — Оглохла ты, адамово ребро?

Женщина вся сжалась от боли, но не вскрикнула, ни звука не издала, только сумрачно сдвинулись брови, глаза сверкнули гневом.

— Ты не хмурь брови! — мрачно проговорил Гела и снова стегнул ее плетью.

— Баба и лошадь — одно, для обоих плеть создана!

— Довольно, хватит! — тихо сказала Маквала. — Ей-богу, плетью не заставишь полюбить себя!

— Ого! — усмехнулся Гела. — Может, хоть от упрямства отважу!

— Нет, не стоит, не старайся, а то пожалеешь! Тому поручкой святыня Зеда-Ниши!

— Пожалее, говоришь? Смеешь мне угрожать? — крикнул Гела с пьяным упрямством и снова занес плеть.

— Если так, пусть грех будет на тебе! — воскликнула женщина и выбежала за дверь.

Гела растерялся, не ожидал, что жена решится от него убежать.

— Маквала, Маквала! — закричал он, опомнившись. — Вернись, а то, ей-богу, кровью залешься вся!

Но никто не отозвался на его угрозу. Маквала спряталась у соседей.

Гела выскочил во двор, искал ее всюду, — тщетно!

— В преисподнюю не провалится! — утешал он себя. — Когда-нибудь да вернется домой.

Пришли спутники Гелы, и он пустился в дорогу, так и не найдя Маквалы.

Прошлой ночью приход мужа с гостями пробудил Маквалу от сладкого любовного сна. Когда в доме шел пир и бушевало веселье, она не вышла к гостям, пренебрегла священным долгом хозяйки, чтобы остаться наедине со своими мыслями, дать себе отчет в происшедшем. Когда она очнулась от нежного дурмана, действительность предстала перед нею во всей своей беспощадности. С горечью перебирала она в памяти часы и дни своего унижения, насильственное замужество, постылые ласки под страхом побоев и позора. Один-единственный раз улыбнулась ей надежда, когда теми разрешил ей развестись с мужем, но закон снова предал ее во власть сильнейшего. Эти воспоминания обожгли ей душу. И вот теперь встреча с Онисе, с единственным в жизни. Он, оказывается, любит ее попрежнему! Но что же из того? Надежда так часто изменяла Маквале, изменила даже в те дни, когда сам теми встал на ее защиту. Разве могла она теперь положиться на любовь Онисе, хотя бы она и чувствовала в нем силу львиною?

Эта мысль клещами сдавила сердце Маквалы. Она поняла, что ничего, кроме несчастья, не может принести ей эта встреча, эта минутная радость. Будь она проклята! Дорого бы заплатила Маквала, чтобы вытравить из своей памяти вчерашний вечер!

И Маквала решила бороться с вновь располыхавшимся чувством, вырвать образ Онисе из своего сердца.

После прощания с мужем, после грубых ударов плетью, благоразумие чуть было не изменило ей, и она хотела бежать к Онисе. Но, вернувшись в свой пустой дом, она снова укрепилась в прежнем решении.

— Нет, если уж так несчастлив весь мой путь, — не хочу принести несчастье любимому! Нет, клянусь богом!.. Люблю его больше себя... Еще найдет он свою судьбу...

Между тем истерзанное тоской и одиночеством сердце Онисе, на мгновенье согретое счастьем, снова утратило покой. Одно желание всегда быть с любимой, обрести с ней блаженство, владело им с такой силой, что вся остальная жизнь с ее повседневными заботами об урожае, о сенокосе шла как бы мимо него. Иногда он вздрагивал от жалящей мысли, что вступать в борьбу с таким противником, как Гела, не так-то легко. Но мимолетная тревога исчезала так же быстро, как рождалась, и ее сменяла надежда на счастье, и одной этой надежды было достаточно, чтобы Онисе забыл обо всех сомнениях, почувствовал в

себе необъятные силы. В такие минуты он готов был бросить вызов целому миру. Он знал, что обладает сердцем Маквалы, и ликующая сила росла в нем. Он становился обладателем всей вселенной. Найдется ли дерзкий, который посмеет посягнуть на его любовь!

И от этих мыслей все в жизни влюбленного окрашивалось тысячью чудесных красок. Все предметы, все проявления природы наполнялись тайным значением, все перед ним растилалось, зовя, завлекая, лаская. И воспламененное сердце его взывало о близости с любимой. Но проходили дни, и он не мог встретить ее, не мог излить своих ласк. Улыбающаяся душа тщето звала душу друга, властно требовала: «Хочу быть с нею, хочу слиться с ней воедино!»

И этот непрестанный зов превратился скоро в неукротимую страсть, сметающую все преграды.

— Как ее увидеть, когда, где? — в сотый раз повторял про себя Онисе. Но Маквала заперлась в своем доме, даже за водой не ходила.

Онисе не допускал мысли, что она избегает его, и долгая разлука только сильнее раздувала огонь в его сердце.

На первых порах Онисе еще понимал, что нельзя идти прямо в дом к Маквале, — это может набросить тень на ее честь. Но страсть опрокинула все доводы рассудка: «Увидеть ее! Ласкать, прижимать к груди, говорить ей слова любви, — где, когда — не все ли равно! Ведь она моя, не все ли равно, где увижусь с ней!» — твердил он, как одержимый.

Онисе схватил ружье и выскочил во двор.

Луна только-что поднялась из-за гребня горы, и еще наполовину пряталась в облаках. Светила, ее верные спутники, почувствовали восшествие любимой и нежно зарозовели, греясь в ее лучах. Тихий ветерок осторожно шелестел среди горных цветов, подхватывая их аромат и наполняя им воздух. Река здесь замедляла свой ход, сменяла бурный гром на ласковый рокот. Волны, украдкой накатываясь на берег, мягко отталкивались от скал, и с мелких камней, прощаясь с ними, с игривым журчаньем стекали капельки влаги.

Мохевец глубоко вздохнул. Чистый, благоуханный воздух влился в его грудь, и сердце забилося еще сладостней. Он снял шапку, подставил лоб прохладному ветру. Вся кровь его клоктала. Ускорив шаги, он пошел к дому Гелы.

Было поздно. После трудового дня успокоилась, заснула деревня. Онисе шел на цыпочках, осторожно ступая. Шел, прерыв-

висто и часто дыша, с колотящимся сердцем. Он приближался к дому на окраине села, к тому месту, вокруг которого столько дней кружились все его мысли и чувства, к месту, которое представлялось ему недоступной святыней. Глаза его горели, щеки пылали. Перед навесом он остановился, чтобы перевести дух. Собравшись с силами, подкрался к оконцу, заглянул в него. В комнате было темно. Только в очаге под золой, сверкая, тлел уголек. Долго всматривался Онисе, но ничего не мог разглядеть. Наконец, он поднял камешек и кинул его прямо в очаг. Из-под золы рассыпались искры и скупое осветили небольшое пространство вокруг. У самого очага стояла одинокая постель, на которой кто-то крепко спал. Онисе отошел от оконца, нащупал дверь и стал осторожно возиться с засовом. Как видно, треугольный камень был вдвинут прочно, — засов не поддавался. Вдруг что-то громко звякнуло, камень попал прямо во втулку для засова и еще больше укрепил его.

Шум разбудил Маквалу, она испуганно прислушалась. Но все было тихо. «Кошка, проклятая, возится...» — решила она и снова заснула.

Наконец, Онисе добился своего. Он просунул руку между рамой и дверью и вытащил засов. Маквала проснулась.

— Кто там? — спросила она и быстро накинула платье.

— Тсс! Тише! Не шуми! — ответил голос из темноты.

Женщина задрожала, — она узнала голос Онисе, — но не растерялась.

— Хорошо, видно, что пришел в такую пору. Не забывайся, смотри, не то не сдобровать тебе! — громко сказала она.

— Молчи, Маквала... — чуть слышно прошептал Онисе. Он запер за собой дверь на засов.

— Боже мой! Не знаешь ты жалости! — голос его задрожал. Он отошел от двери.

Столько было страдания и мольбы в этих словах, такая жалоба слышалась в них, что сердце женщины смягчилось, и она ничего не ответила.

Онисе достал из поясной сумки длинные и тонкие восковые свечи, поднес их к тлеющим углям и зажег. Потом укрепил их на вставленном в стену плоском камне и, скрестив руки на груди, устремил на Маквалу долгий неподвижный взгляд.

Женщина подняла глаза, хотела что-то сказать, но промолчала, низко опустила голову и стала перебирать концы своих кос. Онисе стоял бледный и весь дрожал, будто ждал приговора.

— Зачем ты пришел, что случилось с тобой? — спросила, наконец, Маквала.

— Зачем я пришел, ты сама знаешь, а о том, что случилось со мной, могу тебе рассказать. — Онисе вздохнул. — Случилось то, что измучила ты меня, а помочь мне не хочешь!..

— Но чем могу я тебе помочь, чего тебе надо от меня?

— Истаял, иссох я, калау! А ты все молчишь!.. Скажи мне, что ты надумала сделать со мной? Скажи, умоляю тебя!

— Милый ты мой! — порывисто воскликнула женщина, протянув руки к Онисе, но сразу же опомнилась, совладала с собой и поникла.

— Говори же, говори! — взмолился Онисе и шагнул к ней. Женщина остановила его движением руки.

— Стой! Что ты делаешь? Зачем ты пришел ночью!.. Почему покрыл позором мое имя?..

— Потому что я люблю тебя! — крикнул Онисе с таким жаром, что камень расплавился бы, услышав его.

— Что же мне делать, Онисе?.. Ты любишь меня, но...

— Что но? — Онисе побледнел, холодный пот выступил у него на лице.

— Но... Я не люблю тебя!

— Что ты сказала? — медленно и тихо переспросил Онисе и голос его оборвался.

Как удар грома, поразили горца слова Маквалы, пронзили его с головы до ног.

— Что ты сказала? — повторил он. — Ты не любишь меня? Зачем же ты целовала меня, зачем обнимала?.. Для чего околдовывала, обещала счастье?..

— Жалела тебя...

— Жалела? — горько усмехнулся Онисе. Уж не тогда ли ты жалела меня, когда сердце мое было оглушено до беспамятства, таяло, сгорало... Жалела и из жалости снова опалила огнем. Это и есть твоя жалость! Ах, Маквала!.. Вижу теперь, злая, коварная ты, и не пощадишь...

— Зачем клянешь меня?.. Богом и людьми отдана я другому и должна покориться...

— Лжешь!.. Не богом и не людьми ты отдана другому, а грубой силой, а ты ей подчинилась... Лучше бы тебе умереть. Сердце у тебя каменное!

Женщина чувствовала, что силы покидают ее. Душою и телом тянулась она к этому человеку, но знала, — близость с

ним навлечет тысячи бед на ее голову, погубит их обоих. Она старалась быть твердой.

— Хорошо, Онисе мой!.. Называй меня, как хочешь, только уйди, оставь меня!

— Уйду, Маквала, уйду! Чего ты боишься? Счастье твое, что ты женщина, и я бессилен перед тобой. Но знай: если ты меня прогнала, одной из двух жизней конец! Жизни Гелы или моей. Пусть сбудется с нами, что суждено, лишь бы ты жила спокойно...

И Онисе, отвернувшись от нее, медленно пошел к двери.

Маквала застыла, как громом пораженная.

Она хотела отвести от него опасность, ради этого готова была пожертвовать собой, своей любовью, и вдруг увидела, что совершилось обратное: желая спасти любимого, она погубила его.

— Онисе! — кинулась она к нему. Онисе уже взялся за дверной засов.

Столько страсти и отчаянья было в ее зове, что Онисе вздрогнул и медленно обернулся. Оба молчали.

— Что тебе надо? — тихо спросил он. — Ты мне сказала, что не любишь меня — всадила мне в сердце горячую пулю... Думаешь, что одной мало для меня...

И он резко повернулся к ней всей грудью.

— На, убей меня, не медли, не мучай!.. Убей меня, и конец всему! — взмолился он.

Маквала низко опустила голову.

— Нет, — прошептала она. — Я не хочу тебе зла... Нет, богом клянусь!.. Но уходи, уходи! — Она махнула рукой.

Онисе подошел к ней.

— Калау! Зачем ты пытаешь меня?.. Так кошка с мышью играет, поймает ее, задушит, наиграется вдоволь и выбросит вон. А ты? Ни убить, ни отпустить меня не хочешь... Хоть бы ты бога побоялась... Будь ты мужчиной, — сумел бы тебе отомстить!

— Онисе мой! Видит бог, как я жалею тебя за твои страдания...

Лицо Онисе посветлело.

— Ты жалеешь меня? — воскликнул он.

— Жалею. Онисе, так жалею, что жизнь свою готова отдать за тебя...

— Зачем же ты ранишь меня прямо в сердце, зачем опаляешь меня огнем?

— Будь я теперь девушкой, пусть бы небо обрушилось на меня, если б я не тебя назвала своим мужем, если б помысли-

ла о другом! Но что же мне делать? Я не могу снова восстать против теми, снова стать посмешищем для всех!.. Ступай! Онисе, живи, живи спокойно... Молод ты еще, — тебе что, счастливый! Разве какая девушка откажет тебе? В горах столько цветов, сорви любой из них! Будь спокоен, и я буду спокойна и счастлива счастьем твоим!

— И ради этого ты вернула меня? — усмехнулся горец. — Может, боишься, что мужа твоего убью?

— Я за тебя боюсь, милый!

— Тогда уйдем, бежим! — горячо воскликнул Онисе.

— Нет, Онисе, не надо говорить об этом. Стыдно мне...

— Змея, змея ты ядовитая! — отшатнулся Онисе. — Голову бы тебе размозжить!..

И Онисе стиснул рукоять кинжала, кровь прилила к лицу, глаза метали искры. Но это длилось одно мгновение. Он схватился за горло, впился в него рукой.

— Нет, не тебя, не тебя... — прохрипел он. — Ты не виновата! Судьба отдала тебя другому, и пусть меня убьет его же рука! Прощай, Маквала! Будь счастлива!

И он, шатаясь, вышел за дверь.

Маквала упала, как подкошенная. Когда она пришла в себя, в комнате было пусто. Ночной мрак окутывал и душил слабое пламя свечи.

7

Шли дни. Маквала жила, как в тягостном забытьи. Она сама не могла понять, чего она ждет, на что ей решиться, чего желать. Как-то утром она с особенной силой почувствовала свое горе. Трудно стало дышать, сердце колотилось учащенно, мысль замерла, и всю ее охватило какое-то странное ощущение; тело отказывалось ей служить, ноги ее ослабели, глаза потухли, взгляд безжизненно приковался к одной точке. Обессиленная, истощенная внутренним недугом, стояла она неподвижно, как изваянная из камня.

Вдруг шум в ушах, полнзвучный, как шум реки, потряс и оглушил ее. В глазах потемнело. Горечь воспоминания залила сердце сладкой тоской. Она глубоко вздохнула, словно пробудясь от долгого сна, чувство жизни возвращалось к ней.

— Погибла я?! — воскликнула она. — Нет, пусть я умру, но Онисе должен жить! — И одержимая одной мыслью, она кинулась вон из дома, туда, где надеялась найти Онисе.

Она бежала, не чувствуя усталости. Лицо ее пылало, пла- ток соскользнул с головы, волосы развевались по ветру.

— Разве может умереть Онисе? Я не могу жить без него! — время от времени восклицала она.

Сила долго сдерживаемой страсти овладела ее душой, тщетны были все ее старания не поддаваться этой страсти. И теперь, когда она почувствовала, что может навеки потерять Онисе, ее окаменевшее сердце затрепетало, ее разум мгновенно потерял опору и она всецело отдалась своему всепоглощающему чувству. Теперь она могла крикнуть всему свету: «Я ищу Онисе, я хочу быть с ним, я не стыжусь этого, потому что люблю его, люблю больше чести своей!»

Она готова была отдать свою жизнь, лишь бы только раз, еще один раз взглянуть ему в лицо, сказать ему: «Ты — моя жизнь» и потом умереть. Она не замечала ничего вокруг, и все бежала, бежала.

Какой-то пастух увидел иступленно бегущую женщину.

«Несчастливая! Верно, помешалась!» — подумал он. — «Надо ее поймать, а то бросится со скалы, погибнет!»

И он спрятался за камень. Женщина приближалась.

— О!.. Кажется, Маквала! — воскликнул он. — Ей-богу, так и есть! Что с ней?

Он вышел ей навстречу из своего укрытия.

— Маквала, Маквала! Что с тобой, бедняжка? — окликнул он ее.

Она ничего не слышала, не замечала.

Пастух подбежал к ней, ухватился за развевающийся подол ее платья.

— Да что с тобой, калау? — крикнул он.

Маквала вскрикнула от неожиданности. Потом бросилась пастуху на шею.

— Бежи, Бежи! Скажи мне, бога ради, где он?

— Кто? — удивленно спросил Бежиа.

— Да он, он! Он ведь сюда ушел, в эту сторону. Ты должен был его видеть... Скажи мне, умоляю тебя... — задыхаясь, расспрашивала женщина удивленного пастуха.

— Да скажи ты толком, кого ищешь! Не понимаю я! — рассердился пастух.

— Онисе ищущу я, Онисе!.. Он сюда пошел...

— А!.. Вашего сотоварища?

— Да, да, Бежиа! Скажи, куда он пошел?

— Ну, видел я его! — степенно ответил Бежиа, удивляясь,



что женщина так настойчиво ищет чужого мужчину. — Он шел в горы, к стадам. Да такой веселый, словно со свадьбы возвращался.

Женщина вдруг замерла, очнулась, точно ее облили холодной водой.

— Веселый, ты говоришь? — спросила она упавшим голосом.

— Ну, да, веселый! А отчего ему не быть веселым, он ведь жениться собрался.

— Жениться?

— Да, жениться хочет!

Маквала молчала. Лицо ее то вспыхивало, то погасало. Вдруг гнев сверкнул в ее глазах.

— Лжешь ты, лжешь! Богом клянусь, лжешь!

Пастух не ожидал такого нападения и смешался.

— Зачем сердиться? Я правду говорю, да поможет мне благодать Пиримзе.

— Кто тебе говорил об этом? Кто? — не унималась Маквала.

— Сам сказал... Такая, говорит, красивая, что звезды с неба срывает!

У женщины пересохло в горле, мертвенная бледность разлилась по лицу.

— Сам тебе сказал? — глухо повторила она и натянула платок на распустившиеся волосы.

— Да, сам... А что?

— Нет, так, ничего! — Маквала поправила платок и отвернулась от пастуха, чтобы скрыть две жемчужины, скатившиеся из ее глаз.

— Дай ему бог! — добавила она. — Ему давно жениться пора, человек зажиточный, может семью прокормить!.. — и она, повернувшись, пошла домой.

— Маквала! — остановил ее Бежиа.

— Ну, что тебе? — раздраженно спросила она. Дорого бы дала она за то, чтоб остаться одной, избавиться от назойливых вопросов Бежиа.

— Скажи мне, бога ради, что стряслось давеча с тобой?

— А что? — хмуро спросила Маквала.

— Я так, просто спросил.

— Какое тебе дело до меня! — прикрикнула она на пастуха. — Почему ты ушел от стада?

— Припасы у нас кончились, есть нечего.

— А почему во-время не прислали, кто виноват?

— Откуда мне знать? Старший говорил, что сами доставят нам припасы, а мы не могли оторваться от подоя овец.

— Как я могла доставить, если я в доме одна, да и лошадей в горы угнали. Даже зерно не смолото, — озабоченно вздохнула Маквала. — Возвращайся теперь в горы и коня приведи. А я тем временем схожу на мельницу и завтра хлебов напеку.

— Ладно, — сказал пастух и зашагал по дороге.

— Постой, — оклинула его Маквала, — пойдем ко мне, я тебя накормлю.

— Нет, не хочу я есть.

— Почему отказываешься? — участливо спросила Маквала и, чтобы загладить свою давешнюю строгость, стала настойчиво и ласково приглашать пастуха. — Ты не обернешься до рассвета, проголодаешься! А, кстати, поможешь мне зерно на мельницу отнести.

Пастух согласился. Они дошли до дома. Трудно было Маквале приниматься сейчас за обычную работу, но для горских женщин ничего нет важнее их обязанностей по дому, и она с опечаленным сердцем стала торопливо готовить зерно для помолы.

Нелегко давался ей каждый удар совком, но она мужественно продолжала свое дело, и скоро мешок был наполнен зерном. Зерно отнесли на мельницу, и Маквала осталась там дожидаться помолы.

А пастух, попрощавшись с ней, пошел в горы, где паслись табуны. Надвинулась ночь, кутая землю в черный покров. Снизу из ущелья медленно крался туман, радуясь тому, что погасло солнце, и как бы пробираясь украдкой к своей возлюбленной, а богатыри-утесы, гордо закинув головы, ждали счастья в таинственной тишине.

Трудно приходилось Онисе. Он решил расстаться с Маквалой навсегда, вырвать из сердца ее образ, а если не сможет, — умереть самому. С этим решением вышел он из села, и ему сперва как-будто даже стало легко. Он удивился на себя самого, как быстро овладел он собой, как скоро стал забывать колдующий взгляд Маквалы.

Как-то сидел он среди пастухов за ужином. Все кругом шутили, смеялись, только один Онисе был, как всегда, сосредоточен и молчалив.

Вдруг в сумерках раздались звуки пандури. Кто-то приближался к ним, перебирая струны и грустно напевая. Незвестный пел о том, как однажды охотник пошел охотиться на

туров. Он поскользнулся и упал со скалы, но зацепился за уступ оборами чувяков и повис над пропастью. Он попросил своего верного друга, собаку, рассказать о его беде одной только женщине, возлюбленной его. Собака не доверяла возлюбленной; не ей одной принесла она скорбную весть, но также и матери юноши.

Возлюбленная сказала: «Чтоб его глаза провалились, не подымался бы в горы, если не умеет ходить». А мать взвалила на спину тюфяк, оповестила деревню о том, в какую беду попал ее сын, и поспешила к нему. Из села пошли люди на помощь, была среди них и возлюбленная охотника. Рядом с ней, ломаясь и кривляясь, выступал богато-разряженный юноша, девушка часто поглядывала на него, играя глазами. Вот подошли они к месту беды, и нечто страшное предстало их глазам. Мать разостлала тюфяк под скалой, чтоб облегчить падение сыну, спасти его. Подбежала девушка, сняла с головы шелковый платок и закричала: «Эй, ты, трус, чего испугался? Ты только двинься, шевельнись сильнее, оборвутся оборы и полетишь ты вниз. А я раскину свой платок и поддержку тебя, чтобы ты не разбился». Поверил охотник словам возлюбленной, сорвался с высоты и разбился на смерть. Мать, прощаясь с сыном, испустила дух. А возлюбленная охотника, медленно удаляясь, шла по гребню холма под руку с пестро-разряженным юношей.

Игравший на пандури окончил песню, подошел к пастухам, поздоровался с ними. Его заслушались и потому не сразу ответили на приветствие.

— Преданнее матери никого нет на свете, ей-богу! — воскликнул кто-то из сидящих, и снова завязалась беседа.

Один Онисе был попрежнему мрачно-задумчив. Глубоко запали ему в сердце слова песни. Все ушли, а он все сидел неподвижно. В душе его копилась печаль, кругом царила скорбная тишина.

— Изменила, значит! — тихо проговорил он, — верно, и мне изменяет!.. За что? Разве другой может полюбить ее так, как я ее люблю? Нет, клянусь богом, нет! — воскликнул он, и две скупые слезы обожгли его щеки.

Онисе нацупал рукой ружье, поднялся с места и с той поры не возвращался больше на стоянку пастухов.

Редко встречаясь с людьми, он одиноко бродил по горам.

Скитаясь в горах, он одичал, стал сторониться людей, чуждаться себе подобных. Все мысли его, все представления, рожденные его взволнованным воображением, каждый его вздох, — весь этот трепетный душевный мир принадлежал Маквалу и был так сладостен для мохевца, что не мог он позволить чужому взору заглянуть в этот мир. Вся жизнь Онисе была отдана ей, и он, как скупец, тайком от всех, для себя одного благоговейно приоткрывал ларь своих сокровищ, один, без свидетелей, восторженно перебирал свои богатства.

Каждый раз, когда овладевала им тоска по Маквале, он страстно осязал ее образ, мысленно прикасался к нему то с гневной непреклонностью, то с вкрадчивой лаской, легкой, как дуновение ветерка. Он взбирался на вершины гор и подолгу глядел оттуда на дальние кругозоры, грозные или нежно-влекущие, глядел с неотступным вниманием, словно изучая в них каждую линию, каждый изгиб. И снова образ Маквалы вставал перед его мысленным взором — ангельски-добрый, когда сам он был добр, искушающе-злой, когда сам он был зол и жесток.

Песня пандури глубоко втиснула свой след в его душу, тяжелым камнем легла ему на сердце. Его одолевала мысль: «А что, если она изменяет и мужу и мне?» И груз этой мысли был для него слишком велик. Он сгибался под ним, силы покидали его, наступал распад всего его существа, и тогда он бывал жалок. Как змея, обвивалась вокруг него тайная эта мысль, точила его, вгрызалась в сердце, сосала кровь.

Но даже и эта титаническая борьба не могла его сломить, и, сбросив с плеч минутную слабость, он снова выпрямлялся, гордо закидывал голову и бросал вызов жизни: «Люблю Маквалу, и она будет моей!». Неодолимая, непреклонная сила страсти дышала в его словах. Чувствовалось, что нет преград для этой силы, и только одна смерть, всеуничтожающая смерть способна уничтожить ее.

Однажды Онисе был особенно мрачен. Вся жизнь представлялась ему холодной тесной могилой. Железным обручем стянула его сердце тоска, стянула с такой силой, что даже стон не мог вырваться из его груди. Разум мутился, в глазах темнело, горько кривился пересохший рот, ноги его подкосились. Он опустился на землю, чтобы дать отдых своему обессиленному телу. В глазах блуждала дрема, и он смежил веки. Сон вился над ним, но не мог покорить его, и он долго боролся с



изнуряющим полузабытьем. Голова обморочно кружилась. Он попытался привстать, но вдруг упал, как подкошенный. Сон сразил его, наконец; измученное тело потребовало восстановления сил.

Он спал с утра до полудня крепким сном, ни разу не шелохнулся. Но лицо спящего дышало жизнью: брови хмурились, на лоб набегала тень. Сон стал глубже, и постепенно покой разлился по лицу, морщины разошлись, грудь задышала ровней. Легкая улыбка скользила по губам, лицо осветилось радостью. Онισε рассмеялся во сне и проснулся. Долго не открывал он глаз, чтобы продлить счастье, подаренное ему сновидением. Наконец, он приподнялся, провел рукой по лбу.

— Проклятие! Не смог выспаться! — вздохнул он и спустился к роднику. Он освежил лицо холодной струей, утерся полкой чохи, пригладил волосы мокрой рукой и присел тут же на камень.

Долго предавался он своим печальным мыслям. Потом тихо зашел:

«Что, гора, ты в туманы закуталась?

На пути молодецком не стой!..

Иль за гребнем твоим мою милую

Обнимает чужой?..»

И вдруг глаза его загорелись мрачным огнем.

— Обнимает чужой?! — воскликнул он и вскочил.

Щеки его пылали, спокойное лицо стало грозным, метало молнии.

— Нет, богом клянусь, Маквала! Если не мне, так и другим ты не достанешься!.. Я люблю тебя, и ты моя навеки!..

«Лучше слов, что я придумал,

Не придумал человек!

Лучше умереть однажды,

Чем терзаться целый век!..»

— Да, лучше, лучше умереть однажды, так лучше! — воскликнул он и стал спускаться с горы.

Онισε шел твердой, стремительной поступью, пот катился градом по его лицу.

Огибая выступ скалы, он вдруг столкнулся с быстро шедшим человеком.

— Здорово, Онисе! — воскликнул встречный. Онисе смеялся.

— Бежиа, ты? — остановился он, в душе проклиная эту встречу.

— Куда путь держишь? — спросил с любопытством Бежиа.

— Никуда. Соскучился, решил на охоту пойти.

— О-о! — удивился Бежиа. — Турья голова тебе, турья голова! — приветствовал он Онисе обычным приветствием охотников. — Дай бог тебе удачи!

Онисе смущал его испытующий, недоверчивый взгляд.

— А зачем ты вниз идешь? — не выдержав, спросил пастух.

— Хочу поохотиться по ту сторону гор.

— А почему? Разве здесь не лучше?

— Нет, здесь пастухов много, и зверь напуган.

— Ну, дай тебе... Задержал я тебя!..

— Нет, что ты?.. Ты парень удачливый, у тебя счастливый глаз, ты не сглазишь.

— Дай тебе бог удачи! А скажи, пожалуйста, талисман — железное кольцо, не молвлено выкованное, — у тебя есть?

— А зачем мне оно?

— Как зачем? Ты значит не знаешь ничего? Вот я тебе сейчас расскажу, как это бывает... Встанет кузнец в страстную пятницу, не вымолвит никому ни слова, ни куска в рот не возьмет, ни глотка не выпьет, и так натошак, не произнеся ни звука, раздует горн и скует кольцо железное, и всякого, кто будет носить то кольцо, оградит оно от зла и от глаза дурного.

Онисе нетерпеливо ждал окончания рассказа, слышанного им тысячи раз.

— До свидания, Бежиа! — стал он торопливо прощаться.

— Ты что, друг, разве спешешь? Посидим, отдохнем немного.

— Некогда, опаздываю.

— Ну, давай отдохнем!

— Где ты был, что так устал?

— А вот присядем, тогда расскажу.

Они сели на камень у края дороги.

— Еще до рассвета пришлось мне гонять коз проклятых, разбрелись они... Как только вернулся, меня послали в деревню за хлебом, мы без куска хлеба остались; когда спустился вниз, оказалось, что лошадь отправили пастись в горы. Теперь иду за лошадью.

Онисе насторожился. Ведь Бежиа работает пастухом у Гелы, значит, он был у Маквалы, видел ее. О, теперь Онисе готов был до полуночи не расставаться с ним! Бежиа видел Маквалу,

стоял рядом с нею, теперь эта неожиданная беседа с пастухом показалась ему бесценным подарком.

«Только, что за проклятье!» — думал Онисе, — «Ни разу не упомянет о ней!»

Бежиа, как нарочно, ни словом не обмолвлялся о Маквале. Он тараторил безумолку, как неисправный мельничный жернов, вертел языком безостановочно, но ни одного зернышка для жадного слуха Онисе!

— Бедняга, как намучили тебя! — сказал, наконец, Онисе.

— Да уж, где нам, крестьянам, отдыхать, да еще батракам! Пришел я домой уставший, хотел отдохнуть, а тут Маквала за конем послала, не смог я ей отказать, сразу же и пошел.

— Маквала? — наконец-то губы Онисе произнесли вслух священное имя. Кровь прилила к его лицу, он принялся кашлять, чтобы скрыть свое волнение.

— Да, Маквала... Что ни говори, а такой женщины нет в наших горах. Богом клянусь, ей отказать невозможно ни в чем.

— Ишь, как ты о ней говоришь! — неловко попытался пошутить Онисе, изо-всех сил стараясь, чтобы голос его не дрожал.

— А отчего не говорить? Хорошая она... Не спросит человека, почему он брови насупил, развеселит его, утешит... А сердце какое? А нрав? Нет, не иначе, как сам владыка был ее восприемником!..

— А сердце у нее доброе? — спросил мохевец.

— Доброе, да еще какое! Слов не найдешь, чтоб ее восхвалить достойно!.. Только жаль ее, одна дома, много забот у нее по дому.

— Разве так уж много? — участливо спросил Онисе.

— А как же? Большое хозяйство, двор, скота много... Все надо в исправности держать... Ты что дрожжишь-то весь? — прервал свои разглагольствования Бежиа, пристально взглядываясь в Онисе.

Онисе насторожился. Как бы не предать дорогое имя не-доброй молве!

— Это ничего... Просто зябнется.

— Уж не лихорадит ли тебя?

— Нет, откуда в горах лихорадка? Просто холодно стало.

— В низине можно схватить!

— Можно... — согласился Онисе.

— Так ты ее, к тому же, и красивой считаешь? — остро спросил он.

— Кого? Маквалу? Звезда, с неба сорвавшаяся, — вот кто она!

При этих словах Онисе потерял всякую власть над своим сердцем, стон вырвался из его груди.

Бежиа снова испытующе глянул на него.

— Что с тобой?

— Должно быть, и вправду в низине схватил лихорадку! — сдался на этот раз Онисе. — А мне что-то не очень нравится ваша хваленая Маквала! — небрежно бросил он.

— Что? — удивился Бежиа, — нездоров ты, потому и болтаешь глупости. Ее красота всех с ума сводит, а ты говоришь, — не нравится?

— Нет, не нравится! Муж ее вернулся, что ли?

— Нет... его зимнее пастбище зноем повыжгло, он спустился пониже, нового ищет.

— И жену оставил одну?

— Совсем.

— Как он решается ее одну оставлять?

— Отчего же?.. Она — женщина надежная: кого избрала, тому и верна.

— Возможно, да только женщине всегда трудно одной.

— Уж не сидеть ли мужу весь век с женой! Когда же дело делать? Не годится так. А за Маквалой нет надобности присматривать, никто не собьет ее с пути, — убежденно заключил Бежиа. — Вот и сейчас она одна на мельнице, — дожидается помола.

Онисе вздрогнул. Глаза его засверкали.

— Как ты сказал? — он схватил Бежиа за плечо.

— А что такое я сказал? — растерялся Бежиа.

— Ты правду говоришь, что Маквала одна, совсем одна осталась на мельнице... Говори скорей! — Онисе охрип от волнения. Испуганный насмерть Бежиа извивался у него в руках. Он ничего не мог понять.

— Ей-богу, правду говорю! — жалостно оправдывался он.

— Совсем одна?

— Одна, одна!

— Хорошо! — Онисе отпустил Бежиа. — Ступай теперь своей дорогой. Да смотри, держи язык за зубами... Никому не проговоришь о том, что встретил меня здесь, не то, бог свидетель, ничто и никто тебя не спасет!



Бежиа поклялся, что будет молчать. Он взвалил на плечи свои пожитки и, попрощавшись с Онисе, зашагал своей дорогой.

— Пстой! — остановил его Онисе.

— Что еще? — испуганно оглянулся Бежиа.

Онисе подошел к нему вплотную и спросил, понизив голос:

— Она на мельнице?

— Да!

— Одна?

— Одна!

— Никого к себе не ждет? — допытывался Онисе, пронизывая взглядом бедного пастуха.

— Я сам проводил ее туда. Зерно отнес на помол и оставил ее одну.

— Прощай, Бежиа, прощай! — вдруг зашепшил Онисе. — Только братством тебя заклинаю, помни, о чем я просил тебя, забудь о нынешней встрече. Как-будто ты и не видал меня вовсе и ничего не слышал обо мне...

— Ну, так вот что, Онисе, — скажу тебе прямо, — если бы я расстался с тобой так, как давеча, обиженный тобою, я, пожалуй, и рассказал бы кому-нибудь о нашей встрече, об обиде своей. А теперь — пусть эта пуля пронзит мне сердце, если я выдам тебя.

С этими словами он вынул пулю из гнезда газыря и протянул ее Онисе.

— Пусть умрет Онисе, лишь бы тебе долго жить! — и Онисе дал ему взамен свою пулю.

Этим нехитрым обычаем скрепили они свое братство и отныне обязались быть верными друг другу в радости и горе.

И тотчас же острый выступ скалы скрыл их друг от друга, и каждый пошел своей дорогой, думая о своем.

Около полуночи Онисе достиг спуска в Снойское ущелье. Высоко в небе ярко пылала луна, в ущельи таился туман. Омытый лунными лучами, он расстилался мягким ватным плащом. Онисе зашагал вниз по спуску и сразу же укутался в туман. Луна как бы скрылась за облака, но сумрак все же был пронизан ее лучами, и легкий, рассеянный свет озарял окрестность. Отяжелевший воздух слегка колыбался от ветра и обдавал свежестью разгоряченное лицо горца.

Густая белая пелена скрывала алмазно-сверкающих богатырей. Временами порывы ветра разрывали эту пелену, и тогда то тут, то там вставала вдруг огромная, недосыгаемая глазам вершина, возникая черным видением из белизны.

Иногда над высоко взметнувшейся горой вспыхивал венец из звезд. А туман то вздымался, словно боясь прикоснуться к земле, то жадно прикивал к долине, вновь и вновь притягиваемый ее красотой.

Все кругом непрестанно менялось, все было неверно и зыбко, но уверенно шагал Онисе, нетерпеливо всматриваясь в ложбину и не понимая, близко она или далеко, потому что тропинка, по которой он шел, петляла и извивалась.

Ветер всколыхнул, разорвал туман, погнал его клочьями вверх. Перед Онисе распахнулась долина, по которой спокойно вилась река Сно. По берегам вразброску чернели маленькие мельницы, плетеные из лозняков. В сумраке они терялись среди валунов.

Тоскливо забилося сердце. Еще быстрее зашагал Онисе. Он не щадил себя, но путь казался томительно долгим, шаги — тяжелыми, медленными. Всей душой, всей страстью своей устремился он к знакомой мельнице. Ожидание встречи с любимой кружило голову, но тревога неизвестности терзала грудь. А что, если этот час, час, когда сердце Онисе озаряет священное и чистое пламя любви, что, если этот самый час Маквала отдала для услады другого, другому раскрыла розу, чтобы залить ядом сердце Онисе?

Всей силой своей души Онисе рвался вперед. Как девушке жених, как рыбе вода, как птице воздух, — так непреложно желанна была ему маленькая избушка, где рдела его роза, где таилась его горлинка. И в то же время невыразимый страх рвал его сердце на тысячи клочьев, ноги подкашивались от отчаяния и ужаса, от неизвестности. Ураган чувства бешено кружил его бедное сердце, и нечеловеческая сила несла его вперед.

Вот луч из оконца мельницы ударил в лицо Онисе. Горев вздрогнул, застыл на месте, как вкопанный. Он тяжело переводил дыхание, не смея ступить ни шагу вперед. Не горячее ли пули испугался он, не удара ли кинжала в сердце? А ведь Онисе не слыл трусом!

Нет, не смерти страшился он, с улыбкой готов он был встретить любую опасность, отразить самого дерзкого и яростного врага! Здесь подстерегала его иная опасность в облике

женщины, взамен стрел вооруженной влажно-сияющим взглядом, взамен петли — колдовской улыбкой прекрасных губ, взамен щита — непреклонностью. Женщина сразила, попраля его, лишила его сил, заморозила, обратила его в покорного своего раба.

Долго он силился сбросить с себя оцепенение, — напрасно! Наконец, рванулся вперед, беззвучно подошел к избушке и прислонился к стене, чтобы не упасть. Так стоял он под оконцем, не смея заглянуть в него, не смея поднять глаз на льющийся оттуда свет. Но вот он поборол себя, приподнялся на цыпочках и приник к свету.

Маквала сидела перед очагом на раскинутой бурке. Она была без нагрудника, ворот рубахи расстегнулся и обнажил юную белую грудь. Женщина прислонилась спиной к мешку с мукой и откинула на него усталую голову. На шее, литой, как восковая свеча, под прозрачной тонкой кожей чувствовалось едва уловимое пульсирование крови в голубоватых жилах, глаза, под опущенными веками, были окружены надежной стражей длинных и черных ресниц. Розовые отсветы очага лежали на кротко приоткрытых губах, на точеных ноздрях, трепетно вздрагивавших в лад дыханию. Печать божественного лежала на этом нежно-влекущем лице, и в то же время веяло от него усталостью и изнеможением. Черные вьющиеся волосы охватывали венцом высокий лоб, пленительная родинка оттеняла бархатистую свежесть щеки. Одной рукой женщина прикрыла грудь, словно убаюкивала ее. Другая соскользнула вдоль колен и сияла на черной бурке безупречной своей белизной.

Онисе изнемогал от боли и гнева, терял рассудок, но не мог оторвать от нее глаз. Ему так же трудно было теперь не глядеть на нее, как прежде трудно было решиться заглянуть в окошко и увидеть ее. Юноша пьянел от муки, и все же глядел, глядел с неутолимой жадью... А женщина словно и не спала, а ушла в какое-то бездумное забытье.

Вдруг она встрепенулась, широко открыла глаза, сладко потянулась, провела рукой по лицу. Откинула назад спутавшиеся косы и тяжело вздохнула. Потом снова прислонилась к мешку и глубоко задумалась, подложив руки под голову. И вдруг она запела вполголоса:

«О, ласточка, здесь щечечи,
Звени под оконцем моим!
Коль вправду ты любишь меня,
Зачем улетаешь к другим?»

Быть рядом с ней, прикоснуться к ней, ласкать ее — только это одно всепоглощающее желание теперь овладело Онисе. Он кинулся к двери, постучал.

Маквала замерла, прислушалась. Стук повторился, еще сильнее, еще громче.

— Маквала, Маквала! — иступленно звал Онисе.

Маквала подбежала к двери, схватилась за засов.

— Калау, калау, разве ты не слышишь меня? — колотил в дверь Онисе.

— Кто там, что тебе надо? — вся дрожь отозвалась Маквала.

— Открой, это я, открывай скорей, если не хочешь, чтоб моя кровь обагрила тебя!

— Зачем ты пришел ночью? Не открою! — робко защищалась Маквала.

— Калау! Дай взглянуть на тебя, дай еще раз посмотреть на тебя, а потом, клянусь богом, накормлю воронов своим телом.

И было столько неукротимой страсти, безутешной мольбы в голосе Онисе, что женщина испугалась.

— Онисе!

— О! — воскликнул Онисе, словно горячая пуля ударила ему в сердце, — открой, открой!.. Я взгляну на тебя и уйду... Уйду навсегда... Только без тебя не могу, не могу не взглянуть на тебя... Открой... Я не могу больше жить, калау, не для жизни я больше...

Маквалу пронзил страх за Онисе. Дольше не в силах бороться с собой, она отодвинула засов, и дверь распахнулась.

Онисе, шатаясь, перешагнул порог и припал к косяку. Он похож был на умирающего: лицо бескровно, в ямы над высокими скулами глубоко западали глаза.

Маквала словно оцепенела. Она низко склонила голову, опустила глаза, и только ее тонко очерченные ноздри слегка вздрагивали.

Казалось, не было на свете силы, способной удержать их вдали друг от друга, а теперь они стояли рядом и боялись шелохнуться, боялись вдохнуть. Онисе глядел на трепещущую Маквалу и с робостью, со страхом ждал ее приговора. Маквала не смела поднять глаз на Онисе, чувствуя пронизывающую силу его взгляда; счастье переполняло ее. Она, любящая, не столько видела, сколько чувствовала его бесконечно усталое ли-

цо, с такой любовью, мольбой и призывом, с таким горестным отчаянием обращенное к ней.

Ей трудно было говорить. Да и что могла она сказать? Упрекать его в том, что пришел к ней? Но ведь все ее мысли, все ее душевные мольбы неизменно были обращены к нему, чтобы пришел он, чтобы хоть раз ей удостоиться встречи с любимым, хоть раз еще изведать счастье, сказать ему о своей беспредельной любви. Открыть ему всю свою душу. Слить свое сердце с сердцем единственного! Да, но ведь Бежиа сегодня рассказывал ей, что Онисе собирается жениться на другой и что он счастлив и радостен.

Маквала вздрогнула, чаша ее испытаний переполнилась, она заговорила тихо, властно.

— Зачем ты пришел? — сердце громко колотилось в груди.

— Я люблю тебя! — твердо сказал Онисе.

Наступило молчание. Волна счастья и надежды снова залила Маквалу.

— Ты меня любишь? — безотчетно спросила она, подняла на него свои лучистые глаза и тотчас же снова опустила их.

Он гордо выпрямился, подошел к ней, почувствовал — победа за ним, и лицо его озарилось.

— Калау! Мы встретились и полюбили друг друга. Потом старались забыть друг друга... и не смогли. Не по нашей воле это случилось и не в нашей воле расстаться... Я старался, калау, видит бог, старался удалить тебя из своего сердца, вырвать с корнем любовь к тебе, каленым железом выжечь твой образ из своей груди, но только напрасно измучил себя: весь истаял, сгорел, и вот снова пришел к тебе!..

Онисе говорил спокойно и твердо, сам веруя в то, что говорил. Слова шли из глубочайших глубин его души, где закалялись они, очищались в огне любви.

Женщина покорялась этой уверенной силе, его голос, слова его проникали ей в душу, она таяла, растворялась в них, безмолвно им подчинялась.

Онисе обнял ее, привлек к себе, крепко обхватил руками, заглянул ей в глаза.

— Калау!.. — тихо, почти шопотом, говорил он. — Родная моя!.. Скажи мне... Я в последний раз пришел к тебе, скажи, куда мне деваться, что делать? Будешь ты когда-нибудь моей?!

— голос его оборвался. — Нет? — спросил он одними губами.

Она замерла, притаилась, почти не дышала, как заяц, чуящий близость орлиных когтей.

— Скажи, калау, скажи! — молил Онисе, все крепче сжимая ее в объятьях.

Сладкая истома охватила Маквалу, она поникла бессильно, и вдруг стон вырвался из ее груди; вскинув гибкие руки, она обвила их вокруг шеи любимого. Онисе приник к ее губам долгим жарким поцелуем.

— Маквала! — простонал он, легким движением подхватил ее на руки и стал покрывать поцелуями.

Тлеющие угольки в очаге погасли, подернулись пеплом. Мрак залил мельницу. В глубокой тишине изредка слышался только воркующий шопот влюбленных: они призывали в свидетели бога на небесах и жизнь свою на земле, что будут вечно принадлежать друг другу, навеки сольются воедино.

10

Безоблачны были первые дни их счастья. Созданные друг для друга, слишком долго томилась они друг без друга и теперь самозабвенно отдавались радости встречи, и эта радость заполняла все их часы.

Каждый вечер, после часа крестьянского ужина, встречались они, и пламя любви жгло их, и не было у них досуга, чтобы пораздумать о будущем.

Так всегда пролетает весна человеческой жизни. Редко кого посещает она во всей своей пышности, но если приходит, заставляет забыть обо всем и обо всех на свете.

Время шло, близился срок возвращения Гелы. А влюбленные не только не ждали его, но словно и не допускали мысли о таком бедствии.

Как-то Онисе пришел к своей любимой в назначенный час, крепко обнял ее, едва переступив порог.

— Почему ты опоздал? — ласково спросила Маквала.

— Разве опоздал? Вон взгляни! — и Онисе указал ей рукой на вечернюю звезду.

Маквала посмотрела на небо и улыбнулась, лучистая радость замерцала в ее глазах. Звезда еще не успела дойти до отмеченной ими черты, — значит Онисе пришел раньше условленного часа.

— Не знаю, — капризно ласкаясь, говорила Маквала, — мне показалось, что уже скоро рассвет.

— Ах, ты, моя ворчунья! — улыбнулся Онисе, — обманываешь меня!



— Нет, нет! — пьянея от близости любимого, шептала Маквала.

Они вошли в комнату и сели рядом на скамейку. Маквала склонила голову на плечо друга, искоса взглядывая на него. Онисе казался озабоченным. Дни счастья отучили ее от грусти и даже от простой повседневной скуки. Много горя, много забот выпало на долю Маквалы, но близость любимого излечила ее раненое сердце, и она, полная радости, забыла о печалях.

«Онисе любит и любим... О чем же он может грустить?» — думала Маквала.

— Милый! — сказала она. — Не грусти так, а то, ей-богу, заплачу.

Онисе восторженно-благодарно взглянул на нее.

— Разве могу я грустить, когда ты со мной? Как солнечный луч, поселилась ты в моем сердце, навсегда озарила его.

— Тогда отчего ты молчишь?

— Так просто, задумался...

— Нет, не хочу я печальных дум, не хочу горя! Говори, говори со мной все время, я хочу слышать тебя!

— Жизнь моя!.. Что мне делать, как мне ласкать тебя, чтобы утолиться твоей любовью? Чем отплатить тебе за счастье, как суметь никогда не огорчать тебя, не печалить твой взор?

— Сам не будь печален, — буду и я всегда радостной.

Онисе снова поник головой, задумался.

— Ты опять? — встревожилась Маквала.

Онисе поднял глаза на женщину, изведавшую в жизни так много горя и все же сумевшую сохранить всю чистоту свою и наивность.

— Маквала, сегодня я узнал, что Гела скоро вернется домой.

— Гела? — побледнела женщина. — Кто тебе сказал?

— Из Чечни вернулись пастухи, они и сказали.

Долго сидели они в глубокой задумчивости.

— Калау! — прервал молчание Онисе. — Мы были так счастливы, что позабыли обо всем... Готовься в путь, — пора нам уходить.

— А как мне готовиться?

— Мало ли? Пошить, постирать. Только много вещей не бери с собой. Трудно нам придется.

— А я ничего и не хочу.

— Когда же мы уйдем?



— Хоть сегодня.

— А ты не спрашиваешь, куда?

— Зачем спрашивать?

— А вдруг тебя потянет в другие места?

— С тобой мне всюду рай.

— Маквалаиси! Кто тебя такую чудесную породил? — Он горячо обнял ее. — Значит, я послезавтра приду и мы, помянув бога, тронемся в путь!..

— Хоть сейчас же!

На рассвете Онисе простился с Маквалой и пошел в горы. Он решил продать отару, собрать хотя бы столько денег, чтобы в новых местах, до обзаведения новым хозяйством, не обречь Маквалу на горькую нужду.

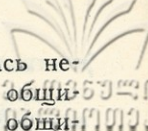
Он шел спокойно-радостный и думал о будущем. Но когда он достиг тех мест, где паслась отара, и увидел раскинувшееся по родным склонам стадо, тоска сжала ему сердце. Только теперь почувствовал он, как трудно ему будет расставаться с местами, где протекало его детство, вся его жизнь, где вкушал он и горе и радости, где научился чувствовать и думать. Шум родных ручьев ласкал и убаюкивал слух Онисе. Ему чудилось, что огромные, голые и бесплодные скалы таят в себе необъятные силы, и даже блеяние овец звучало для него, как песня.

Все вокруг, — от горделиво-синеющего высокого неба и величавых гор до самого мелкого щебня, — все здесь было безмерно дорого Онисе, и расставание стоило ему полжизни. Но он любил Маквалу, и ради того, чтобы обладать ею, сохранить ее, он готов был, не задумываясь, отдать всю свою жизнь.

А стадо, обреченное на продажу, благородная скотина, охраняя которую, он провел столько бессонных ночей! Многих нежных чувств лишился он, расставаясь со всем, что любил с детства, с чем прожил всю жизнь. Но любовь требовала, чтобы он отказался от всего.

Онисе созвал пастухов и сказал им, что решил продать свое стадо, потому что ему нужны деньги. Это известие поразило пастухов, но все они считали, что только крайняя нужда могла толкнуть его на этот шаг. Все высказывали ему сочувствие, как в большой беде. Так приняли пастухи решение Онисе. Однако, народ, теми, смотрел на дело иначе.

В те времена суждение народа, общины, еще сохраняло свою древнюю силу. Теми был единой семьей, и беда любого из его членов считалась общей бедой. Община защищала своих членов, заботилась о них. Тем же платил своей общине каждый



из них. Жизнь вне теми, в стороне от него представлялась невозможной. Каждый чувствовал себя под защитой своей общины. Оскорбление человека принималось как оскорбление общины, и это придавало каждому чувство гордости, внушало силу и непреклонность.

Когда теми узнал о решении Онисе, он пожелал, пользуясь своим правом, спросить у него отчета в его делах, и если в этом будет надобность, помочь ему.

Старейшие собрались не затем, чтобы наказать виновного, а ради того, чтобы сохранить единство и спокойствие большинства и не допустить оскорбительного для него поступка отдельного члена общины.

И когда Онисе беседовал со своими пастухами о продаже свечьего стада, к нему подошел Бежиа и передал, что на Ваке-Мта собрались старейшие и требуют его к себе.

Онисе попросил пастухов поскорее найти покупателя и пошел с Бежиа.

По дороге Бежиа рассказал Онисе, что сход теми собрался ради него.

— Зачем ты хочешь продать овец? — спрашивал Бежиа Онисе, — ведь труд свой на них положил, от зверя их охранял, растил их, как детей родных.

На Ваке-Мта, на лугу, собрались старейшие. Когда подошел Онисе, многие встали, приветствуя его.

— Садитесь, садитесь, уважаемые, я не заслужил такой чести! — и Онисе поздоровался с собравшимися.

— Отчего же? Ты из хорошей семьи, хорошего рода, — ответил один из старейших.

Наступила тишина.

— Начинай, Пареша, пора! — обратились мохевцы к седовласому старцу.

Пареша кашлянул, провел рукой по усам.

— Подойди сюда! — обратился он к Онисе, стоявшему поодаль от остальных.

Онисе приблизился к старейшим и почтительно остановился. Обычно он держал себя с ними, как равный с равными, и если кому-нибудь из них оказывал особый почет, то честь эта воздавалась возрасту, седине. Совсем иначе было теперь. Он стоял лицом к лицу с самим охранителем чести общины, блюстителем вековых обычаев народа, и покорно склонял голову перед его гордым величием.

— В народе прошел слух, что ты хочешь продать свое стадо, Онисе! Правда ли это? — спросил Пареша.

— Правда! — тихо подтвердил Онисе.

— Значит, хочешь разрушить свой очаг?

— Да.

Снова наступила тишина.

— Онисе, — начал Пареша, — теми хорошо тебя знает и ценит тебя. Ты от плоти и крови нашей. Ты всегда был верной опорой общины, другом своих соседей, всегда был первым среди лучших и в труде и в борьбе, добрым хозяином, храбрым защитником своего народа от врагов...

Голос старца задрожал, он остановился, чтобы перевести дыхание.

Онисе воспользовался этим.

— Люди!.. Не заслужил я такой чести, — пусть жизнь моя ляжет жертвой на ваш алтарь!.. Вы сами были всегда опорой и надеждой моей!..

— Постой! — прервал его Пареша. — Поистине, теми много помогает своим членам, поистине человеку нельзя жить вдали от общины. Что может сделать человек, если он останется один? Одинокий человек несчастен, жалок. Теми считает тебя сыном своим. Расскажи ему о своей беде, и он поможет тебе, и братья твои станут рядом с тобой.

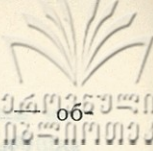
Онисе побледнел, потом стыд залил его лицо шафрановой краснотой. Как ему быть? Он не может открыться общине, но не может и лгать. А народ ждет ответа.

— Народ мой любимый! — прервал он, наконец, тягостное молчание. — Не могу я ответить на ваш вопрос. Не принуждайте меня лгать, лучше побейте меня камнями.

— Хорошо, — сказал старейший, — сердце человека для того и сокрыто от глаз, чтобы не все могли заглядывать в него. Община требует от тебя, чтобы ты не разрушал очага своего, не наносил вреда людям, не подавал им дурного примера. Что ты ответишь на это?

— На это? — повторил Онисе. — А вот что... Где бы я ни был, — пусть земля разверзнется подо мной, если я помыслю изменить общине! Клянусь быть верным и послушным ей... Но как же мне быть, если не могу я оставаться здесь!.. — горько воскликнул он.

— Остаься, остаься! — слышалось кругом.



— Тише! — сурово сказал Пареша. — Продолжай!

ратился он к Онисе.

— Теми зовет меня братом, я в долгу перед теми...

— Говори, что хочешь сказать.

— Больше тысячи голов в моем овечьем стаде. Есть у меня еще крупный рогатый скот, лошади. Хочу разделить все это поровну на две части. Половину хочу продать, а половину передать общине для тех, кто в нужде.

— Онисе! — встал один из старейших. — Твоя доброта нам известна. Добро же твое нажито твоим трудом, и пусть оно останется у тебя. Но ты — брат наш, и мы просим тебя, не принуждаем, остаться с нами, не уходить!

Долго еще шла беседа, долго старейшие уговаривали Онисе, но тверда была клятва, данная Маквале, и незыблем, хоть и труден, был его долг перед ней.

Народ решил отпустить Онисе, он понял, что только непреложнейшие причины могли побудить этого человека покинуть родные места.

— Онисе! — сказал Пареша, напутствуя его на прощанье. — Ты не хочешь остаться, и сердца наши стонут, разлучаясь с тобой. Добрый путь тебе, но помни всегда родину свою, братьев своих, могилы отцов своих! Не забывай никогда наших святых! Ты в любой день волен вернуться сюда. Помни материнское молоко, вскормившее тебя, вспоминай, что сердце наше печалится, расставаясь с тобой. Взгляни на горы! Здесь жили твои предки, горы эти были свидетелями их радостей и печалей!.. Не забывай о них, ибо все это твое!..


Старец обнял его и простился с ним.

11

Онисе попрощался со всеми и вернулся к своему стаду. Здесь ждали его покупатели. Они уже побывали у его родных, от которых, по горскому обычаю, получили согласие на покупку стада.

Онисе разделил все стадо пополам, половину он поручил пастухам теми, за другую половину получил деньги от покупателей.

Стадо еще не тронулось в путь. Онисе не отходил от него. Сердце тяжело стучало в груди, душу терзала печаль. Надо с детства жить около своего стада, чтобы понять чувства, которые обуревали Онисе.



Наконец, стадо двинулось. Опираясь на посох, стоял Онисе у дороги и безмолвно следил за ним. Стадо текло мимо, и вся жизнь Онисе казалась, проходила перед его мысленным взором. Вот идет пестроголовая годовалая овечка, которая крошечным ягненком осталась без матери, и Онисе долго выхаживал, нежил и холил ее. А вон холощенный баран. Блюстители порядка как-то хотели отнять его у Онисе, и он возмутился против несправедливости и отстоял его; а вон и козел, которого он отпустил вожакom с отарой, отправленной в Дзауг для продажи, и какой-то толстопузый купец захотел тогда завладеть вожакom, уверяя, что и он входит в купленное стадо. Онисе припомнил, сколько сил пришлось ему потратить, чтобы отстоять свои справедливые права на этого козла. А вот и широкогрудый вожак-баран, которого Онисе из года в год выставлял на бой баранов, и ни разу не знал с ним поражения. Ему вспомнился его задор на боевой арене, его высокие прыжки и громopodobные удары рогов, неизменно восхищавшие горца. О каждом животном Онисе мог что-нибудь вспомнить, каждое было чем-нибудь связано с его собственной жизнью. Баран узнал хозяина, узнал человека, с которым не раз делил свою славу. Он, словно гордясь своей верной службой, высоко закинул голову и зашагал прямо к нему. Спокойно и надменно покачивал он большими рогами, могуче сросшимися над крутым лбом. Он напряг шею и, еще выше задрал голову, с силой втянул ноздрями воздух. А потом, как бы охваченный страстью борьбы, стал тереться рогами о колени хозяина.

Мохевец долго ласкал барана, и тот как-будто чувствовал, что навсегда прощается с другом. Пора было расстаться, стадо ушло далеко, и Онисе, подтолкнув барана, погнал его прочь от себя. Тот сделал несколько шагов вперед, потом, удивленный и обиженный, остановился, повернул голову и, наострив уши, посмотрел на хозяина долгим, преданным и печальным взглядом. Онисе не выдержал этого взгляда, махнул рукой и отвернулся.

Быстро вскочил он на лошадь, взял другую за повод, и понесся прочь от пастбища. В поздние сумерки под'ехал Онисе к дому Гелы. Он соскочил с коня, перекинул поводья через луки седла, чтобы лошади не потерялись, и подошел к воротам. Он мысленно обнял Маквалу, подумал о предстоящем побеге, и тяжелый камень забот спал с его души. Маквала уйдет с ним, будет принадлежать ему одному, никто их больше не разлучит,

— эта заветная его мечта, почти уже осуществленная, радостью переполнила сердце, спустила покров на минувшее горе.

Он уже открыл ворота и шагнул через поперечный брус, как вдруг чья-то рука схватила его.

— Стой, не ходи!

— Маквала, ты?

— Тише!

— Что случилось?

Маквала увлекла его прочь от ворот.

— Сегодня бежать нельзя! — тихо прошептал ее голос.

— Почему? — холодный пот выступил на лбу у Онисе.

— Нельзя!

— Сейчас же собирайся!.. — прервал ее Онисе. — Медлить не стану! — твердо добавил он.

— Только не сегодня, сердце мое, нельзя сегодня! — жалобно молила Маквала.

Онисе, наклонившись, пытливо всмотрелся в ее лицо.

— Калау, почему не сегодня? — спросил он почти резко.

Маквала молчала.

— Говори, почему? — он до боли сжал ей руки, — ты что молчишь? Не слышишь разве? И отчего мы стоим здесь, идем в дом! — и Онисе шагнул к воротам.

— Куда ты? — испуганно уцепилась за него Маквала.

— Я хочу войти в дом.

— Нет, нет! Постой здесь! — зашептала она, вся трепеща, — я выйду сейчас... Мы уйдем, сейчас уйдем!

Он обхватил руками ее голову и приблизил лицо к ее лицу. Женщина опустила глаза.

Дрожь прошла по лицу Онисе, сердце замерло, в горле перехватило дыхание.

— Маквала! — с усилием выдавил он из себя, — говори, кто там? — он указал рукой на дом.

— Пусты меня, никого там нет!

— Никого! А почему же нельзя войти?

— Чего тебе надо? Отпусти меня, и мы сейчас же уйдем.

— Кто там у тебя, — спрашиваю я!

— Ведь иду же я с тобой! Чего тебе еще надо?

— А того надо, что нынешней ночью прольется кровь, — его или моя!.. Тьфу! — плюнул он, — баба, колдунья проклятая!..

И, оттолкнув ее, он в бешенстве кинулся к дому и... вдруг замер на месте. С порога его окликнули:

— Ну, удалец, храбро же ты шагаешь сюда, клянусь твоей жизнью, — посмотрим, как обратно пойдешь?!

Гела не мог в темноте узнать вошедшего, но отсвет очага из комнаты упал на дуло ружья. Онисе отскочил за стоящую перед домом арбу и нацелился в Гелу. Перед ним был его лютей враг, отнявший у него любимую, смертельно ранивший его сердце, и в этот миг жажда мести обуревала его, владела им всецело.

Два человека, одержимые страстной враждой, стояли друг против друга и мерили друг друга горящими, ненавидящими глазами.

Маквала бессильно опустилась на землю и, вне себя от напряжения, с ужасом следила за происходящим.

— Эй, ты, — крикнул врагу Онисе, — выйди во двор, и мы посмотрим, чье солнце померкнет раньше!

— Эх, удалец, клянусь твоей жизнью, лучше бы нам разойтись, не увидев друг друга!

— Трус ты, трус! Позор мужчине, просящему о мире, когда он держит оружие в руках!

— Пусть грех будет на твоей душе!

И звякнули два взводимых курка. Мрак, казалось, сгустился, на мгновение все стихло. Два огненных язычка метнулись с двух сторон, гул выстрелов огласил тишину, две пули понеслись навстречу друг другу, неся смерть двум сердцам.

Дым рассеялся. Один человек, обливаясь кровью, лежал на земле, а другой стоял над ним и спокойно чистил ружье.

Маквала припала к груди раненого Онисе, приникла к нему, словно вросла в него всем своим существом.

Взгляд Гелы упал на нее.

— Бесстыжая, даже не скрываешься передо мной! — крикнул он. — Ты любила его одного, так и уходи вместе с ним!

Он замахнулся и хотел вонзить ей в спину кинжал, но прибежавшие на выстрел соседи, схватив его за руку, оттащили его от полумертвой Маквалы.

К Онисе приставили лекаря. Нелегко было успокоить два враждующих рода, ежечасно готовых мстить друг другу за пролитую кровь.

Маквала с той ночи исчезла, и никто ничего не слышал о ней. Гела ушел из своего дома, скрылся от преследования кровников.

Немало времени прошло после несчастья, и хотя ни Онисе, ни Гела, ни Маквала не появлялись на людях, народ все еще продолжал волноваться из-за этого дела, возбужденно беседовать о нем.

Двор Онисе разорился, не лучше обстояло дело и с имуществом Гелы. Он был, как говорят в горах, «заражен» кровью, и ему приходилось скрываться от кровных врагов. Мужчины из обоих родов ходили при оружии, постоянно ожидая вызова на поединок.

В теми стало беспокойно. Помимо того, что из общины были два мощных хозяйства, можно было ожидать еще больших неурядиц, все пребывали в постоянном страхе, как бы не разразились новые беды, новые стычки между враждующими родами.

Не было ни единого человека во всей общине, который не поминал бы с омерзением всех троих виновников этого печального дела, троих несчастных, оскорбивших достоинство общины, нарушивших устои и обычаи ее. Вот как судили люди о виновных.

Гела, вопреки решению теми, нарушил устои его и насильно возвратил к себе жену, но, как видно, и Маквала не противилась этому, иначе как могла бы она оставаться у него? Если бы она не пошла на это по собственной воле, теми мог бы снова вступить за нее. Никогда не обмолвилась она ни единым словом против мужа, она жила спокойно, и община полагала, что муж и жена довольны друг другом.

И, однако, все знали, что Гела привержен к вину, что он человек грубый и способный несправедливо обидеть соседа. Он заставлял жену трудиться через силу, обрекал ее на непосильную работу, бросал ее месяцами одну, при этом постоянно бранил ее и избивал. Это, видимо, и оскорбило женщину, из-за этого погибла вся семья, пролилась кровь соседа. Трудно, должно быть, приходилось Маквале, но изменить семье она не была вправе. По законам теми она могла разойтись с мужем и соединиться с угодным ее сердцу, но до тех пор, пока она жила с мужем, ложь и измена ее осуждались богом и людьми, и потому ей не было прощения.

Про Онисе говорили, что он, должно-быть, полюбил женщину, а страсть может совратить человека с пути, однако, мужчина на то и есть мужчина, на то у него усы и на голове шап-

ка, чтобы умел он быть рабом своей чести. Онисе оскорбил нравственные устои теми, а теми не прощает такой вины.

И народ смотрел на всех троих, как на ветви одного дерева, обломанные и выброшенные вон, и община не могла иметь ничего общего с ними, выпавшими из братского союза.

Гела исчез, скрывался где-то. Онисе оправился от ран, но пока еще не мог выходить из дому, а Маквала была отвергнута всеми, даже двери дома родни были наглухо закрыты перед опозоренной женщиной.

На сходках, на престольных праздниках, в горах и в долине, всюду можно было услышать в те времена песни и стихи, сложенные об этом горестном деле. В этих песнях и стихах звучал суровый приговор народа тем, которые нанесли ему оскорбление, попрали честь и доброе имя общины.

Народ продолжал волноваться.

Маквала укрылась в развалинах крепости, и редко покидала свое укрытие. Но раза два ее видели односельчане, и дело дошло до того, что община потребовала ее отрешения, считая оскорбительным для себя даже близкое соседство с отвергнутой. Произошло еще одно событие, которое окончательно решило судьбу несчастных.

Был престольный праздник Зеда-Ниши. На ровном плато собрался народ. Шли обычные игры: борьба, стрельба в цель, поединки с копьём и щитом, передвижение валунов, джигитовка и всевозможные состязания, в которых испытывались ловкость, сообразительность и сила.

На краю плато молодежь затеяла игру в «похищение шапки». Народ бросился туда, все построились попарно. Одна пара стала в стороне. К ним подходили остальные, и один из подошедших в паре восклицал: «Выбор мой!» Другой называл одного из следующей пары, так каждый из участников игры подбирал себе пару. Потом стали подбрасывать в воздух плоский камень, смоченный слюной с одной стороны, и кто-нибудь из каждой пары загадывал свой выбор, — так разбились все игроки на похитителей шапок и на их защитников.

— Садитесь, садитесь! — раздалась команда.

Защищавшие свои шапки опустили на одно колено, спиной друг к другу. Народ расступился. Каждый из нападающих подошел к своему партнеру. Каждый должен был, сорвав шапку со своего напарника, добежать с ней до условной черты, а стоящий на коленях либо защищал свою шапку, либо, если уж

34935340
1974.10.10

ее срывали, кидался преследовать противника и, с помощью других преследующих, отбивал ее обратно.

Игра затянулась. Юноши с шумом и криком носились по полю друг за другом, смотрящие поощряли их веселыми возгласами, одни сменяли других.

Среди состязающихся были, разумеется, юноши из обоих родов — Онисе и Гелы, и хотя они не разговаривали друг с другом, но принимали участие в общей игре.

Игра оживилась. Нападающие кружились как ястребы вокруг своих жертв, но и защищающие выказывали немалую зоркость и осторожность.

Один из нападающих, юноша лет шестнадцати, налетел стремительно, как сорвавшаяся с неба звезда, сделал несколько ловких прыжков и, в мгновение ока завладев шапкой, понесся с нею к условной черте. Все повскакали и кинулись за похитителем, но он успел на много опередить преследующих и, уверенный в своем беге, играя, несся вперед.

— Выручай, Гиваргий! Видишь, шапку у меня отняли! — крикнул посрамленный одному из бегущих с ним рядом защитников шапок.

— Не будь он из рода Онисе, знал бы я, как с ним справиться, — ответил тот.

— Какое нам дело, что он из рода Онисе? Нашел, когда с этим считается? — сердито проворчал побежденный.

— Кровь за нами, — нельзя нам их задевать!

— Ой-ли? Лучше сознайся, что не можешь догнать его! — подзадорил первый.

— Ну, так смотри на меня! — с задором крикнул Гиваргий и сделал бешеный скачок вперед.


Он весь напрягся, мускулы вздулись, ноздри расширились и покраснели. Скоро всем стало видно, что в беге Гиваргий сильнее противника: с каждой секундой он как бы все ближе притягивал его к себе.

— А ну-ка еще! — подбадривал народ.

— Скорее, Гугуа, скорее! — кричали другие.

Гугуа обернулся и увидел своего преследователя. Он усилил скорость. Теперь оба бежали изо всех сил, но расстояние между ними становилось все короче и короче. Гугуа бежал, свободно перебирая ногами, не чувствуя усталости, но преследователь все же нагнал его, поравнялся с ним.

— Не уйдешь! — заносчиво крикнул он и протянул руку к шапке.



— Схватил, схватил! — закричали в толпе, но Гугуа отскочил в сторону, оттолкнул протянутую руку противника, тот, оступившись, растянулся на земле.

В толпе захохотали, Гугуа оглянулся на упавшего и крикнул:

— Эй, парень, что ты там нашел на земле?.. И мне доля полагается!

Гиваргий вскочил и вскоре снова нагнал его. На этот раз он не дал ему увернуться, схватил его за полу архалука и протянул к себе.

— Будешь хвастаться? — и он обхватил его рукой.

Гугуа теперь только узнал противника — из рода своих кровных врагов.

— Брось, Гиваргий! С каким лицом затеваешь ты игру со мной? — резко сказал он.

— А вот с таким! — так же резко ответил Гиваргий.

— За тобою кровь наща, разве не знаешь, что, по обычаю, тебе следует нас сторониться, избегать нас.

— Не за нами кровь, а за вами, это вы покрыли позором голову брата нашего, согнали его с хозяйства, и ты еще хочешь, чтобы я сторонился тебя?

— Отпусти! — закричал Гугуа и ударил его рукой в грудь.

Оба они были юны, но самолюбивы и храбры, оба получили в наследство от отцов кровь и обычаи гор. Оба поняли, что мирно им не разойтись, но, к счастью, они были безоружны, — этого требовали законы игры.

— Не отпущу! — ответил Гиваргий.

Они схватились и разошлись. Потом, измерив друг друга взглядом, снова сошлись, нанесли друг другу удары и началась рукопашная схватка.

Смотрящие не сразу сообразили, что происходит, но уже мгновение спустя, поднялся шум, послышались крики, угрозы, засверкало, зазвенело оружие. Родня и сторонники Онисе и Гелы пошли друг против друга. Остальные кинулись их разнимать, успокаивать, уговаривать, увещевать. После долгих волнений удалось, наконец, разнять враждующих, однако, несколько человек оказалось легко ранеными.

Народ успокоился, но веселье больше не возобновлялось. Все были озабочены, все считали, что должен собраться сход теми и рассудить два враждующих рода. Всем было ясно, что

без этого не обойтись, что иначе произойдут еще большие бедды, будут новые жертвы.

Через неделю в совете Самеба собрался сход и вынес такое решение:

«Маквала, как виновница всех несчастий, изменившая мужу и долгу своему, опозорившая теми и свой дом, обесчестившая семью и родню, должна быть проклята и изгнана из Хеви.

«Онисе, покрывший бесчестие женщину и оскорбивший семью соседа, опозоривший достоинство мужчины, нарушивший уклад теми, должен быть проклят и изгнан из теми.

«Гела, проливший кровь соседа и собрата, первый виновник тяжкого проступка жены, нарушивший мир теми, преступивший волю теми, — он вернул себе жену вопреки решению теми, — должен быть проклят и изгнан из теми.

«Всех троих изгнать из пределов теми, всех троих отлучить от теми и предать проклятию.

«Отныне, — продолжал оглашать волю народа один из старейших, — они отрешены от нашего теми, лишены очага нашего, земли нашей и вод наших... Они не удостоятся ни слез наших, ни погребения на родной земле, ни прикосновения к святыням нашим, ни молитв. И тот, кто протянет им руку помощи, подаст воду жаждущим, пригреет и пожалует замерзающих, — будет проклят и изгнан из теми».

— Аминь! — воскликнул народ, и долгим гулом отдавалось это слово в горах. Издревле прославленное величие было в этом решении. И все подчинились, покорились ему, как некоей таинственной силе.

В память печального события вырыли глубокую яму и вбили в нее высокий булыжный камень.

С этого дня два враждующих рода помирились через посредников и из кровных врагов превратились в связанных узам братства самоотверженных друзей.

Народ успокоился, устроил приношения святыням, и во время семейного пиршества старшие из родов Гелы и Онисе побратались, младшие были усыновлены женами старших, и все породнились взаимно.

Изгнанные лишались всего, даже средств на поддержание жизни; с великой болью прощались они с родной землей, с самыми крошечными камешками ее, ставшими такими дорогими отныне.

Уйдя от суетного мира, пастырь Онуфрий жил отшельником в скалах Бурсачиры. Далеко в горах гремело его имя, прославленное разумом и добротой, святостью и самоотверженностью. Неустанной молитвой, долгим постом и воздержанием возвысился он до высокого сана пастыря. Он жил в скале, в пещере, разделенной на две комнаты. Сложенная из больших камней тахта, грубо выточенный деревянный стол и несколько табуреток составляли всю обстановку его жилья. Кроме того, в восточном углу одной из комнат воздвигнул он каменный алтарь, на котором покоились крест и библия. На полках, выдолбленных в стенах, лежали сушеные целебные травы, стояла глиняная посуда, были разложены инструменты, необходимые при врачевании. Пребывая в постоянном одиночестве, он богатством души своей возвышал свою убогую, полную лишений жизнь, и обретал в этом мир. Он лишь тогда спускался к людям, когда какому-нибудь несчастному, болящему душой или телом, требовались его помощь и поддержка. И милосердие пробуждало в нем необъятные силы, изумлявшие многих. Он врачевал больного, утишал его страдания, наставлял его на путь истинный, вселяя величие человека в утратившего образ человеческий.

Онуфрий служил своему Хеву, вся жизнь его была посвящена народу, он всегда думал о собрате своем и радел за благо мира. Он забывал о себе, оказывая помощь другому, всего себя отдавал заботе о ближнем. Народ не мог не любить такого человека, и многие в одной лишь встрече с ним находили утешение своим скорбям. Жители Хеви заботились о нем, добровольно доставляли ему то немногое, в чем он нуждался. Ни одно творение, ни одно создание природы не погибло от его руки, ибо он почитал за грех нарушать человеческим вмешательством всеобщую красоту вселенной.

Раз он увидел горца, подрубавшего красивое дерево. Горец почтительно снял шапку и подошел под его благословение.

— Благослови, отец... — и он протянул руку, чтобы принять руку пастыря и приложиться к ней.

— Будь благословен, сын мой! — ответил Онуфрий, но руки своей не дал.

Горец встревожился и огорчился.

— В чем я провинился, отец мой, что не устаиваете меня вашей руки? — спросил он, бледнея. — Я не нарушал постов, не пил вина.

— Грех разве только в этом? — спросил Онуфрий. — Вот ты без нужды уничтожил жизнь, которая была создана господом для пользы и красоты мира, — продолжал он. — Ты поленился пойти подалее в лес, чтобы набрать сухих дров, в изобилии заготовленных там для нужд человека.

— Да, но тут поближе к дороге, удобнее! — смущенно возражал горец.

— Удобнее?.. А как же будут жить дети твои? Ты затрудняешь им жизнь. Ради своего удобства не в праве мы убивать даже простое растение.

Долго поучал пастырь горца, пока не убедил его, наконец, что грешно без пощады уничтожать богатства земли, и только тогда удостоил его благословения.

Так жил пастырь, так учил он народ беречь свое богатство, жалеть, оберегать те творения, которые не только не могут говорить, — не могут даже застонать, когда им больно.

И этот добрый всеобщий радетель, отец Онуфрий, отрыл из-под снега отверженную жизнью Маквалу, спас ее от смерти и дал ей кров свой.

Слишком много мучений перенесла эта женщина, не легко ей было притти в себя, тем более, что сердце ее не знало покоя из-за неотступной тоски. И Онуфрий все свое внимание, всю заботу обратил на нее. Он видел, что не только тело ее, но и душа изнывает от боли, что надо очистить, освободить эту душу. Однако, умный, мудреный жизненным опытом старец не дотрагивался до страждущей ни словом, ни взглядом, чтобы не задеть незаживших ран, не вызвать стенания и вопля души, не спугнуть доверия, которого он терпеливо и уверенно ждал.

Он понимал, что отягощенная грехом душа найдет облегчение в исповеди, но знал он и то, что сперва ей нужно созреть для покаяния.

Признание, исповедь без покаяния не даст душе той возвышенной силы, которая одна способна спасти ее от гибели, озарить лучем света ее мрачные тайники.

Пастырь не старался ловить Маквалу на слове, не хотел хитростью выведывать ее тайну. Он ждал, когда душа ее смягчится, и она сама сознается в своем грехе и покается в нем.

Онуфрий верил, что без воли господней ни единый волос не упадет с головы. Спасение Маквалы и встречу с нею в горах он приписывал провидению. Пастырь видел в ней грешницу, отмеченную богом, посланную к нему затем, чтобы он мог со всем христианским усердием исцелить ее и спасти. Отшельник мо-

лился за нее, наставлял ее перед распятием, повествовал ей о жизни человека, отдавшего тело свое и пролившего кровь свою во отпущение грехов.

Однажды в субботний вечер пастырь совершал молитву. Он в последний раз помолился за нищих и убогих духом и телом, за вдов и сирот, за всех обездоленных, перекрестился и произнес «аминь», как вдруг услышал у себя за спиной горькое рыдание. Он обернулся. Маквала, припав к земле лицом, рыдала и стонала. Лицо пастыря просветлело, он взял с аналоя распятие и подошел к плачущей.

— Приложись, дочь моя! Отец наш всевышний пошлет облегчение твоей душе. Молись Христу, положившему жизнь свою за страждущих.

— Отец, спаси меня! — горестно воскликнула Маквала. — Я не знаю слов, чтобы молить бога о спасении.

— Молитва не в многословии, дочь моя! — отозвался старец. — Каждое слово, исторгнутое из глубины сердца, каждый вздох достигает до слуха господня... Не обилие слов спасает душу от испытания, а чистота сердца освещает ей путь из мрака преисподней.

— О-о, отец мой! — и глаза Маквалы лучисто засверкали. — Ты проливаешь свет в мое сердце, — значит, всевышний услышит мои мольбы и спасет жизнь тех, кого я погубила?

— Нет грехов, которых не искупит раскаяние!..

— Слава силе его и великодушию! — произнесла женщина.

Долго молились они молча, отдаваясь благоговейно возвышенным мыслям. Вдруг Маквала побледнела и опустила глаза. Она прикрыла ладонью веки, ей представилась вся смута, которую внесла она в жизнь теми, нарушив его вековые обычаи и нравы ради минутной радости своей, и скорбь с новой силой пронзила ее. Впервые она почувствовала всю тяжесть вины своей и сочла себя недостойной обращать молитвы к господу.

— Что с тобой, дочь моя? — ласково спросил ее пастырь, кладя руку ей на голову.

— Отец! — взмолилась она дрожащим голосом. — Душа моя мятется... Нет мне покоя, не могу я молиться!..

— Ты еще не обрела полноты веры, дочь моя! Доверься мне, пастырю своему, и, может быть, я сумею облегчить твою горе.

Маквала подняла на него глаза, тяжело вздохнула и снова потупилась.

— Кто ищет спасения, тот должен иметь в себе больше веры и доверия!.. Ты не доверяешь мне?

— Нет, нет, доверяю, но трудно мне говорить, отец

— Дочь моя! Один я, без свидетелей, слушаю тебя, я пастырь твой, который помолится за тебя перед господом и будет помнить о рассказе твоём лишь тогда, когда душой сольется с господом... А на людях память моя об услышанном изменит мне, виденное мною забуду, дар слова умолкнет во мне. Слушай меня, ибо да — это да, и нет — это нет!

— Я верю, отец, исповедую слова твои! — и Маквала рассказала пастырю о постигших ее испытаниях.

Пастырь слушал внимательно, всецело проникаясь ее горем. Он считал, что его долг не только выслушать человека, но и помочь ему в скорбях, облегчить страждущую душу, подать ей, обессиленной, отчаявшейся, надежду на новую жизнь.

Он поднял созерцательно-углубленный взгляд и обратил его к образу богоматери. Пастырь молился об укреплении своих душевных сил, чтобы смог он указать женщине путь истинный, восстановить в ее сердце полуразрушенный храм жизни.

Он положил руку ей на голову.

— Господи, всебагаой! Ты добр и милосерден, помоги грешным, ибо не знают, что творят!

И пастырь поднес к губам женщины крест. Она набожно приложилась к нему.

В кротких словах старца не было ни тени упрека, лаской и успокоением овеяли они сердце Маквалы.

С того дня она обрела силу для жизни, сумела сделать свою жизнь полезной для мира, для людей. Научившись различать целебные травы, она ходила вместе с пастырем собирать их и помогала ему готовить лекарства для больных.

14

Темной, ненастной ночью, когда небо, разверзаясь, обрушивалось на землю, когда громовые раскаты раздирали человеческий слух, и молния, подобно изверженному из земли огню, слепила глаза, — пастырь и его ученица сидели перед очагом и перебирали целебные травы. Гроза бушевала в горах, скалы рушились и с адским грохотом низвергались в пропасть. Ураган вырывал с корнями деревья и, закружив их в воздухе, швырял в бездну. Природа свирепствовала и грозила смести, уничтожить весь мир.

Покрыв колени чистой дубленой кожей, старец растирал травы на гладком камне.

— Подорожника теперь хватит, — сказал он, — дай немного мелиссы!

— Сделаем побольше, раненых ведь много, — отозвалась Маквала.

— Этого хватит хоть на целую толпу народа! — сказал старик.

Женщина подала траву и снова принялась ткать шерстяную ткань на чоху. Наступило молчание, буря тоже притихла.

Вдруг снова завыл ветер, сверкнула молния, оглушительно ударил гром. Хлынул ливень, распахнулись небеса, скребуший, хрипящий гул обрушившейся в ущелье скалы на мгновение покрыл все звуки.

Женщина перекрестилась.

— Проклятая ночь! — прошептала она.

— Быть беде этой ночью! — сокрушенно добавил старик.

Непогода бушевала.

— Небо, что ли, обрушивается на мир? — прислушался старец.

— Да, вздуются потоки, разольются, а тебе так далеко идти? — робко сказала Маквала.

— Не растаю от непогоды, а людям помощь нужна.

— Опасно, поберечься надо!

— Нет. Других надо беречь, тогда и они тебя поберегут...

Бог велик и милосерден, — твердо сказал старик.

— Разве ты сегодня ночью пойдешь? — помолчав, спросила Маквала.

— Сегодня... А что?

— Ничего... Но... — голос ее задрожал.

— Что но?

— Дождался бы утра.

— Зачем?

— Чтобы не... — она не докончила и отвернулась.

— Ну, скажи, о чем ты?

— Темно, собьешься с пути! — уклончиво ответила женщина.

— Нет, Маквала, там семь человек раненых ждут меня! Как я могу не пойти? Не тревожься, с пути не собьюсь.

— Нет, нет, конечно, иди. Я бы сама тебя проводила...

Старик ласково взглянул на нее. Вскоре он поднялся и стал собираться в дорогу.

Маквала укладывала в кожаную сумку лекарства.

— Поскорей, Маквала, опаздываю! — заторопил ее старик.

— Все готово! — и она привязала ему к поясу сумку.

Пастырь благословил и перекрестил ее.

— Господи, исцели раненых и не оставь без своего милосердия того, кто заботится о них! — тихо помолилась она.

Старик вышел. Маквала прибрала жильё, засыпала золой горящие угли в очаге. Приготовилась ко сну, разделась, хотела перекреститься и вдруг испуганно замерла на месте: ей показалось, что кто-то снаружи налег на дверь. Она прислушалась. Все заглушил резкий порыв ветра.

— Боже, какая ночь! — прошептала она, перекрестилась и легла.

Но заснуть она не могла. Непонятная тревога сжимала ее сердце. Она и прежде часто оставалась одна, и одиночество не пугало ее. Да и устала она настолько, что недавно чуть не заснула сидя. А теперь какая-то дрожь вдруг охватила ее, лишила покоя.

Маквала давно умерла для мира, избавилась от страстей мирских. Она убила в себе все радости тела и жила только ради возвеличения духа. И никого она больше не ждала, ничего не хотела от этого мира. И все же теперь какое-то смутное ожидание прокралось к ней в душу, нежно точило ее сердце, сулило ей ласку и спасение. И она знала, что это ожидание подстерегает ее, как беда, поселяет смятение в ее сердце. Маквала почувствовала, что к ней возвращается прежний недуг. И снова кто-то налег снаружи на дверь. И снова все стихло... Никого... Она глубоко вздохнула и на одно мгновение возник перед нею образ, навсегда ушедший из ее жизни.

В следующее мгновение она уже спокойно спала, мир снизошел на нее.

А ветер все продолжал бушевать в горах. Клонил к земле верхушки столетних деревьев, с силой бился в дверь пещеры. Раскатов грома больше не было слышно, но молния еще змеилась по нахмуренному небу, освещая разгромленную непогодой окрестность. Звери отлеживались по своим логовам, не смея высунуться наружу.

Сверкнула молния и ослепительно озарила дверь пещеры. Как призрак, приник к ней человек, закутанный по самое лицо в бурку. Ветер завихрился, с новой яростью налег на дверь. И под его ли напором дверь подалась, открылась настежь, и человек в бурке мгновенно исчез в зияющей черноте; земля ли раз-

верзлась и поглотила его или, обратившись в крылатого злого духа, он улетел вместе с ветром?

Налег мрак, скрыл все. Природа снова неистовствовала, небо проливало ручьи слез, ветер выл, рыдал... И вдруг с этим рыданием слился бессильный женский крик... Ветер подхватил и умчал его неведомо куда, он возник еще раз, и тотчас же оглушительно ударил гром, вспыхнула молния, и земля погрузилась во мрак преисподней...

15

Наутро все успокоилось, ночное безжалостное неистовство природы смягчилось. Небо сияло чистотой, и лучи солнца играли на горных вершинах. Разоренная, растерзанная земля была печальна, но солнце восходило весело, как-будто утешая ее: «Не печалься, я обогрею тебя, разукрашу снова».

Горные красавицы, душистые цветы, беспощадно смятые ночной бурей, слышали этот призыв и снова подняли свои головки и радостно заулыбались. У подножья скалы появились люди, подымавшиеся к пещере. Среди них был пастырь Онуфрий, его седая грива и борода сияли на солнце.

Добрались до дерева у входа в пещеру и сели под ним отдохнуть. Было отрадно, что снова живительное солнце расцветивает, нежно украшает мир. Беседа шла легкая, спокойная. Только старец казался озабоченнее обычного.

— Вот вы пойдете назад, и я тогда спущусь с вами к больным, — сказал он спутникам, — а теперь отдохните, подкрепитесь едой, здесь родник хороший, у вас еще долгий путь впереди.

— Нет, пастырь, поздно, спасибо вам, — отказались они.

— Освежимся родниковой водой. Что-то пасмурно у меня на душе, потрапезничаем вместе, — стал упрашивать старец.

— Быть по вашему! — согласились спутники из почтения к своему пастырю.

— Вот это хорошо! — воскликнул Онуфрий и пошел в пещеру за едой.

Он переступил порог. Его удивило, что Маквала не вышла его встретить. Вошел во второе помещение. Женщина лежала в постели, с головой закрытая буркой.

— Маквала! — тихо окликнул ее старец. — Ты спишь еще, Маквала?

Ответа не было. Он еще раз посмотрел на спящую и



решил, что она, верно, не спала всю ночь, и не стоит теперь будить ее.

Осторожно ступая, он вернулся в первую комнату и принялся сам готовить еду. Вскоре он подал гостям хлеб, сыр, домашнюю водку и вареную ветчину.

Все знали, что пастырь приютил какую-то несчастную женщину, но никто не решался расспрашивать его о ней.

— У меня живет одна женщина, бездомная, нашла здесь убежище, — сказал старец. — Вчера, верно, не могла спать из-за непогоды и теперь уснула так крепко, что я пожалел ее, не стал будить, а то угостил бы вас получше.

— Что вы, всего много, предостаточно! — горячо отозвались гости.

После первого стакана все стали словоохотливее и перешли на прославленные «смури» — тосты с обращениями друг к другу в стихах, — обычай, который так украшает и оживляет трапезу горца.

Солнце уже клонилось к западу, когда гости собрались уходить. Они шли заарендовать покосы для села и обещались на обратном пути зайти за Онуфрием, чтобы вместе спуститься вниз.

Распрощались и ушли. Развеселившийся Онуфрий, тихонько напевая, вошел в пещеру.

— Маквала! — крикнул он с порога, — нельзя так долго спать, солнце за полдень склонилось!

Не получив ответа, старец опять заглянул во вторую комнату.

Маквала лежала все также неподвижно, словно ни разу и не шелохнулась.

— Калау, что с тобой? — неуверенно заговорил он, — не больна ли ты?

Могильная тишина царила в комнате. Женщина стыла в каменном оцепенении.

— Маквала, Маквала! — испуганно закричал старик. Холодный пот выступил у него на лбу.

Он подбежал к постели, быстро откинул бурку и в ужасе отступил, закрыв лицо руками.

Его потрясенный взгляд охватил все сразу: окровавленную грудь Маквалы, кровь на ее рубаше и глубокую, зияющую рану под сердцем.

Бессмысленное и непоправимое зло ужаснуло его, повергло в глубокую скорбь. Не скоро он овладел собою. Перед ним ле-

жал труп женщины, так недавно преодолевшей тягчайшие испытания, нашедшей в себе силы снова выйти на светлый путь жизни.

Глаза Маквалы были открыты, горькая усмешка застыла, в уголках губ, — последний упрек злему и неправедному миру.

Слезы хлынули из глаз старца.

Кто же он, этот безжалостный злодей, жестокости которого нет названия? За что он пресек жизнь одной спасенной души, навеки погубив свою собственную?

Онуфрий встrepенулся. Доброе сердце пастыря заботливо обратилось к судьбе того несчастного.

— Господи! — он поднял залитые слезами глаза к распятию, — прими в лоно святых душу рабы твоей Маквалы... Отпусти грех убийце, ибо не ведал он, что творил!..

И тут, впервые за всю свою долгую жизнь, задал он себе вопрос: имеет ли он право заступаться перед всевышним за убийцу Маквалы, — и замолчал. Долго смотрел он, не отрываясь, на облик Христа, и лицо его выражало глубокую душевную борьбу. Наконец, он перекрестился и уверенно произнес:

— Нет прегрешения, которое не может быть омыто слезами и покаянием!

Пастырь совершил омовение покойницы, положил ее на скамейку в первой комнате, зажег свечи и, опустившись на колени, стал молиться.

Он молился за душу усопшей, за убийцу ее, за тех, кто отрешил, отверг ее, за народ, чей суровый приговор толкнул к гибели слабое создание, и за тех, кто оскорбил обычаи и нравы народа. И в эти мгновения не было для него врагов, а были только падшие духом, одержимые страстью, убогие и больные, и пастырь горячо молил господа ниспослать им освобождение, просветить их разум. И не было границ его великодушию и милосердию.

В полдень на следующий день вернулись с гор его спутники. Они весело окликнули его, чтобы, как было обещано, захватить его с собой в село.

Пастырь вышел к ним, печальный и величественный, и рассказал о своей горе.

— Убили женщину в твоём доме! — воскликнули возмущенные гудемакарцы. — Скажи, кого подозреваешь в этом гнусном злодеянии, и мы отомстим за тебя!

— Не знаю, дети мои! — кротко ответил он. — Да и следует ли нам поступать сурово, кровью и мечом обрушиваться

на несчастного, потерявшего облик человеческий в неведении своем?

— Покаянись, что не знаешь убийцу. Ты скрываешь имя его в милосердии своем. А, между тем, мы будем подозревать друг друга, доверие между соседями исчезнет... — настаивали они.

— Я не буду клясться! — выпрямился старец и гордо взглянул в глаза пришедшим. — Ибо мое да — есть да и мое нет — нет!

Гнев звенел в его голосе. Слушавшие опустили глаза. Они поняли, что если бы пастырь знал убийцу, он назвал бы его, но не назовет, ибо судьей деяний человеческих поставлен единый бог всевышний! Пастырю неизвестно, кто убийца.

— А теперь, друзья, помогите мне отдать последний долг несчастной жертве, ибо искренним покаянием она заслужила прощение!

Все сняли шапки, вошли в пещеру и молча постояли над прахом Маквалы.

— Предадим ее земле! — тихо сказал пастырь.

Гудамакарцы вырыли узкую, глубокую могилу в сырой земле. Вынесли усопшую, еще так недавно полную жизни, положили ее ненадолго у края могилы, чтобы пастырь совершил последний обряд, сказал ей последнее напутствие, и потом опустили в могилу.

Прозвучали последние прощальные слова: «Прах есть и в прах обратишься!» — и могилу засыпали землей, и Маквала навеки простилась с солнечным миром.

С той поры почти каждый день, перед заходом солнца, можно было видеть пастыря у могилы Маквалы. Обнажив голову и преклонив колени, он возносил молитву за упокой ее души.

16

Слух об убийстве Маквалы долго волновал соседние общины Хеви. Честь Гудамакарского ущелья была задета этим преступлением, и народ искал убийцу, чтобы его казнью смыть с себя темное пятно.

Подозрения падали на Онисе или Гелу, люди разыскивали их, но оба они исчезли, словно земля поглотила их. Так и не удалось разгадать тайну, и постепенно угасла память об этом возмущающем душу событии.

Как-то летним вечером пастырь Онуфрий сидел у порога своего жилья и с грустью глядел вниз на Гудамарское ущелье.

Овечьи гурты шли в горы на горные пастбища. Стада раскинулись по изумрудным склонам, переливаясь на солнце спящей белизной. Сочный, душистый корм неодолимо манил их, зывал к себе. Кое-где пастухи, в накинутых на плечи бурках, в сдвинутых на бок шапках, стояли на склонах, сторожа стада. Вдруг нагнется пастух, поднимет камень и запустит им в непокорную дьяволицу-козу, чтобы отогнать ее от обрыва. Или крикнет звонко, послушает эхо, и потом зальется чистым колокольчиком, затянет песню:

«Один стою, один пою,
Печален голос мой!
Весенний дождик, прошуми,
Печали с сердца смой!
Звени листвою, ветерок,
Чтоб я забыться мог!
Кто изменил любви своей,
Того накажет бог!..»


Песню подхватит другой, потом третий, и начнут они, подзадоривая друг друга, переговариваться стихами-шаири, без усталости состязаться в стихах и песнях.

Онуфрий с любовью глядел на этих жизнелюбивых, сметливых, ловких юношей, чьи вольные сердца так весело одолевали и суровость природы, и тяжелую неправду жизни.

Он вспоминал свою юность, бурную весну своего сердца, ту пору, когда жизнь сама летит навстречу опасностям и испытаниям. Теперь новые отрады — опыт сердца, отказ от страстей, отрешение от суеты житейской, мудрое познание единственной истины служения ближним — сменили трепетный жар юности.

Глядел Онуфрий на вольнолюбивых детей гор и радовался их радости. Но мысли его были обращены к тому, чтобы сделать их счастливее, устранить все тернии с их пути. Многие препятствовало справедливому ходу их жизни. И когда пастырь начинал думать о тех, кто нарушал мирное существование его паствы, он, уподобляясь святым отцам, превращался в воина, готового сразиться с врагами, положить жизнь свою за благо народа, чтобы сам народ учился на его примере величии самопожертвования.

Солнце опустилось за вершины гор. Пастухи ушли на ночлег. Звуки жизни постепенно затихли и ночная тень заволочла окрестность. Месяц прятался за облаками. Но вот на



невидимых склонах кое-где вспыхнули пастушьи костры. Ответ их причудливо озарил неровную местность. Изредка какая-нибудь овчарка протяжным лаем отзывалась на волчий вой, вечерний ветерок подхватывал звуки, перекатывал их по оврагам и ущельям, из далекого леса порой доносилось ворчание медведя.

Старец сидел неподвижно, устремив застывший взгляд на факельно освещенные плечи богатырей-гор. Мысли его были подобны морю, металась волнами из края в край. Судьбы людей в бесконечной смене проходили перед его внутренним взором. «Почему я бессилён сделать всех счастливыми, избавить всех от испытаний!» — мысленно восклицал он.

Он поднял глаза к небу. Одна звезда горела ярче всех.

Вдруг она вспыхнула, сорвалась с неба и, описав дугу, упала в пропасть. Пастырь вскочил и перекрестился:

— Господи, спаси грешную душу и прими ее в лоно свое! — не успел он дочитать молитву, как раздался выстрел и кто-то тяжело упал неподалеку от него.

Старец вздрогнул. Тотчас же пошел он на звук выстрела, смело ступая в темноте. Вдруг стон, человеческий стон донесся до его слуха. Он насторожился.

— Проклятье! Промахнулся! — снова простонал кто-то.

Онуфрий повернул в ту сторону, откуда слышался стон. На гребне холма сидел человек. Он резко вырисовывался на сумеречном небе. Левое плечо его было обнажено, — он перевязывал рану. В это мгновение луна разорвала облака, и ее яркий белый луч облил раненого. Старец зажмурился, — таким ужасным показался ему облик несчастного.

Борода и волосы его были всклокочены, одежда висела лохмотьями, на исхудалом бледном лице высоко торчали скулы, глаза ввалились в орбиты и дико блестели. Незнакомец заметил старца, подхватил с земли ружье и хотел бежать.

— Стой, несчастный! — приказал пастырь так властно, что тот застыл на месте.

— Ранен? — спросил Онуфрий, подходя к нему.

— Нет, нет! Нечаянный выстрел, пуля чуть-чуть поцарапала плечо.

Пастырь хотел осмотреть рану, но незнакомец в ужасе отпрянул от него.

— Не прикасайся ко мне! — воскликнул он, — я не достоин!

Старец заглянул ему в глаза. Незнакомец опустил голову,

уклонился от взгляда, хотел отвернуться, уйти, но вдруг упал на землю, как подкошенный.

Пастырь подошел к нему. Осмотрел и перевязал рану, — она была не опасна, но раненый, видимо, ослабел от потери крови.

— Благослови, отец! — едва слышно прошептал незнакомец.

Старец поднес к его губам маленькое распятие.

— Именем распятого за грехи наши, прими благословение, сын мой!

— Нет, нет, не так! — воскликнул несчастный и поднял глаза на пастыря.

Его лицо искажилось нечеловеческой мукой. Он походил на душевнобольного.

— Что с тобой, сын мой? Рана беспокоит тебя? — спросил старец.

— Нет! Причасти меня!

— Надо подготовиться к причастию! — ответил старик.

— Приготовь, приготовь меня к причастию! — шептал неизвестный.

— Бог велик в своей благодати; скажи, что тяготит твою душу? — заторопился отец Онуфрий. Раненый терял силы, и пастырь боялся, что он умрет с тяжким сознанием неотпущенного греха.

Неизвестный хотел говорить, он страдал, от жара пересохло во рту, язык не подчинялся ему. Онуфрий принес родниковой воды в кожаной фляге и влил ему в рот несколько капель. Раненый пришел в себя, почувствовал нестерпимую жажду и попросил еще воды.

— Потерпи, сын мой, нельзя тебе воды, сейчас тебе это вредно.

— Горит, пылает все нутро у меня! — взмолился раненый. — Каплю, хоть каплю одну!..

Старец отвязал сумку от ремня, достал ложку, налил в нее воды, всыпал туда порошок сушеной сливы и поднес ложку ко рту больного.

— На, выпей и больше не проси!

Неизвестный жадно проглотил несколько капель подкисленной воды.

— О-о! — облегченно вздохнул он и прикрыл веки.

Пастырь долго ждал, надеясь, что больной придет в себя, наберется сил для исповеди, но тот лежал в забытьи.

Вскоре больного охватил озноб. Лицо его искажилось. Ону-

фрий понял, что это лихорадка, вызванная раной, — хороший признак. Он осторожно прикрыл неизвестного буркой и молча опустил ся рядом с ним.

Спустя некоторое время, пастырь дотронулся рукой до его лба.

— Слава богу, жар начался, и сильный какой! Это хорошо. Больной стал метаться. Лоб его покрылся обильным потом.

— Жар поднимается, вспотел. Хорошо для него! — сказал Онуфрий и осторожно вытер со лба больного пот.

Больной бредил, что-то шептал про себя. Старец напряг слух, стараясь что-нибудь разобрать.

— Маквала, Маквала! — ясно расслышал он.

Онуфрий вскочил. Вихрь горьких мыслей закружился у него в голове.

«Не этот ли? — думал Онуфрий. — Не он ли так жестоко оборвал бедную жизнь Маквалы?»

Пастырь стал вслушиваться еще напряженнее, но больной больше не проронил ни слова. Он стал дышать ровней и затиш. Тогда Онуфрию подумалось, что он, быть может, напрасно из-за случайно оброненного слова возвел тяжкое обвинение на неизвестного, и, ужаснувшись своему поступку, он стал горячкаться в нем.

17

Рассвет тронул клювом ночную мглу и расцветил ее; легкий ветерок, предвестник утра, тихо покачивал полевых красавиц, будил их, нежно что-то нашептывая, готовил их к встрече владыки дня. Небо светло заголубело. Мягкий свет брызнул на землю. Полусонные птички в ожидании дня вздрагивали от утреннего холода, встряхивались и изредка протяжно щебетали, приветствуя творца природы.

Старец стоял с обнаженной головой, волосы его растрепались, борода спуталась. Он горячо молился господу об отпущении ему тяжкого греха: невольным и, быть может, незаслуженным подозрением он оскорбил высшее, что есть в человеке.

Больной, спавший под буркой, пошевелился.

— Где я? — простонал он.

— Здесь, сын мой, рядом с отцом твоим духовным, который заботится о тебе.

— Священник? — больной зажмурился.

— Не священник, а брат твой и отец, посланный, чтобы помочь тебе.

Больной открыл глаза, с благодарностью взглянул на пастыря.

— Как ты себя чувствуешь?

— Плохо, отец! — с горечью сказал он.

— А по-моему тебе лучше!

— Оттого и плохо, что лучше. Не следовало мне оставаться в живых!

Он замолчал. Нелегко было обоим продолжать беседу.

— Ты обещал мне вчера... — с трудом произнес больной, — что удостоишь меня причастия.

— Да, но твоя слабость помешала этому. Ты не мог говорить. А сегодня, надеюсь, ты мне исповедуешься, и благодать господня снизойдет на тебя!

— Мне исповедываться? Своими устами рассказать о себе? Не могу я этого, хоть на куски меня изрежьте, — не могу!

— Нет, сын мой, надо признаться в своих деяниях, да и что толку скрывать, — нет тайны, которая не стала бы явной. Перед тобой пастырь, неустанно пекущийся о тебе. Может ли врач исцелить больного, если причина болезни ему неизвестна? В голосе пастыря звучала отеческая ласка, величая уверенность в собственных силах.

— Сын мой! — продолжал пастырь, сердечностью и уверенностью покоряя волю и чувства больного. — Сын мой! Откройся брату, чувствующему твою горе, как свое, твою боль, как свою; брату, чье сердце печалится о тебе даже тогда, когда он вдали от тебя. Уверуй в меня, ибо я вместе с тобой горю в неугасимом огне и душа моя смятена.

— Отец, отец! Чем я отплачу тебе за доброту твою? У несчастного Онисе только одно и осталось — его убогая жизнь, и если она тебе понадобится, — возьми ее!..

— Онисе?! — вздрогнул пастырь.

«Маквала — Онисе!» — мысленно произнес он рядом эти два имени. И снова тревожное подозрение охватило его душу, пронзило сердце.

Оба долго молчали. Наконец, лицо Онуфрия снова просветлело, он вытер горестный пот со лба и подошел к несчастному, беззвучно рыдавшему Онисе.

— Сын мой! Я узнал твоё имя и я боюсь услышать твой рассказ, ибо я человек... но человеку не дано измерить милосердие божье!.. Говори, что ты хотел сказать!

34735740
30331003

Онисе, низко опустив голову, начал рассказывать скорбную повесть своей жизни. Старец приник лицом к камню, слушая исповедь несчастного. Чувствовалось, что творится великая тайна, перед которой поник даже утренний ветер, чтобы не нарушить святости ее, не подхватить неволью услышанного слова и не передать его горам, деревьям, цветам.

Онуфрий слушал страшную эту повесть лишь для того, чтобы просить заступничества за Онисе перед богом. И тайна, услышанная им здесь, никогда не могла быть открыта никому из смертных.

Раскаленным железом жгли слова исповеди сердце пастыря, и от них болела душа и дрожь пробегала по телу.

Давно уже Онисе закончил свой скорбный рассказ, давно ждал от пастыря слов утешения, но старец продолжал сидеть неподвижно, как бы сам превратившись в камень.

И когда он, наконец, поднял голову, горячие слезы бежали из его глаз, и глубокое страдание изборозило его лицо.

О чем рассказал ему Онисе, какую тайну поведал, — это осталось сокрытым от всех. Но пастырь впервые в жизни спрашивал себя — в праве ли он даровать грешнику свое благословение?

— Несчастный, что ты сделал? — первый раз в жизни упрекнул он страждущего и ищущего утешения. Но он быстро овладел собой и, как заботливый, милосердный отец, совершил обряд таинства над падшим и покаявшимся грешником.

— Сын мой! Запомни этот день. Ты, как блудный сын, вернулся в лоно отца своего, проси же его, чтобы он даровал тебе силы выполнить в жизни свой долг человеческий, ибо ты человек... Пусть отныне зацветет дерево жизни и принесет плоды истины...

— Жизнь свою положу за тебя, отец!

И чем ласковее говорил пастырь с Онисе, тем мягче и покорнее становилось сердце несчастного. Но и тем большей создавал он свою вину, тем горше раскаивался в ней.

— Теперь тебе нужен отдых, сын мой. Поешь, отдохнешь, поправишься, и тогда пойдешь, куда тебя влечет. Но где бы ты ни был и кем бы ни стал, — будешь ли в поте лица добывать кусок хлеба или станешь повелителем над повелителями, — не забывай, что ты человек и ближние твои во всем подобны тебе, и сердца их бьются так же, как твое... Запомни это и пусть будут твоим вожатым в жизни слова: «Отпусти нам прегрешения наши, как мы отпускаем должникам нашим»...

— А теперь пойдем ко мне, — закончил Онуфрий.
Жадно ловил Онисе слова пастыря, в которых звучала та-
кая кроткая, покоряющая душу человечность. Но когда пастырь
позвал его к себе, он вздрогнул и низко опустил голову.

— Не могу! — тихо сказал он.

— Почему? — удивился Онуфрий.

— Не могу... Хочу быть один.

— Куда ты пойдешь?

— Останусь здесь, в горах.

— А чем будешь жить?

— Охотой. Зверя в горах много.

— Побудь у меня хоть дня два, пока сил наберешься.

— Не проси, отец! — взмолился Онисе. — Я ослабел от
потери крови, через два дня буду здоров. А сейчас не могу,
сердце мое разрывается... Я пережду немного, стану охотиться,
тура убью, забудусь... Тогда к тебе спущусь... Не смогу без те-
бя.. А теперь не держи меня, пощади!..

— Как знаешь! — вздохнул старец. — Только возьми с
собой припасов, чтобы не голодать на первых порах.

— Ох, воля твоя! — покорно согласился Онисе.

Старец снабдил его полным доверху бурдюком.

— Ступай, Онисе, я не держу тебя больше, только помни,
что это сердце отныне стало твоим, — он приложил руку к сво-
ей груди, — и ты не обижай его, почаще навещайся ко мне.

— Буду приходить дважды в неделю, отец! А теперь бла-
гослови меня, — Онисе преклонил колени.

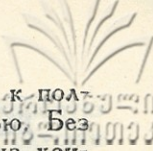
Пастырь благословил его и они расстались.

Долго глядел старец вслед удалявшемуся тихими шагами
Онисе, глядел до тех пор, пока тот не скрылся за гребнем холма.

— Бедняга! — вздохнул он, — трудно ему было бы оста-
ваться здесь!

После ухода Онисе пастырь сделался еще задумчивее, пе-
чальнее. Тягостная тайна возмущала его разум, лишала покоя
сердце. Он стал молиться еще усердней прежнего, целые ночи
простаивал перед распятием.

Пастырь знал, что для искреннего покаяния, для укрепле-
ния человеческой воли недостаточно одной только исповеди и
принятия святых тайн. Мудрый сердцеведец, он только тогда
бывал спокоен за ближнего, когда убеждался, что однажды об-



ретенная вера, пронизав все его существо, привела его к полному осознанию своего человеческого долга перед жизнью. Без этого пастырь не видел высокой пользы ни в одной из христианских догм и заповедей и считал бесплодной суетой исполнение всяких правил веры. Он, как честный врач, становился спокоен за своего больного лишь после полного исцеления его от недугов. И потому он хотел возможно чаще видеть Онисе, постоянно утверждать его в вере, ежечасно укреплять его дух, пока не убедился бы, что ученик его в совершенстве подготовлен для борьбы и жизни.

И преисполненный надежд, он каждый день в условленное время выходил к роднику для встречи с Онисе. И горец всегда приходил в назначенный час, благоговейно склонял голову перед пастырем и слушал его одухотворенные слова.

И когда они беседовали, трудно было понять, кто кому проповедует, кто кого поучает, ибо оттенок превосходства вовсе отсутствовал в их беседах. Пастырь вызывал своего ученика на предельную откровенность, чтобы глубже постичь его суждения о том или ином явлении мира, чтобы вернее довести до него свою мысль. Онисе приходил через каждые два-три дня, приносил дичь, а Онуфрий охотно принимал его приношения, коптил мясо, делал колбасы и снабжал ими бедных прохожих. Пастыря радовало, что он помогает Онисе участвовать в жизни, выполнять долг служения ближним, служения народу. Он говорил об этом Онисе, хвалил его, и сознание служения миру ободряло горца, поддерживало в нем силу и дух. Ему утешительно было думать, что существование его не совсем бесполезно.

И, однако, Онуфрий был беспокоен за своего ученика. На всем, что делал Онисе, лежала печать непомерного напряжения. Он был постоянно задумчив, сумрачен, никогда не улыбался, часто вздрагивал, глядел мутными, невидящими глазами. От внимательного взора пастыря не могла укрыться его чрезмерная задумчивость, его молчаливая тоска. Что-то невысказанное точило его сердце, иссушало душу. Онуфрий изо дня в день ждал от Онисе признания, разгадки его тайной печали, однако, время шло, горец худел, таял, но молчал. Взгляд его иногда загорался нездешним огнем, потом вдруг снова потухал, становился безжизненным. Он весь высох, осунулся. Онуфрий чувствовал, что еще один шаг и пропасть проглотит несчастного.

Однажды он не выдержал и спросил Онисе:

— Сын мой, отчего ты так исхудал?

— Кто, я? Я себя хорошо чувствую.

— Отчего ты так печален? Почему не скажешь мне, чем ты встревожен? — настаивал пастырь.

— Разве я что-нибудь скрыл от тебя? — и Онисе неожиданно расхохотался.

Старец посмотрел на него с тревогой.

— Загляни в свое сердце, какой-то порок подкрался к нему. Открой мне свое сердце! — сказал он.

— Мое сердце, мое сердце! — с раздражением повторил Онисе, — не могу же я лгать на свое сердце!..

И он схватился за голову. Наступило молчание.

— Ах, отец! — простонал Онисе, — прости меня, пожалей!.. Несчастный я человек! Не знаю, как мне быть, что делать? Горит мое сердце, и нет мне спасения... Руки на себя наложить мне, что ли?..

— Успокойся, Онисе, призови бога, чтобы сатана не искушал тебя; поведай, какая новая тоска тебя гложет?

— Какая? — и Онисе задумался. — Нет, не знаю я, ничего не знаю, нет, нет!.. Оставь меня, умоляю тебя!..

Старец взглянул на него.

— Онисе, пойдем ко мне! — спокойно сказал он. — Отдохнешь у меня, успокоишься!

— Нет, нет! — также спокойно ответил Онисе, — я сейчас уйду. — Он зачерпнул ладонью родниковой воды и освежил лицо. — Прощай, батюшка!

— Постой... Отчего так скоро? — огорчился пастырь.

— Онисе взглянул на него, по губам пробежала улыбка, он с таинственным видом наклонился к старцу.

— Зовут меня! — прошептал он.

— Что ты говоришь? Кто зовет?

— Тсс! — он приложил палец к губам и пошел прочь, осторожно ступая.

— Онисе, Онисе! — звал старик.

— Тише! Я приду в назначенный час! Непременно приду!

И Онисе скрылся в чаще леса.

Онуфрий стоял ошеломленный. Вдруг Онисе выскочил из леса и, подбежав к старцу, упал перед ним на колени.

— Благослови, отец, благослови!.. Твое благословение необходимо мне, как божья благодать! Благослови, и тогда я уйду! — молил он, обливаясь слезами.

— Господи, воззри и избави от испытаний! — только и успел произнести Онуфрий. Горец вскопал и исчез в сумраке ночи.

Прошли дни, недели, целый месяц, а Онисе не появлялся. Напрасно пастырь ходил к роднику, напрасно ждал его, напрасно молил бога о встрече со своим учеником, — Онисе исчез. Тревога и смятение росли в душе Онуфрия. Все его мысли неотступно кружились вокруг судьбы Онисе, тысячи мрачных предчувствий пронеслись в его воображении. А что, если Онисе попал в беду, нуждается в помощи, и никого нет около него!

Наступил праздник святого духа. Пастырь отслужил заутреню, помолился обо всех страждущих духом, о ниспослании им утешения и помощи, перекрестился в последний раз и вышел во двор. Он направился к тому месту, где всегда в праздник проводил часы между заутреней и обедней.

Широкое и круглое плато обступали великаны-утесы подобно стражам, защищающим святое место от прикосновения нечистых шагов. Посредине плато возвышался небольшой круглый холм, поросший тополями. Стройные деревья взбирались почти до самой верхушки холма и вдруг останавливались на какой-то невидимой черте—будто затем, чтобы не прятать от человеческих глаз чудесную светлую поляну, покрытую зеленой курчавой травой, среди которой нежно склоняли головки ароматные горные цветы. На поляне высился дубовый крест, побелевший от времени, солнца и дождей. Своей сверкающей белизной он будил в сердце благоговение. Под крестом был воздвигнут холмик, обложенный дерном, и на нем стоял памятник — каменная глыба, осколок скалы. Никто никогда не посещал этих мест, кроме Онуфрия и неугомонного ветерка, который изредка врывался сюда, чтобы нарушить дремоту цветов. Это место избрал Онуфрий для погребения Маквалы и сюда, к этой одинокой могиле, приходил он каждый праздник помянуть душу усопшей, при жизни отверженной людьми.

Пастырь, подаривший Маквале столько возвышенных, сладостных минут и указавший ей путь к беспредельной человечности, не покидал ее и после смерти.

Онуфрий шел к священному месту по узенькой тропинке, вьющейся вверх через тополевою рощу... Он шел медленно, в глубокой задумчивости, изредка осторожным движением руки отводя нависшие над тропинкой ветки, стараясь не повредить ни одного листочка на них и не нарушить гармонии, разлитой вокруг красоты. Он перешел ручеек, бегущий с горы, и, подойдя совсем близко к поляне, отстранил с дороги последнюю ветку... и замер

на месте. Он стоял и смотрел, пораженный до глубины души. Какой-то человек припал к могиле Маквалы, обнял надгробный камень и целовал его, рыдая и стная, словно хотел влить свое тепло в его могильный холод. Скорбь его была так величественна, что пастырь не решился нарушить ее. И как-будто само небо вобрало в себя его горе и слезы, — появились черные тучи и пошел ласковый дождь, тихий, как слезы из девичьих очей.

Человек поднял голову и, скрестив руки на груди, горящими глазами вперился в могилу, словно иступленной мольбой сердца хотел нарушить глухое молчание черной, холодной земли. И снова припал он к могиле, обхватил ее и стал целовать страстно, неудержимо. На нее он хотел излить всю горечь, всю безнадежность свою, но каждое прикосновение к ней еще сильнее разжигало его скорбь. Наконец, он выбился из сил и, изнуренный, замер в оцепенении. Потом медленно поднялся, снова устремил горящий взгляд на могилу, подошел, шатаясь, к кресту и прислонился к нему.

— Онисе! — прошептал потрясенный пастырь.

Да, это Онисе оплакивал свою возлюбленную Маквалу, проклиная день своего рождения, проклиная омраченное сердце свое, которое ни на мгновение не давало ему покоя и погубило его жизнь.

Маквала была неотъемлемой частью его жизни с тех пор, как он помнил себя, и с ее смертью стала ущербной его жизнь. Всюду и всегда ему чего-то не доставало, ни в чем не было чувства полноты. В Маквале была вся жизнь Онисе, и с ее смертью погасло солнце для несчастного горца, утратил для него цену весь мир.

Он стоял в угрюмом оцепенении со сжатыми губами и думал о той, которая, даже в плену у черной могилы, была для него дороже всего на свете, дороже самой жизни. Отверженный своею общиной, оторванный от родной земли, Онисе дышал одной единственной надеждой — когда-нибудь встретить Маквалу, чтобы никогда больше не расставаться с ней, и смерть Маквалы лишила его этой надежды... Чем он мог жить дольше?

Целыми неделями скитался он по горам и ущельям, по лесам и долинам, накапливая в сердце неизбывную скорбь, и приходил изливать ее здесь, на этой священной могиле.

Приходил он сюда и раньше, до последней встречи со старцем, здесь он самозабвенно исходил своим горем, таял, сгорал, медленно, по капле, избывал свою жизнь.

Онисе поведал пастырю обо всей своей жизни, раскрыл пе-

ред ним сердце свое, и все же оставил там один, самый затаенный, уголок, куда не следовало заглядывать чужому взору. Он берег его, как зеницу ока, и старался спрятать его от всех, даже от господ-бога. Он боялся, что Онуфрий назовет грехом и запретит ему единственную радость его омраченной жизни, радость, которую он почерпал в горькой любви к могиле своей Маквалы.

Сюда приходил Онисе, здесь он таял, как воск, терял последние силы свои. Любовь пламенеющего сердца к холодной, темной могиле, горячая нежность к безжизненному трупу, страстная мольба к навеки глухому созданию, обращенному в прах, — тяжкое испытание взял на себя Онисе!

Слезы и стенания, неутолимая страсть и память об утраченном счастье бесплодно изнуряли его, жизненные силы в нем медленно иссякали. Он понял безысходный ужас своей участи, понял, что каждое мысленное прикосновение к Маквале, каждое прикосновение к местам, где ходила, дышала его возлюбленная, беспощадно терзает его сердце, понял, что не может больше выдержать этой разрушительной близости к ней, и решил уйти, исчезнуть, бежать в такие края, куда и ворон не донесет вести об этих страшных для него местах.

Сегодня, в день сошествия святого духа, Онисе в последний раз пришел к заветной могиле. Он убрал душистыми цветами мрачный могильный камень, так безжалостно придавивший своей тяжестью могилу нежного существа. В последний раз он склонил голову, послал последний стон могильной немой тишине, с горьким трепетом припал к холодному камню и замер, потрясенный, и долго лежал без движения, словно всю свою душу изливал в недра черной земли.

Наконец, он порывисто встал, отошел от могилы и скрепил руки на груди. Нечто непостижимое и неодолимое притягивало его к могиле, притягивало с такой силой, что он не мог сдвинуться с места.

Он медленно, с нечеловеческим напряжением, повернул голову, обернулся к кресту и стал смотреть на него с невыразимой тоской.

Только теперь пастырь мог всмотреться внимательно в лицо Онисе, и он почувствовал, какой ад бушует в сердце горца. Он закрыл глаза, — не было сил смотреть на такое непомерное горе! Страшная тяжесть этого горя придавила, пригнула плечи Онисе, поработила его львиную осанку. Бесмысленно и безжизненно глядел он в одну точку. Жалобы осиротевшей ду-

ши, боль за погибшую жизнь, тщетная мольба человека, раз-
давленного неумолимой силой, не ждущего ниоткуда спасения,
все было на этом лице, в этом мертвеном взгляде, словно
земля разверзлась перед несчастным и небо обрушилось и по-
хоронило его навеки.

Но нет, мне не описать этого лица! О безграничном отчая-
нии, о бесчисленных бороздах скорби, отметивших это лицо, не-
возможно рассказать тому, кто не видел его собственными гла-
зами!

Только горы могли внушить человеку такую страсть и
только сын гор мог отдаться ей с такой силой. И Онуфрий,
мудрый старец с закаленным сердцем, склонился перед всепо-
глощающим чувством, хранил благоговейное молчание перед ним.

Онисе вздрогнул, выпрямился, вскинул голову.

— Прощай! — простонал он. — Прощай, Маквала!.. Горе
мне! И жить нет сил, и умереть не могу!.. Прощай!.. Не выдер-
жало сердце твоей близости... Как мне уйти от тебя?!

Горец умолк, пошатнулся и зарыдал.

— Смотри... Ты видишь, я, мужчина, плачу! — восклик-
нул он, ударив себя в грудь кулаком. — О, ох! — заскрежетал
он зубами.

Горец повернулся и пошел прочь от могилы, шатаясь, как
раненый лев.

— Онисе, Онисе! — с отчаянием крикнул пастырь. — По-
стой, несчастный человек!

Онисе вздрогнул, на мгновение сбился с шага, но тот-
час же, словно очнувшись, пошел быстрее.

— Постой, куда ты? — старец догнал Онисе и схватил его
за плечо.

Мохевец обернулся, устремил на него затуманенный взгляд
и, таинственно приложив палец к губам, тихо прошептал:

— Тсс, тише!.. Зовут меня, я иду!..

— Куда? Кто зовет тебя, сынок?

— Тсс! — повторил он. — Тише, а то спугнешь ее,
убежит!..

Горец прислушался, задумался, затих, и вдруг, оставив-
шись в пространстве широко раскрытыми глазами, стал бормо-
тать бессвязные слова:

— Маквала!.. А кто это — Маквала?.. — потом повернул-
ся к пастырю и мучительно-жалостливо принялся его расспра-
шивать: — Скажи, скажи, ради бога, кто такая Маквала?.. Ты

разве не знаешь, кто она?.. А я знаю, о, я знаю... Она крестница господина... Вот кто она!..

— Сынок, сынок!.. — заговорил пастырь.

Но Онисе прикрыл ему рот ладонью.

— Тсс! Тише... Зовут меня!.. — и он побежал к лесу.

Пастырь кинулся следом за Онисе, но горец дико вскрикнул и взглянул на старца так мрачно, что тот отпрянул назад.

Не успел Онуфрий опомниться, как Онисе подбежал к краю обрыва. В ужасе следил за ним пастырь. Но Онисе свернул в лесную чащу, обступавшую обрыв, и скрылся в ней.

20

Больше месяца прошло с тех пор, и об Онисе не было никаких вестей. Никого больше не тревожила судьба отверженного от теми горца.

Один только Онуфрий не мог успокоиться и без устали искал его, расспрашивая о нем всех прохожих. Он не терял надежды и неутомимо молился о спасении жизни Онисе. Он верил, что вновь увидит своего духовного сына, верил, что бог милосердный не даст ему погибнуть.

Однажды утром около пещеры пастыря остановились хевсуры, шедшие с того склона горы. Они расположились на отдых у родника, лошадей стреножили и пустили пастись, а сами подошли к роднику освежиться. Старец, по своему обычаю, забрал мешок с припасами, домашнюю водку и направился к ним.

Потрапезничали, отведали водки, и завязалась беседа. Хевсуры давно уже знали о пастыре, ибо слава о нем разнеслась далеко в горах, и рады были они послушать его разумные и добрые речи. Как всегда среди людей гор, разговор зашел о мужестве и об охоте.

Один из путников рассказал о некоем мохевце, который поселился в их горах, и с той поры плохо стало от него кистинам.

— Ягнячьего ушка не пропадет с тех пор, как тот мохевец у нас, — восторженно рассказывал он. — Тропами нагонит вора, перехватит его, и никакому врагу не уйти от горного сокола!

— Удивительный только он! — добавил другой. — Ни одного человека не подпускает к себе, в дома не заходит, живет как зверь в горах и очищается.

— Каков он собой? — спросил пастырь.

Хевсур описал внешность мохевца и добавил, что он, дол-

жно быть, болен или «поврежден», или обречен святине, потому что лицо у него желтое, как русло серного источника.

Онуфрий сидел, понуро опустив голову, и, казалось, не в силах был пошевелить губами. Но по мере рассказа хевсура он все больше оживлялся.

— Как его зовут? — спросил он.

— Онисе... Можевец Онисе... Так мы его называем...

Радостное волнение охватило пастыря. Он вознес благодарение господу за то, что не отверг он раба своего, спас ему жизнь и направил его усилия на благо людям.

Онисе, которого пастырь считал одержимым душевной болезнью, излечился и пришел в себя. Вдали от тех мест, где все его непрестанно терзало, он отдохнул и обрел на время душевный покой.

Было за полдень, когда хевсуры ушли. Онуфрий, одушевленный радостной вестью, вернулся в свой дом, а потом пошел на могилу Маквалы и как бы поведал ей об этой радости.

Вечером он собирался помолиться богу и спокойно отдохнуть. Вдруг он услышал конский топот.

«Кто бы это мог быть?» — подумал пастырь. В то же мгновение его окликнули снаружи, и он вышел во двор.

Навстречу ему шел горец. Лошадь свою он привязал поодаль, так как эти места считались священными и нельзя было подезжать к пещере верхом, чтобы не осквернить ее. Сняв шапку, он низко склонил голову перед пастырем.

— Кто ты, сын мой? — спросил пастырь.

— Я есаул, отец!

— Зачем пришел ко мне? Ищешь кого-нибудь?

— К вам пришел, начальник просит вас явиться к нему.

— Меня просит начальник?.. Ты, верно, ошибся. — Пастырю показалось, что он ослышался.

— Да, отец, вас просит.

— Не знаешь зачем?

— Не знаю!

— Да, нет, ты, верно, ошибся, не понял его.

— Как же, он три раза повторил ваше имя. Приказал обязательно доставить вас сегодня же.

— Значит дело важное?

— Кто их знает! — лениво отговорился есаул.

— Удивительно все это! — тихо произнес пастырь. — Хорошо, я возьму свой посох, и пойдем, — добавил он.

Есаул настоял, чтобы пастырь сел на лошадь, а сам пошел

рядом пешком. Они почти всю ночь были в дороге, и часам к десяти утра прибыли в Ананури, где квартировал местный правитель.

Пастыря тотчас же ввели к человеку, который вызвал его. Это был пожилой мужчина, худой, невысокий, весь отравленный желчью, даже глаза его пожелтели, и тоненькие нитевидные жилки сеткой покрывали их. Он изредка покашливал, беспокойно ходил из угла в угол и без особых причин постоянно вспыхивал и возмущался.

Когда вошел Онуфрий, начальник встал ему навстречу, стараясь казаться благообразным и умным. Но все его старания были тщетны, ибо он большую часть своей жизни провел на военной службе, а военная жизнь в те времена зачастую лишала человека всякого разумения и благообразия. Он приветствовал пастыря и даже улыбнулся ему, но проделал все это с осанкой повелителя.

— Пожалуйте, пожалуйста! — еще издали пригласил он Онуфрия.

Онуфрий вошел в низкую комнату, где стоял затхлый запах сырости и загнивающих бумаг. Непривычный к такой обстановке, пастырь чувствовал себя очень дурно, от духоты в комнате слегка туманилась голова. Однако, он снял шапку, перекрестился и отдал низкий поклон стоявшему перед ним хозяину. На лице он хранил покой и мир. Начальник никогда не встречался с пожилыми горцами, и его удивило величественное достоинство пастыря.

— Вы — отец Онуфрий? — спросил начальник через переводчика.

— Да, я.

— У вас жила женщина, которую убили... Та, которую звали... Ах, забыл... Как ее звали? — обратился он к писарю, который, согнувшись в три погибели над столом, резко поскрипывал по бумаге гусиным пером.

— Ее звали, — писарь порылся в бумагах и, вытянувшись, гаркнул: — Маквала, ваше высокоблагородие!

— Да, да Маквала!

При этом имени пастырь вздрогнул, смутился и не сразу собрался с ответом.

— Мы ждем ответа! — приказал начальник.

Пастырь взглянул на него и твердо ответил:

— Да, Маквала жила у меня.

— Женщина у священника! — вздернув плечи, сказал на-

начальник и обернулся к переводчику: — Спросите, что она делала, зачем жила у него?

— Она была унижена духом и телом... отвержена людьми. Мое жилище — убежище для всех униженных.

Онуфрий глядел на них с удивлением и не мог понять, зачем его допрашивают, чего хотят от него. Он заметил, что пастырь записывает все его слова.

— Значит, вы приютили ее? — переспросил начальник так же насмешливо, как он приветствовал старца при входе. На этот раз пастырь понял, что происходит нечто необычное, что словам его не доверяют, и нахмурился.

— Хороший приют оказал, нечего сказать! — проговорил про себя начальник и вдруг резко обратился к пастырю:

— Кто убил?

— Кто убил? — повторил вопрос Онуфрий, — грешный человек, которого не минует кара божья, если он не раскается, — тихо добавил он.

— Все это очень хорошо, но имя преступника? Скажите, как его имя?

Никогда не приводилось пастырю говорить неправду, и теперь он был в тягостном недоумении. Он не знал, что ответить.

— Я спрашиваю имя преступника! — повысил голос начальник.

— Не знаю! — твердо ответил старец.

— И никого не подозреваешь?

— Нет!

Начальник недоверчиво посмотрел на него, прошелся несколько раз по комнате.

— Как могло случиться, что в помещении, где ты живешь, убили женщину, и ты ничего об этом не можешь рассказать?..

— Меня не было дома, когда произошло несчастье.

— Сказки!.. — повел плечами начальник, — прочтите ему показания тех горцев.

Вот что показывали те самые гудамакарцы, которые целый день провели с пастырем после убийства Маквалы.

«Весь день мы были вместе. Пастырь не раз заходил в свою келью и выносил нам еду. Мы обедали вместе. На другой день мы возвращались с гор. Пастырь объявил нам, что жившую у него женщину, оказывается, кто-то убил».

— Все это правда, — подтвердил старец.

— Что ты увидел, когда в первый раз вошел в дом?

— Маквала лежала на своей постели, с головой закрытая буркой. Я думал, что она спит.

— Это в первый раз. А потом, целый день, как же ты не заинтересовался, отчего она не встает?

— Маквала была слаба, больна. Много молилась, работала без устали. Ночью накануне была сильная гроза. Я подумал: она не спала ночь... Пожалел ее будить. Сон благодетелен для слабых.

— Не представимо!

— Все это правда, что я говорю.

— Женщина лежала целый день, и вы даже не подумали, что с ней, даже не спросили, не хочет ли она пить?

— Что было спрашивать? Захотела, — напилась бы сама! — резко прервал переводчика пастырь. — Однако, я оставил свою паству, своих больных без присмотра. Я тороплюсь домой... Скажите, что вам надо от меня?

Начальник удивленно взглянул на него.

— Разве вы не знаете, что в убийстве женщины обвиняют вас?

— Что вы сказали?

— А то, что все улики, к сожалению, против вас.

— Кто же он, этот несчастный, пусть придет, пусть посмеет посмотреть мне в лицо!

Пастырь вскинул голову. Таким гневом дышало его лицо, что начальник смутился, опустил голову: «Виновный не может так говорить, пожалуй, старик и не лжет!» — подумал он.

— Муж убитой утверждает это, — снова заговорил начальник. — Закон обязан установить истину.

— Пусть придет и скажет мне это в лицо.

— Приведите Гелу.

— Боже милосердный, Гела здесь! — воскликнул старец, — Гела, муж Маквалы, виновник всего, пусть он придет, я погляжу на него собственными глазами, послушаю, что он мне скажет.

Дверь открылась. Вошел Гела. Лицо его лоснилось бесстыдной, бессовестной чванливостью, он высоко закинул голову, всем видом своим как бы говоря: «Смотрите, вот я каков!» Он встал в дверях, нахмурив брови, изображая из себя грозного обличителя.

Пастырь, спокойный, хотя и слегка побледневший, смотрел в упор на доносчика.

Сперва Гела попробовал было выдержать взгляд старца,

но вскоре смущение овладело им, взгляд его забегал, заметался, словно под натиском какой-то неведомой силы.

Пастырь, величественный, несокрушимый духом, твердо верующий в свою правоту, и Гела, раздавленный, униженный, сознающий греховность своего духа, его поражение и падение, стояли друг против друга.

Пастырь медленно шагнул к Геле.

— Правда ли, что ты меня винишь в убийстве Маквалы? — спросил он его тихим, проникновенным голосом.

Гела поднял голову, тяжело вздохнул и снова потупился. Пастырь понял, что Гела сознательно лжет и клеветает, грешит таким грехом, который бесчестит человека, принижает его ниже самой низкой твари, но что ему уже нет отступления. И сердце пастыря горько восскорбело о погубленной душе человеческой.

А начальник ждал, что скажет Гела. Его внимание привлекла ненадолго эта поучительная картина борьбы величия с подлостью. Но он тотчас же спохватился.

— Что ты молчишь? Говори!

Гела устремил на него взгляд, полный отчаянной мольбы.

— Что же мне говорить? — беспомощно спросил он.

— Ты боишься? Расскажи все, что знаешь, перед законом! — ободрил его начальник. — У тебя убили жену, ты вправе требовать наказания преступника.

— Да, да! — восторженно воскликнул Гела, — убили мою жену, меня самого изгнали из мира...

— Да, сын мой, скажи, что ты знаешь; ибо ничто не укроется от отца небесного... — произнес пастырь.

Лицо Гелы злобно перекопилось, лоб нахмурился, глаза засверкали недобрым блеском.

— Ты хочешь, чтобы я рассказал? — воскликнул он. — Хорошо! Ты убил Маквалу... Никто другой не мог ее убить. Она жила у тебя. Ты — хозяин, и кровь ее на тебе... — говорил он, задыхаясь. Его лицо то вспыхивало, то бледнело.

— Сын мой, сын мой!.. Что ты говоришь? — скорбно воскликнул старец. — Вспомни, что есть еще высший судья...

— Ты — убийца! — злобно повторил Гела. — Мне ли щадить тебя? За что? Разве кто пощадил меня, когда изгоняли меня, топтали в прах мою жизнь. Умерла моя душа, и нет во мне больше жалости. Нет! Ты убил ее, поп, и не уйдешь ты от суда...

— Я приютил и обогрел ее, замерзающую... Обратил к богу грешную душу... Какая была мне корысть убивать ее?

— Маквала нищенствовала. У нее, верно, было много денег... Убить посмел, а сознаться в этом не смеешь...

— И ты, отверженный общиной!.. — воскликнул старец, но тотчас же овладел собой. — Господи, прости их, ибо не знают, что творят!

Онуфрий отошел в сторону. Глаза его сверкали, в сердце неотступно звучало: «Господь посылает мне испытание, я недостойн его милости».

— Что скажете, пастырь?

— Что же мне сказать? Он меня обвиняет в убийстве, а судить должен закон! — спокойно сказал Онуфрий.

— Мы сегодня же вас переправим в Тбилиси. Здесь нельзя вас судить.

— Да будет воля господня! — сказал пастырь.

— Говорите всю правду перед властями. Это смягчит вашу участь, — посоветовал начальник.

— У меня есть верховный судья, который видит все. Когда я предстану перед ним, скажу ему с умиротворенной улыбкой на лице: «Господи, я воздал кесарю кесарево, а богу — божье!»

И больше ни единого слова не удалось сорвать с уст Онуфрия. Он перестал отвечать на вопросы.

Гела, изгнанный из теми, долго скитался вдали от родины, скрываясь в разных местах. Но недавно он вернулся в Мтиулети и определился есаулом у ананурского начальника. Как отверженный, он не мог снова обзавестись хозяйством, но рад был и тому, что живет на родимой земле.

Все избегали его, никто с ним не разговаривал, не звал его к столу, и это с каждым днем все больше озлобляло его, разжигало в нем жажду мести. Он безжалостно преследовал людей своей общины, и горе тому, кто попадал в его руки. Он всячески раздувал перед начальством вину своей несчастной жертвы. Судебные дела в те времена решались по произволу, и судьба человеческая зачастую зависела от людей, подобных Геле.

Много жизней укоротил Гела, много вдов и сирот оставил он на попечении соседей. Вечно раздавались вокруг него проклятья и стоны, но человеку, потерявшему совесть, они казались сладостной песней, множили его силы, укрепляли в нем чувство мести.

Любил ли отверженный Гела Маквалу? Нет, он ненавидел ее, ненавидел так страстно, что готов был рассечь ей грудь кинжалом и выпить из раны всю ее кровь, до последней капли.

И вот Маквалу убили, и Гела уже не мог отомстить ей, не-

мог своей грязной рукой растерзать ее трепещущее сердце. И он перенес свою зверскую ненависть на ее убийцу, кто бы он ни был.

Долго старался он найти подлинного убийцу, но все его поиски были тщетны.

«Онуфрий перехватил ее у меня!»—как-то подумалось ему, и с тех пор всю свою злобу он обрушил на пастыря, стал его неусыпным врагом.

И вот Онуфрий томился в заключении в Тбилиси. Гела прилагал все усилия, чтобы пастырь был осужден.

21

Произошло зверское убийство. Жертвой низкого разбоя пала беззащитная женщина. Дело стало известно властям. Преступника надо было наказать.

Все улики были против пастыря Онуфрия. Правда, община единодушно свидетельствовала, что он не мог совершить такого преступления, однако, Гела не дремал и ловко опровергал это показание. Кто же убийца? Онисе?.. В правительственных документах значилось, что этот человек скончался задолго до убийства женщины... Сам Гела был вне подозрений: в ту роковую ночь он находился в Тбилиси, куда ездил для получения отличия за какие-то заслуги.

И выходило так, что никто, кроме пастыря, не встречался с Маквалой, так как сама она, отлученная от теми, ни с кем не могла общаться.

Подозрение еще усугублялось тем, что Онуфрий не хотел давать показаний; на все вопросы он всегда и неизменно отвечал одно и то же: «Не знаю, кто убил Маквалу, я не совершал преступления».

Спокойный, умиротворенный старец неспешно повторял свой ответ, поручив остальное попечению господа-бога. Он не сомневался в своей правоте и верил, что исполняющий свой долг будет вознагражден богом.

Долго держали его в тюрьме, упорно вели следствие по его делу. За это время его отлучили от духовного сана, но старец твердил неизменно: «Господи, не прогневайся на меня». И, поддерживаемый верой, он упорно стоял на своем и с высоты величия своего глядел на муравьиную возню людей вокруг него.

Он был тверд в вере, мужественен и возвышен душой. Не было на земле силы, способной согнуть его. Ему не нашептывал искушающий голос: «Скажи, скажи, и ты будешь спасен!» Для

него было унижительно даже помыслить об этом. Хотя он верил в конечное торжество истины, но знал, что каждая перемена к лучшему в жизни требует жертвы, и не питал надежды на свое оправдание.

«Человеку свойственно ошибаться, иначе он был бы богом!» — часто повторял про себя пастырь и черпал в этих словах ту безграничную силу прощения, которая изумляла окружающих его.

Между тем, дни его проходили в тесной грязной камере, без воздуха и света.

И здоровье Онуфрия пошатнулось. Ему было за семьдесят лет, но одинокая жизнь, горный воздух и душевный мир сэкономили его силы, и он был здоровым и бодрым. За короткое время пребывания в тюрьме он сильно изменился: глаза ввалились, лоб покрылся глубокими морщинами, лицо стало землистого цвета.

Однажды сидел он неподвижно среди четырех тесных и низких стен. Шум приближающихся шагов вывел его из задумчивости. Гулко отдавался в глухих каменных коридорах стук подкованных железом сапог. Каждый шорох казался зловещим грохотом в давящей, холодной, мертвой тишине.

Шаги замерли перед камерой Онуфрия, ключ загремел в засове и дверь со скрежетом открылась.

— Вставай, идем! — сказал сторож, кивком головы указав на дверь.

— Куда? — спросил старец и поднялся, но ноги его ослабели от длительного неподвижного сидения, и он пошатнулся.

— Там узнаешь! — и они вышли.

Постепенно Онуфрий зашагал увереннее. Они вошли в комнату, где за грязным столом сидел человек с бессмысленным лицом, с распухшим красным носом и черной бородой, похожей на воронье крыло. Человек делал вид, что сильно занят.

Заметив, наконец, отца Онуфрия, он поручил его двум стражникам и отправил в суд.

Суд быстро вынес решение, — дело казалось совершенно ясным, все улики были против подсудимого. Постановление гласило: «Поразить Онуфрия в правах и осудить на каторгу сроком на двадцать четыре года. Но, принимая во внимание его преклонный возраст, возбудить ходатайство перед его величеством государем императором о сокращении указанного срока вдвое...»

Старец стоял, как пораженный громом... Мгновенно промелькнули в памяти родные горы, пещера, воздух, небо, обла-

ка, кротко-ласкающий ветерок!.. Вспомнилась ему паства его, которой он так преданно служил, так всецело и радостно отдавал свое сердце, припомнилась вся его жизнь, политая благо-словенным потом труда, и он зашатался... Он расставался со всем, прощался навеки с местами, где родился, вырос, прожил жизнь, он терял все, что любил, чему радовался!.. Кровь ему подступила к горлу, он захрипел, и слезы полились из его глаз.

В старце проснулся человек с обыкновенным человеческим сердцем, человеческие страсти горячо затрепетали в нем.

Онуфрий тяжело втянул в себя воздух и медленно выдохнул его, потом снова выпрямился, вытер слезы, обвел всех скорбным взглядом.

— Господа!.. Бог свидетель, что я невиновен... Вы разлучили меня с моими братьями, с родной землей, с могилами предков моих... Отныне я буду одинок, совсем одиноким окончу свою жизнь... Умру, и даже слез братьев своих не удостоится в одиночестве угасшее сердце... Облака моей страны не смогут донести ко мне родную воду, чтобы, взамен слез, пролиться дождем на мою грудь... Вы оторвали меня от всех, от всего, что славит человек, чем живет он, от всего, что дает имя ему... Вы наказали меня, но я повторяю, что вы ошиблись, и пусть простит вам всевышний ошибку вашу!.. — Старец возвысил голос, лицо его просияло и, воздев руки, он торжественно произнес:


— Владыка живота нашего! Отпусти им прегрешения, ибо не знают, что творят!..

Прошло несколько дней, и у «Белого духана» на шоссе слышался звон кандалов и солдатские пики засверкали на солнце.

Из Тбилиси вели арестантов и у духана устроили привал. Многие высылались в Сибирь, и на выцветших тужурках, обычной арестантской одежде, были сзади нашиты четырехугольные суконные желтые латки с надписью: «В Сибирь».

Все шли молча, непроглядный мрак расставания с родиной, казалось, навис над ними. Бледные, нахмуренные лица свидетельствовали о том, что сердца несчастных облечены в одежды скорби, и скорбь эта скрыта от глаз человеческих.

Один арестант отделился от остальных. Он уселся на кучу щебня, одну из тех, что рядами, через ровные промежутки, бы-



ли навалены вдоль дороги. Обоими локтями он уперся в колени и так низко опустил голову на ладони, что лица не было видно.

Он изредка вздрагивал, как бы от мучительных толчков своего потрясенного сердца.

Вдруг он поднял голову, возвел руки к небу и произнес твердо, сурово, но со страстной мольбой:

— Прости им, отче, ибо не знают, что творят!

22

Был престольный день цверского ангела-хранителя войск — праздник, и поныне благоговейно чтимый в горах. Он привлекает много гостей-молельщиков, так как в эти дни два села — Сно и Степанцминда — соревнуются между собой в щедрых пирах в честь паломников.

Молельня, посвященная этой святыне, находится на южной стороне горы Хуро на скалистой трудно доступной высоте.

В старину там сберегалось народное богатство, всевозможные ценности, пожертвования, а также медные котлы для варки пива, араки и убины в дни престольных праздников. Неколебимо чтит народ эти священные места, ибо там же хранились общинные знамена, свидетели прошлой славы, омытые кровью народной в боях за отчизну и веру.

Раненый тур, укrywшийся в этих местах, был неприкосновенен, и охотник переставал гнаться за ним, так как нельзя было переступить священные угодья; преследуемый избавлялся от преследования, ибо верховный архангел прикрывал его своим крылом. Это была крепость Хеви и кладохранилище его, ибо там сберегались неисчислимые пожертвования народа.

Неудивительно, что эти места привлекали множество паломников, здесь без счета закалывался скот, приносились бесчисленные жертвы.

Церкви не было в этих местах, ее заменяла четырехугольная беломраморная, сверкающая на солнце ниша, которая суживалась кверху и увенчивалась большим резным железным крестом.

Ограда вокруг ниши была сложена из камня с примесью медной породы; она золотисто поблескивала на солнце. На ограде развевалось множество знамен.

К этой нише шел народ в пестрых праздничных одеждах. Люди несли снятые с рук кольца, снятые с шеи кресты и серебряные ярма, целый год носимые по обету; несли также чаши, азарпешы, подсвечники и другие драгоценности, унизанные

благородными камнями. Каждый преклонял колени и благоговейно подвешивал свое пожертвование к кресту. Звенели колокольчики на знаменах, и деканозы благословляли жертвователей, обогащавших своими дарами общинное хранилище.

— Да будет благословен! — восклицал старейший гад всеми хевисбери, и в ответ гремел единодушный возглас, повторяя слова старейшего, и горный ветер подхватывал этот возглас и разносил его по скалам и ущельям, оповещая мир о добрых делах людских.

Неписанный закон всеобщего равенства был здесь так силен, что все приношения складывались вместе, вся убоина, кем бы ни была она пожертвована, варилась в одном котле, и потом ею оделялись все без исключения, даже и те, кто по бедности своей ничего не мог принести в жертву. И общая трапеза в честь праздника сливала всех в единую братскую семью.

Деканозы благословили народ, кровью убоины начертали крест на лбу у каждого, кто приносил жертву, и народ расположился на поляне неподалеку от святилища. Обед еще не сварился и, пропев «Джварули» и «Славу», все принялись играть и плясать. Зазвенела пылкая плясовая «Гогона», и у девушек и юношей засияли глаза. Стали перекидываться частушками, стараясь перещеголять друг друга в жарких любовных словах. Лица у юношей запылали, каждая девушка, мерцая глазами из-под опущенных ресниц, украдкой следила за своим избранником, нежно подстерегала его, чтобы легкой улыбкой, мгновенным взглядом сладко вскружить ему голову, взять его в плен.

Пожилые люди собирались в кружки, переходили из стоянки в стоянку, вели беседы, радостно обнимались, весело вскрикивали, после долгой разлуки встречаясь с родственниками и друзьями.

Всюду было изобилие снеди, пива, водки, и роги переходили из рук в руки с тостами и приветствиями в стихах.

Все шло по исстари заведенному порядку. Вдруг у подножья горы показались три пешехода, торопливо взбиравшихся наверх. Они, видимо, спешили, им было жарко от скорой ходьбы, они сдвинули шапки на бок, чтобы защититься от жгучего горного солнца, подогнули полы одежды, чтобы легче было идти. Собравшиеся видели их, как на ладони, и следили за их приближением.

— Кто бы могли быть?.. Что-то больно торопятся... Не без

дела, должно быть!.. — с любопытством переговаривались вокруг.

Когда путники приблизились, все узнали трех крестьян из села Сиони.

Крестьяне быстро прошли сквозь толпу, призвали на собравшихся благословение святого и, получив ответное приветствие, прямо направились к часовне, там они отложили в сторону шапки и палки и, крестясь, опустились на колени. Деканозы подняли знамена и благословили их. Помолвившись и оставив в часовне пожертвованные свечи, крестьяне вернулись к толпе.

— Что случилось, отчего так торопились? — спросил у них один из деканозов.

— Плохие вести, совсем плохие! — ответил старший из крестьян.

— Что такое, какие вести? — заговорили кругом.

— А такие, что потеряли мы Онуфрия, пастыря бурсачирского.

— Как так? — заволновались собравшиеся.

— Онуфрия сослали в Сибирь! — ответил крестьянин.

— Не может этого быть! Ведь он божий человек!

— Сам видел, собственными своими глазами, — печально вздохнул крестьянин.

Горестно ахнули все, как один человек; всех потрясло это невероятное известие.

— Расскажи, как, где?

— Садитесь, братья, сейчас все расскажу по порядку.

Стало тихо, все обратилось в слух.

— Я спустился в Степанцминду свечей купить для нынешнего праздника, — начал крестьянин свой печальный рассказ. — Только вышел из лавки, слышу кандалы звенят, словно стадо бубенчиками звякает. «Что это, — думаю, — где их столько набрали, гонят, как овец». Вдруг кто-то окликает меня: «Сын мой, Мамука!» Обернулся я на зов, вижу — пастырь! В арестантской одежде, на ногах кандалы... Еле ноги передвигает... Я кинулся к нему, хотел к его руке приложиться, но конвойный меня отогнал, ударил по спине ружейным прикладом... Эх, кто не знает Онуфрия, кто не помнит его доброты?.. Вот, хоть бы и я... Ведь он спас мне жизнь, когда я раненый лежал... Ну, я на этом не успокоился, пошел к начальнику конвоя, у меня три рубля было, отдал ему два, попросил допустить к нему, да еще рубль конвойному дал, и мне позволили поговорить с пастырем.

— И что?

— Рассказал, что в смерти Маквалы его обвиняют, что Гела на него донес, потерял совесть, попрад бога... Впал, воворит, в заблуждение, да простит ему бог!

— Ах, несчастный Онуфрий! — воскликнул старейший. — Не грех ли тебе погибнуть, а мне — ходить под солнцем!.. Ты так был нужен своему народу!..

— Стыд и позор нашей общине, если мы не вмешаемся в это дело, — продолжал он, — ведь и мы виновны в том, что его осудили. Совершилось преступление, а мы убийцу женщины не нашли...

Он подошел к знамени, с силой потряс им, и звон колокольчиков возвестил, что народу хотят сообщить что-то очень важное. Наступила тишина. Все старейшие заняли места под своими знаменами.

— Люди! — обратился старейший к собравшимся. — Солнце меркнет от стыда, небо готово обрушиться с гневом на наши головы! Не выполнили мы долга своего. Был у вас пастырь, который пекся о вас больше, чем вы сами, был отец, который освещал ваш путь, был брат, обучавший вас правде и справедливости... Он был вашей гордостью, славой, он вырос среди вас. Вспомните, кто утешал вас, когда у вас болело сердце, кто исцелял вас, когда вы были ранены, кто вселял в вас бодрость, когда вы падали духом?..

— Онуфрий, Онуфрий! — послышалось отовсюду.

— Сердце мое возрадовалось от того, что вы помните, не забыли вашего друга и благодетеля. И вот, его постигла беда. Его обвинили в убийстве и сослали в Сибирь.

Ошеломленный народ слушал, затаив дыхание.

— Все вы повинны в его гибели, — продолжал старейший, — вы не приложили должных усилий, чтобы разыскать убийцу. Ведь вы же не верите, что Онуфрий мог стать убийцей?

— Нет, конечно, нет! — с возмущением закричали в толпе.

— Мы должны найти убийцу и спасти нашего любимого пастыря, отца нашего и брата!

— Найдем! Будем искать и найдем! — дружно отозвалась толпа.

— Проклянем того, кто не отдаст всех своих сил этому делу!

— Нашлем на него гнев наш! — крикнул весь народ.

Старейший высоко поднял знамя и произнес:

— Слушайте, слушайте! Господи, цверский ангел-хранитель войск, дарский святой Георгий, Иоани креститель, зеданский святой Георгий, ломисский пресвятой златовецанный апостол, хархский святой Георгий, святая Нина, Пиримзе, вифлеемская богоматерь, нагваревский святой Гиваргий, дугская пресвятая дева, святая троица... молю вас и взываю к вам от лица всего народа: милости своей и всяческого преуспевания лишите того человека, который не будет стремиться найти убийцу Маквалы, не будет бороться за освобождение нашего пастыря. Жизнь не щадившего ради нас!

— Аминь имени твоему! — возгласила толпа, и горы содрогнулись в ответ.

— Кто нарушит эту клятву, — да пошлет ему бог всевышний вместо улады и утешения горькую жизнь в собственной семье.

— Аминь! — подхватил народ.

— Пусть он будет обманут теми, кого любит, и бессилею отплатить за этот обман!

— Аминь!

— Пусть в рукопашной с врагом меч его надломится в рукоятке!

— Аминь!

— Пусть порвется стремя, когда он верхом вступит в воду!

— Аминь!

— Пусть не станет он достоянием могилы, но станет снедью волков!

— Аминь! — отозвался народ.

— Да свершится! — возгласил старейший и тронул знамя, и на нем зазвенели колокольчики.

— Да свершится, да свершится! — сурово повторил народ, и обряд был закончен. Только тогда все приступили к священному пиршеству, и колокольчики на знаменах непрестанно звенели, оглашая горы торжественным обетом.

Жители Гудамакарского ущелья были оповещены о решении хевской общины и из'явили горячую готовность участвовать в поисках убийцы, тем более, что убийство произошло в их общине, и позор этого злодеяния пятнал их честь.

Тогда народ постановил созвать на Бурсачирском плато-сход трех общин — хевской, снойской и гудамакарской.

И вот однажды к Бурсачирскому ущелью стали стекаться жители окрестных сел; из ложбины они поднимались прямо на гору, где совершилось преступление и где, как молчаливый упрек, стояло опустевшее жилище Онуфрия.

Весь народ собрался. Не доставало только Джмухи Джабаури, самого справедливого судьи и самого глубокого старца во всех трех общинах. Собравшиеся беседовали о Джмухе, удивлялись, отчего он опоздал, говорили о том, что стар он стал и немощен. Но вот появился Джмуха. Он шел медленно, спокойно, опираясь на палку. Лицо его дышало умом и добротой, хотя веки смыкались сами собой от старости и утомления.

Все приветствовали его почтительно, с любовью. Джмуха не преминул ответить на приветствие стихами:

«Поседел я и согнулся,

Весь истаял я вконец:

Я и в доме не работник,

И под небом не жилец!..»

— Что ты, что ты, Джмуха! — обступили его собравшиеся. — Ты учишь нас уму-разуму, ты наш судья!

— Не говори так, Джмуха, не огорчай нас! — возвысил голос один из старцев.

«Пастырь Миндия, веди нас,

Прыть у барса ты займи!

Прихвати с собой нас, младших,

Сделай прыткими людьми!..» —

закончил он стихами.

Сход открылся. Все были озабочены тем, чтобы поскорее найти убийцу. И все-таки поднялись горячие споры. Джмуха успокаивал самых беспокойных, вносил порядок и ясность в суждения. Наконец, было решено, что надо искать преступника всячески и всюду, в горах и в долинах.

— Глас народа — глас божий! — заключил Джмуха. — Народ хочет, — значит он может. Ищите, и да поможет вам бог...

И вдруг какой-то неизвестный человек подошел к собравшимся. Все расступились перед ним. Он опустился на колени. Вид его был ужасен, обрывки одежды, местами скрепленные ремешками из тонкой древесной коры, висели клочьями на его

нечеловечески исхудавшем теле. Тревожно-скорбные глаза дико блуждали. Волосы и борода, как-будто ни разу не тронутые бритвой и ножницами, растрепались, свалились и придавали его облику что-то звериное. На него было жутко и жалко глядеть... Никто не мог признать его... Кто он, откуда явился, чего ему надо на этом сходе?

— Кто ты, человек? — первым нарушил молчание Джмуха.

— Кто я? — глухо переспросил неизвестный, — я грешник, заслуживающий наказания... — голос его оборвался, лицо мучительно перекопилось, и он закашлялся, сплюнув кровавой слюной.

Народ хранил молчание и ждал.

— Я пришел, чтобы принять наказание... Имя мое вам не надо знать. Я все потерял, мое имя давно умерло и погребено. Для чего вам имя? Я убил Маквалу, я погубил Онуфрия. Этого довольно для вас...

Все слушали, оцепенев.

— Вы молчите? Онемели от ужаса? — горько засмеялся неизвестный. — Вот смотрите, глядите все, как низко может пасть человек! Только не смейте молчать! — воскликнул он. — Ударьте, убейте, прикончите меня! А, может быть, я недостойн даже смерти? Может, вам жаль осквернять оружие? Тогда забейте меня камнями, — ведь камней-то много в горах! Камней, камней — иступленно закричал он, ударив себя кулаком по голове.

— Замолчи, несчастный! — остановил его Джмуха. — Расскажи, как ты сделал это, не вводи нас в новый грех.

— Я убил Маквалу, и вы должны мне отомстить! Хотите услышать мое имя? Онисе зовут меня.

— Ты знал Онуфрия? — сурово спросил его Джмуха.

— Знал ли я Онуфрия? Да ведь он был духовным отцом моим, я исповедывался ему, сознался, что я убил Маквалу, но он отпустил мне грехи... причастил меня... и он сохранил в тайне исповедь мою... О-о! Он был божий человек. Разве он мог выдать тайну?

— Отойди от нас, Онисе! — приказал Джмуха, — мы должны решить твою судьбу.

Долго длился совет теми. Перед ним предстал полуразрушенный, падший человек, и человек этот был тот самый Онисе, который когда-то считался гордостью теми и самоотверженно служил братьям своим и общине. А теперь он был жалок, сломен жизнью, стыдился солнечных лучей.

— Онисе! — позвал его, наконец, Джмуха. — Подойди сюда и слушай.

Онисе вошел в середину круга и опустился на колени.

— Из-за тебя мы потеряли нашего благодетеля, нашего любимого отца и наставника.

— Убейте меня и помогите ему! — воскликнул Онисе.

— Нет, Онисе, ты слушай решение теми! — прервал его Джмуха. — Народ решил не выдавать тебя. Община сама будет просить подарить ей жизнь Онуфрия, помиловать его... Если бы ты предстал перед теми непреклонным в своем преступлении, сильным и здоровым, теми показал бы тебе свою мощь и достойным образом наказал бы тебя. А теперь — что же? Ты сам повержен в прах своими деяниями... Но теми не может принять тебя! Уходи и живи, как хочешь, где хочешь. Ты останешься попрежнему отверженным от теми...

— Горе мне! — воскликнул Онисе. — Что дарит мне ваша доброта? Для чего мне жизнь? Убейте меня, спасите Онуфрия!

Народ молчал и слушал его.

— Я любил Маквалу, — тихо и скорбно продолжал Онисе, — любил и ждал счастья... Но жизнь обманула меня. Сердце мое обезумело, ожесточилось, кровь забушевала во мне... Не мог я уступить Маквалу другому, убил ее... Думал, — убью и найду покой. Но отомстил мне бог... Все мои дни отравлены, сердце полно ядом... Для чего мне есть, пить, спать, бодрствовать, ходить по земле? Все кажется мне одинаково черным, скорбным и горьким... Вода, вода проклятая, — почему и у нее изменился вкус? Не могу смотреть на солнце, не смею взглянуть на луну, — стыдно!.. Стыдно мне!.. Своей собственной тени стыжусь... Встретил Онуфрия... Он причастил меня... Я все ему рассказал, во всем открылся в исповеди... Но и это меня не спасло. И вот я перед вами. Вот вам мое сердце!.. Спасите Онуфрия, убейте меня!.. Онисе упал на землю, губы его еще шевелились, он хотел говорить, но силы изменили ему.

И в это мгновение в толпу ворвался, как барс, человек с налитыми кровью глазами. Он подскочил к Онисе, приподнял его за ворот и воскликнул:

— Посмотри на меня! Это ты лишил меня покоя... Ты опозорил мой очаг, ранил мое сердце... Ты любил Маквалу? Да, но и я любил ее, любил больше, чем ты... И ты убил ее, мою Маквалу и... Чего ты просишь у теми? Ты убил мою Маквалу, кровь за мной, и я отомщу тебе сам!

— Убей, убей! — Онисе обернулся к нему и с улыбкой подставил ему грудь.

Блеснул клинок. Народ кинулся к ним с криками: «Смерть предателю!» и схватил Гелу, стиснувшего в руке окровавленный кинжал. У ног убийцы лежал пронзенный в грудь Онисе. Жизнь еще не угасла в нем, он извивался на земле, силился приподняться, невнятные звуки слетали с его губ.

— Да простит тебе бог, Гела! — с усилием прошептал он, весь затрепетал, вытянулся и застыл навеки.

Безмерна была дерзость Гелы, он преступил все обычаи и права теми, на глазах у всего народа убил человека, добровольно представшего перед судом общины. Смертельно оскорбленный теми угрожающе шумел.

— Убить, растерзать! — кричали в толпе.

Несколько человек держали дрожащего, бледного Гелу, с перекошенным от ужаса лицом.

Один Джмуха сохранял спокойствие и самообладание. Он призвал толпу к молчанию и обратился к ней:

— Люди общины! — начал он. — Столбы наши пошатнулись, небо вот-вот обрушится на нас. Что мне сказать вам, что посоветовать? — говорил он дрожащим голосом. — Чувствую я, что убывает сила теми. Где былая незыблемость наших обычаев, наших нравов?.. Слезы и вопли не помогут нам. Вы сами видите, что совершил Гела. Но для чего нам еще одна смерть? Его кровь не смоеет с нас позора, не спасет нас от бедствий.

— Нет, невозможно! — прервали его из толпы. — Гела должен умереть! Смерть ему, смерть! — угрожающе нарастали голоса. — Гела опозорил нас, ничто не спасет его от смерти!..

— Братья! — еще раз возвысил голос Джмуха. — Если бы Гела был моим сыном, я сам не пощадил бы его, убил собственными руками, потому что он чужой нам, он не похож на горца... Но я не мог решить этого без вас... Глас народа — глас божий! Пусть будет по вашему! Вам принадлежит вся жизнь моя до последнего вздоха, и ваше решение для меня закон. Смерть Геле! И пусть будет его смерть устрашением для всякого, кто преступит законы общины!

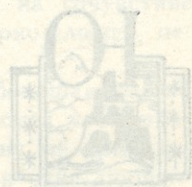
— Забьем, забьем камнями! — грозно закричали в толпе, и люди с камнями в руках надвинулись на Гелу. Глухой грохот кидаемых камней слился с ревом толпы. Взвился столб пыли.

Потом сразу все стихло. Опустив головы и не оборачиваясь назад, люди поспешно уходили с места казни с торжественным чувством выполненного тяжкого долга.

Нерушимая тишина спустилась на поляну, где еще недавно бурно волновался народ. Ветер рассеял взметенную пыль. И тогда стал виден холм из камней. Под ним лежал прах Гелы, казненного рукой народа за измену своему теми.

Прошли годы. Община получила извещение:

«Пастырь Онуфрий помилован. Но помилование не застало его в живых. Он скончался незадолго до получения бумаги на месте».






Элеонора

1



ная и шаловливая, изнеженная и лукавая, своеправная и прекрасная Элеонора, дочь богатого феодала Вахтанга Хелтубнели, была предметом мечтаний тогдашней молодежи.

Все, кто были достаточно знатны, богаты и блестящи, неотступно искали ее руки, каждый мечтал о чести стать ее супругом, измышляя тысячи способов понравиться ей. Но Элеонора, надменная в своей красоте и гордая тем, что отец ее был правителем всего края, происходил из самого знатного рода в стране и обладал несметным богатством, смеялась над своими поклонниками, в то же время притягивая их к себе, разжигала в них огонь любви, никому не покоряясь сама. Множество молодых людей окружало прекрасную девушку, они вздыхали, томилась по ней, лишенные сна и покоя, но все было тщетно: тщетно изнывали они, тщетно домогались ее. Их пламенные слова, порывисто-самоотверженные поступки и огненно-сверкающие взгляды не в силах были смягчить сердце Элеоноры, не могли растопить вокруг нее ледяную броню.



Стоило только Элеоноре увидеть красивого юношу, как она тотчас же принималась его завлекать: посылала ему улыбки, дурманящие разум, обращала к нему слепящий блеск своих бархатно-черных глаз, перешучивалась с ним своим певучим голосом, и когда сладостный яд начинал опьянять несчастного, когда мягкие, мучительно-нежные сети опутывали его, вот тогда-то и наступали для девушки минуты истинной радости, и она с восторгом победительницы следила за трепетным волнением своей жертвы, словно наслаждалась ее страданиями.

И в такие минуты Элеонора была похожа на тигрицу, которая ощущает под своими лапами дрожь поверженной жертвы и упивается ее бессильным ужасом.

Среди юношей, которые, подобно ночным бабочкам, вились вокруг Элеоноры, опалились и сгорали, но не могли покинуть ее, был один, по имени Леван Кречиашвили. Ни род, ни богатство, ни внешность не давали ему надежды когда-нибудь растопить сердце девушки, но образ ее был глубоко запечатлен в его душе. Юноша этот был азнауром, повинным Вахтангу Хелтубнели, и уже поэтому не мог претендовать на руку дочери своего суверена. Но если бы даже различие положений суверена-феодала и его дворянина не высылось огромной горой между ним и Элеонорой, все равно у него не было надежды на сочувствие девушки, так как сам он был ростом невысок, дурно сложен, неловок в движениях... и некрасив лицом.

Его беспорядочно торчащие усы и борода, большая голова на узких плечах, косые глаза, — все вызывало смех у Элеоноры при каждой встрече с ним; девушке и в голову не приходило, что несчастный любит ее и безысходно тает в огне любви.

Леван понимал свое положение и старался вырвать из сердца коварно впившийся в него образ, но вскоре с грустью убедился, что все его старания тщетны и что глаза Элеоноры с каждым днем все сильнее покоряют его, вливают в него медленный яд и отравляют его.

Положение Левана отягощалось тем, что он состоял придворным в доме Вахтанга Хелтубнели и постоянно мог видеть свою госпожу, и от этого еще больше туманился его разум, адский огонь еще сильнее обуревал его. Он понимал все это, но уйти не мог.

Леван затих, притаился, замкнулся в себе и молчаливо, без жалоб, влачил дни своей жизни в тайных муках.

Нередко Элеонора призывала его к себе и беседовала с

14935940
512-1171033

ним, не замечая глубоко затаенной тоски, подтачивающей сердце несчастного.

Она, бывало, говорила ему: «Кречиашвили, очистите мне орехи!» И Леван, втайне вздыхая, но весь светясь радостью, бежал выполнять приказание своей госпожи; он мог переложить поручение на своих подчиненных, но ведь орехи нужны были Элеоноре, и разве допустит он других до этого дела, разве кому-нибудь уступит его? Он нежно гладил сердцевину орехов, ласкал их, трепетно шептал над ними слова любви, — ведь уста Элеоноры могут коснуться их, и этого было достаточно, чтобы орехи стали святыней для Кречиашвили.

Спесивые князья высмеивали перед Элеонорой бедного дворянина Кречиашвили и, будучи старшими над ним, умышленно изводили его мелкими поручениями и всячески унижали его. Кречиашвили понимал свое унижение, в сердце его закипала бессильная злоба, он проклинал день, в который родился, и все-таки не мог, не в силах был уйти, добровольно отказаться от всех этих мук.

Так безнадежно текли дни Левана, рабски привязанного к своей госпоже, терпеливо сносившего ради нее всяческие несправедливости, унижения, страдания, и все же преданного ей, как собака.

Кречиашвили любил Элеонору, и хотя бы лишь изредка взглянуть на нее, услышать ее голос, доставлявший ему радость и муку, — чего же еще мог он желать?

2

Поместье Вахтанга Хелтубнели было цветущим садом, и в то же время — неприступной крепостью. К ровному плато, окруженному густым лесом, примыкали обширные пахотные поля, покосы и пастбища, и все поместье, с трех сторон, омывалось тремя чистыми прозрачными ручьями. За лесом стояла гора, над нею виднелась другая, а дальше тянулись разнопородные и разноцветные голые скалы, над которыми, подобно серебряной короне, вздымалась белоснежная ледниковая вершина. Там были владения Аслан-Гирея, недремлющего врага Кахетии и всей Грузии; оттуда этот горный орел производил свои набегі то на один, то на другой уголок Кахетии, и всюду, где ступала его нога, дымнились следы разрушения, следы крови.

Все трепетало в страхе перед Аслан-Гиреем, так как сердце-

его не знало жалости; он не щадил ни старого, ни молодого, и виноградники и нивы сжигал он и разорял в ярости своей.

Одно только село Чагмети, принадлежавшее Вахтангу Хелтубнели, всегда готово было впитаться в горло лезгинам и неустрашимо продолжало отражать набеги врага.

Аслан-Гирей был молод и красив, статен и стремителен, как сокол. Храбрость его была примером для мужчин, а красота и стройность — предметом воздыханий для женщин.

Однажды к Вахтангу Хелтубнели явился гонец от Аслан-Гирея. Вахтанг был человеком умным, он свято чтит обычаи гор и, разумеется, принял гонца, как гостя, с большим почетом.

После богатого обеда и развлечений Вахтанг спросил гостя о причине, которая привела его к нему.

— Аслан-Гирей желает видеть тебя, — ответил гость.

— Аслан-Гирей прославлен отвагой и храбростью, — сказал хозяин, — разве могу я отказать от такого гостя?.. При этом я одинаково чту и долг война и долг хозяина... Где находится он?

— Он стоит лагерем тут же, неподалеку, в лесу.

— Тогда торопись, торопись и проси его пожаловать ко мне..

Хозяин приказал нескольким всадникам сопровождать гостя, и они поспешили к лезгинам. А сам он стал раздумывать над тем, что могло означать желание Аслан-Гирея, того самого неистового Аслан-Гирея, который считал несчастным каждый день, прожитый им без пролития чьей-нибудь крови.

Вахтангу хорошо известен был нрав Аслан-Гирея, он знал, что битва для него — меджлис, и потому счел излишним привести в готовность своих людей, и если бы Аслан-Гирей преступил права гостя, предал хлеб-соль хозяина, тогда... тогда лезгин кровью поплатился бы за свою дерзость!

3

Все было готово к ужину. Элеонора сверкала нарядом, с нетерпением ожидая прославленного гостя. Тут же были и молодые князья, поклонявшиеся своей звезде.

Вдруг топот копыт замер у въездных ворот. Вахтанг вышел встретить Аслан-Гирея.

— Хозяин, я счастлив, что меня ожидает честь провести ночь под твоей кровлей! — низко склонив голову, почтительно произнес лезгин.

— Гостю, подобному тебе, радуются и дом и сердце хозяина! — сказал Вахтанг, приглашая его. — Войди в мой дом и взгляни на весело гудящий камин, с которым схоже сердце хозяина!

Все вошли в богато убранный зал, где полыхал огромный камин. В дверях гостя встретила Элеонора.

— Светило неба! — воскликнул лезгин, и глаза его заискрились огнем. — Слава о твоей красоте взметнулась к высям небесным, и вот, вижу сам, что ты достойна ее!.. Да будет благословенна грудь, вскормившая тебя, благословенны очам, проводившим бессонные ночи над твоей колыбелью, благословенны руке, не устававшей укачивать тебя! Горная роза, долгих лет желаю тебе!

При этих хвалебных словах Элеонора вдруг вспыхнула, зарделась и на мгновение потеряла обычную свою самоуверенность. И поэтому отцу пришлось притти ей на помощь.


— Радуюсь сердцем, что в доме моем все стараются доставить удовольствие моему гостю!

После этих приветствий они сели за ужин. Элеонора была тамадой, и лезгин позабыл о законах Магомета, а взгляды девушки, полные огня и веселья, дурманили его сильнее вина.

4

Ужин окончился. Все разошлись по своим спальням, но в душе у каждого не сразу угасли пленительные впечатления пира, каждый улыбался чему-то, пока не смежились глаза. Аслан-Гирей был так одурманен, так сладко ошеломлен, что не мог заставить себя ни лечь, ни заснуть, но и в бодрствовании не находил он покоя, вскипевшая кровь бешено носила по жилам образ Элеоноры, неотступно томила и терзала сердце.

Впервые в жизни почувствовал Аслан-Гирей, что существует некая неведомая власть, способная заставить его склонить голову перед женщиной. До этой ночи красивая женщина была для Аслан-Гирея блаженством, которое небеса посылают мужчине в награду за храбрость; она была его собственностью, безличной игрушкой его своевольной страсти. Только в этом он видел назначение женщины, и не мог себе представить иного чувства к ней. Поэтому, полюбив женщину, он начинал домогаться ее, но это была игра высшего существа с низшим, и низшее должно было считать себя осчастливленным тем, что пленило мужчину и что он удостоил его своим вниманием.



Образ Элеоноры сразу покори́л Аслан-Гирея, заставил его склонить голову и надменного повелителя превратил в раба закованного в цепи.

Аслан-Гирей, привыкший только приказывать женщине, теперь робко мечтал удостоиться чести выполнить приказ Элеоноры.

Чуткая от природы и бурная душа жизнелюбивого юноши-горца вдруг вся взметнулась, вздыбилась волнами, подобно горной реке под жгучим солнцем, и с неудержимой быстротой устремилась бог весть куда.

Он ложился, снова вставал, открывал глаза и снова закрывал их, — образ Элеоноры неотступно стоял перед ним. О чем бы ни думал он, какое бы слово ни хотел произнести, уста его невольно называли одно только имя. Его неистовое воображение еще сильнее разжигалось действием вина, и Аслан-Гирей почти терял сознание.

В тот самый час, когда юный лезгинский правитель пребывал в столь непривычном для него возбуждении, тень печали блуждала по оживленному лицу Элеоноры, и ее подвижной, изменчивый ум упорно был занят одной мыслью.

Девушка удивлялась самой себе и еще не могла осознать того, что стрела любви пронзила, наконец, ее нежное, причудливое и маленькое сердце.

Элеонора вспоминала слова Аслан-Гирея, так ласково тронувшие ее слух, и тщетно силилась найти в поступках молодого лезгина что-либо смешное. Стоило ей только попытаться прибегнуть к своей обычной уловке, стоило только начать всматриваться в образ лезгина, как вместо смешного ей тотчас же представлялась влекущая улыбка на нежных, тонких губах, одушевленное лицо, сверкание черных огнемечущих глаз, и насмешка слагала оружие, уступая место томительной тревоге.

Элеонора была в своей комнате совершенно одна, — Вахтанг Хелтубнели, единственный во всей Грузии, разрешал своей своенравной дочери спать без дозора нянек.

В камине гудел огонь, не столько ради тепла, сколько ради того, чтобы веселить душу своим гудением и разливать в комнате мягкий полумрак. Элеонора лежала на тахте, и шелковое одеяло цвета ее щек прикрывало ее только до груди. Она беспокойно металась на постели, и край одеяла откинулся, раскрыв маленькую нежную ножку. С головы девушки соскользнула ночная косынка, и густые, черные, как смола, с блестящим отливом локоны в беспорядке рассыпались по мягкой по-

душке. Один локон, соскользнув, обвил точеную шею; шелковая рубашка расстегнулась и обнажила белую, как хлопок, грудь. Борьба страстей наложила печать утомления на ее бледное лицо, и нежно-коралловый рот был приоткрыт от частого и короткого дыхания.

Веки ее были опущены на глаза, но луч жизни сверкал, как два горящих уголька, из-под длинных черных ресниц. Слегка побледневший, нахмуренный лоб как бы излучал властно-приковывающее сияние. Элеонора была прекрасна. В это мгновение все было в ее власти: она могла побудить к неистовствованию ягненка и укротить рассвирепевшего льва.

Послышался какой-то шорох. Элеонора открыла глаза и привстала. Но в комнате никого не было, и она успокоилась.

Все стихло. Элеонора снова погрузилась в свои думы. Вдруг тот же шорох повторился, на этот раз сильнее и настойчивее.

Девушка вздрогнула и села на кровати как раз в то мгновение, когда дверь открылась и в ее раме застыл человек.

— Аслан-Гирей! — испуганно вскрикнула Элеонора и гневно нахмурила брови.

— Прости, пощади! — с трепетной почтительностью сказал лезгин и робко шагнул вперед.

— Остановись! — сурово приказала девушка, и юноша замер на месте. — Несчастный, кто дал тебе право на это?

— Любовь! — тихо прошелестело признание.

Лезгин низко опустил голову. Он тяжело и взволнованно дышал. Кровь то прилиwała к его щекам, то отливала от них, глаза в темноте были похожи на раскаленные уголья. Он не смел поднять голову, не смел взглянуть девушке в глаза.

Элеонора тоже молчала, первый страх миновал, теперь чувство жалости овладело ею.

— Ступай! Довольно с тебя и этой дерзости!

Аслан-Гирей не ответил. Он взглянул на Элеонору с такой покорной мольбой, словно ее слова стрелой вонзились в его сердце.

— Ты слышал меня, понял? — повторила девушка, но жалость в ней все росла и голос ее прерывался. Она почувствовала, что ей изменяет ее повелительный тон, переходя в едва скрываемую покорность, и хотя она приказывает лезгину уйти, — в голосе ее сквозит совершенно иное.

И этот голос пронзил все существо Аслан-Гирея, он почувствовал в нем бездонность блаженства. Он вздрогнул, без-

отчетно протянул вперед руки и, забыв весь мир, вдруг ощутил в своих объятиях испуганное, трепещущее тело девушки.

Доселе неизведанное чувство овладело Элеонорой, подчинило ее себе, и она, обессиленная, покорно отдавалась чужой воле.

В эти минуты она была подобна больной, но недуг ее казался ей столь сладостным, что она не могла не покориться ему.

Обезумевший лезгин коснулся ее губ, приник к ним, и дыхание перехватило в груди.

Девушка вздрогнула, вырвалась и оттолкнула его рукой. Она пришла в себя, очнулась от внезапного ошеломления. Движением разгневанной львицы она откинула с лица локоны. Глаза ее метали молнии.

Лезгин еще не совсем пришел в себя, но ярость девушки ужаснула его, и он стоял перед ней, виновато опустив голову, смущенный и покорный. Смелость вернулась к Элеоноре, она почувствовала себя жестоко оскорбленной и, разъяренная дерзким поступком лезгина, еще больше негодовала на собственную слабость. Лицо Элеоноры в это мгновение было похоже на разгневанное небо.

Долго стояли они молча, друг против друга: нежное создание, подобное ангелу гнева, и отважный, храбрый мужчина, подобный покорной юной ветке, которую безжалостно клонит к земле сокрушительный ураган.

Элеонора глубоко вздохнула, схватилась рукой за грудь, за горло и вся напряглась, как барс, готовый прыгнуть на свою жертву. Потом, протянув руку, безмолвно указала лезгину на дверь.

Аслан-Гирей как бы вдруг надломился, — неодолимая сила согнула его. Он умоляюще взглянул на Элеонору. Девушка стояла, чуждая жалости.

— Пощади! — тихо произнес лезгин.

— Ах! — с досадой воскликнула Элеонора. — Вон там дверь! — добавила она.

— Элеонора!

— Довольно! — прервала его девушка.

Аслан-Гирей не посмел продолжать. В напряженной тишине он делал мучительные усилия взглянуть на Элеонору, но не мог поднять глаз.

Она шагнула вперед и сказала:

— Уходи вон!

Аслан-Гирей вздрогнул. Подчиняясь неумолимой силе, он

тихо повернулся к двери, пошел медленными шагами, а потом почти побежал. Однако, у самого порога он еще раз остановился, повернулся к Элеоноре и упал на колени.

— Элеонора! — он протянул к ней руки, — не будь безжалостной, пощади! Чем я провинился перед тобой?

— Ты оскорбил честь девушки!

— Только из-за любви к тебе!

— Хотел воспользоваться слабостью девушки!

— Элеонора, люблю тебя! — со всей силой страсти воскликнул лезгин.

— Тем хуже для тебя! — с беспощадной суровостью ответила девушка. — Тебя не полюблю никогда!

Аслан-Гирей вскочил, как ужаленный; шатаясь, приблизился к девушке.

— Тогда... Кого же ты полюбишь? — он был бледен и весь дрожал.

— Первого встречного, — только не тебя!

— Я убью, задушу его!

— Посмотрим! — надменно улыбнулась девушка. — Довольно!.. Оставь меня!

— Хорошо, Элеонора! Ты пожелала предать меня пытке, и я покорно выполню твой приказ. Но знай, — никто тебя так не полюбит, как я!

— Ха-ха-ха! — раздался в ответ разящий смех. — Мне и не надо ничьей любви... Зато я сама буду любить, и одарю того, кого полюблю сама, радостью и райским блаженством!

— А я?

— Ты?.. Тебя я обреку на муки адские, — слышишь? На адские муки... Я иссушу, изведу, погублю тебя, и твои страдания пробудят во мне только смех.

— Довольно!.. Я уйду, но знай, что все равно ты будешь моей... Первое же сердце, озаренное твоей улыбкой, почувствует, как остер мой кинжал... Каждого, для кого хоть однажды засверкают твои глаза, будет вскорости оплакивать мир; каждого, кому ты пообещаешь свои объятия, примет в объятия холод могилы... Запомни, Элеонора!.. Это говорит тебе Аслан-Гирей, а он привык выполнять свои обещания!.. Прощай!

С этими словами открыл он дверь, и ночной мрак поглотил его.

Девушка долго еще стояла в суровом оцепенении. Потом она глубоко вздохнула, провела рукой по лбу.

— Так значит ты пугаешь меня?.. — произнесла она. — Угрожаешь?.. Посмотрим!

На другое утро, когда все встали, и хозяин дома распорядился устроить для гостей роскошное пиршество, ему доложили, что гости уехали на рассвете.

Изумленный этим известием, Вахтанг Хелтубнели не знал, чему приписать такой неожиданный поступок Аслан-Гирея. Элеонора, утомленная событиями прошлой ночи, наконец, задремала, однако, впечатления от этих событий, повидимому, все еще продолжали волновать ей душу. На нежном лице ее блуждала надменная улыбка, брови сурово сдвигались. Губы ее шевелились, она с кем-то разговаривала во сне.

— Угрожаешь?.. Посмотрим, кто победит! — напоследок прошептала она, и глубокий сон овладел ею.

5

Прошло немало времени. Об Аслан-Гирее ничего не было слышно. В доме Хелтубнели все позабыли об его неожиданном приезде и таинственном отъезде. Даже сама Элеонора, казалось, не помнила о нем и продолжала попрежнему потешаться над своими поклонниками.

Девушка упорно таилась от всех, никто не замечал в ней никакой перемены. Однако, вскоре она стала бледнеть, и обычная беспечность сменилась каким-то непонятным беспокойством.

Первым заметил в ней эту перемену Кречиашвили, и сердце его сжалось тоской. Он, как и все, не знал, из-за чего так изменилась Элеонора, и, одержимый любовью к ней, решил, что ее сердце воспламенилось любовью к одному из ее поклонников.

До сих пор Кречиашвили страдал из-за того, что никогда не мог рассчитывать на сочувствие своего светила; но зато его утешала уверенность, что не у него одного, но и у других нет надежды на счастье.

Всецело поглощенный жаждой собственного счастья и не имея сил обрести его, Кречиашвили не хотел, чтобы и другие были счастливы. Таким делает любовь каждого, кто без оглядки отдается ей. Вот почему удвоились безнадежные страдания Кречиашвили.

Элеонора переменялась, утратила обычную свою веселость, и скорбные, еле заметные морщинки залегли вокруг ее улыбаю-

щихся уст. Девушка сделалась капризной, и это было неудивительно, так как целыми ночами она не могла сомкнуть глаз, сон бежал от нее. Она потеряла вкус к еде, и невозможно было ничем соблазнить ее.

Отец удивлялся перемене, происшедшей в дочери, огорчался, приписывал это то одному, то другому святому, приносил им в жертвы бесчисленное множество убоины, неустанно совершал обряды, но все было напрасно. Летели гонцы к прославленным гадалкам, отливались и возжигались восковые свечи в рост девушки, но и от этого не было пользы, больная не поправлялась.

Однажды Хелтубнели призвал к себе Кречишвили и спросил его:

— Можешь ли ты, если понадобится, перевалить через хребет к лезгинам?

— Почему же нет, мой господин! Там у меня много кунаков, и мне не страшно туда поехать.

— Тогда поезжай завтра утром. Хвалят там одного лезгина, говорят, — не было еще другого такого лекаря на свете. Может, сумеешь привезти его ко мне.

— Привезу, непременно привезу, — сказал Кречишвили и добавил. — А имя его вам известно?

— Муртуз-Али зовут его.

— Муртуз-Али? Я знаю его, господин... Однажды я был ранен, и его приставили ко мне лекарем, он вылечил меня... Благословенная десница у него, да не заслужу я гнева вашего!

— Расскажи, как это было?

— Он так перевязывал мне рану, что я не чувствовал боли, а если другой до меня дотрагивался, то я горел весь, как в огне.

— Хорошая рука, значит!

— Хорошая, хорошая, господин!

— Может быть, он сумеет помочь моей дочери, а то, видит бог, потерял я покой... К кому только ни обращался, — ничем не могу ей помочь! — горестно сетовал Хелтубнели, низко поникая головой.

— Не тревожьтесь, господин мой, бог милостив, поправится она! — утешал его азнаур.

— Мы сами, того гляди, потеряем покой... Не медли, Кречишвили, ступай, приготовься к пути, завтра с рассветом отправишься.



1369367-40
019-117093

— Я не стану ждать рассвета, сейчас же отправлюсь.
Прощайте, господин мой!

Кречиашвили поспешил к себе домой, собрался в дорогу и поехал к лезгинским горам.

Вахтанг продолжал сидеть в глубокой задумчивости.

6

Не успел Кречиашвили отехать от своего дома, как с другого конца деревни подскакали три вооруженных всадника и направились прямо к дому Хелтубнели. У ворот их встретили слуги, помогли спешиться, приняли коней, потом один из слуг проводил их в зал, а другой побежал доложить господину.

Вскоре хозяин и трое гостей сидели за низким треножным столом. Один из гостей был старик с частой проседью в усах и бороде, а двум другим было лет под сорок каждому. Все трое были одеты нарядно и богато, вооружены с головы до ног, и в осанке их было достоинство, присущее всем горцам. Окончили трапезу, стол был убран, и все закурили трубки. Тогда только старший из гостей нарушил молчание.

— Вахтанг!.. Ты хорошо знаешь, что наши люди, и особенно человек моего возраста, без важного дела не склонны пересекать столь высокие горы... Зачем долго молчать и томиться в неизвестности, причиняя беспокойство и тебе и самим себе? Клянусь божьей благодатью, что пребывание в твоём доме не может наскучить человеку и год, и более, но дело надо привести к концу...

— Такая речь не означает ли, что я не сумел принять вас достойно, и вам наскучило гостить у меня? — спросил Вахтанг.

— Слава о твоём хлебосольстве разносится далеко... Твое гостеприимство заставляет человека забыть о беге времени, но спешное дело требует спешного разрешения.

— Я должен покориться и выслушать вас, — ответил хозяин.

— Дело трудное, Вахтанг, но выхода нет! Говорить тяжело, но и молчать невозможно.

— Говорите, слух мой обращен к вам.

— Ты знаешь Аслан-Гирея?

— Аслан-Гирей — прославленный герой, имя его гремит далеко в горах, — кто не знает Аслан-Гирея?

— Помимо славы он и богат безмерно и знатен родом...



- И об этом знаю.
- Юноша он красивый, статный.
- Подобен соколу!
- Ничем не заслужил он упрека.
- Правду говоришь.

— Тогда отдай за него замуж свою дочь, — воскликнула старец.

— Что? — Вахтанг даже привстал от изумления. — Аслан-Гирей просит у меня руки дочери моей?

— Что удивляет тебя? — спросил старец.

— То, что у нас с ним разные веры. Наша вера не разрешает нам измены... Но если бы и не это, — разве могу я свою дочь отдать замуж так далеко?.. У меня никого нет, кроме нее!

— Любовь не считается ни с верой, ни с дальностью... Аслан-Гирей любит твою дочь, и ты должен отдать ее за него, если она расположена к нему.

— Нет, гости мои, не могу я отдать свою дочь за Аслан-Гирея!.. Я рад, что вы пожаловали ко мне... Гость от бога!.. Веселитесь, утешайтесь!.. Чума пусть заберет скотину, которую я пожалею зарезать для вас... Пусть в уксус превратится в непечатых чанах вино, которое я пожалею вскрыть для гостей! Оставайтесь здесь у нас, гостите до тех пор, пока не наскучит вам жить под нашим закопченным кровом. Но только не просите руки моей дочери... Этого никогда не будет, это невозможно, и мы только понапрасну докучаем друг другу.

— А что ты скажешь, если и дочь твоя любит его? — помолчав, спросил гость.

— Если дочь моя любит его, пусть она изведется от любви, пусть погибнет, — все равно за лезгина ее не отдам!

— За лезгина! — с болью произнес старец. — Почему же?

— Потому что лезгин иной веры, иной общины и иная отчизна у него...

— Не торопись, Вахтанг!.. Аслан-Гирей — прославленный герой, отважный человек, а любовь лишила его рассудка...

— Вы страшаете меня? — Вахтанг подобрал широкие рукава своей куладжи и нахмурился.

— Нет, Мы только не хотим обоюдных обид, нехорошо это будет. Слишком сильно полюбил Аслан-Гирей твою дочь, чтобы так легко отказаться от нее.

— Если сам не откажется, — заставят отказаться! — рассердился Хелтубнеди.



— А если он похитит ее? — спросил посланный.

— Посмотрим!.. — с усмешкой воскликнул Вахтанг, заломив шапку и невольно потянувшись к рукоятке кинжала.

— Вахтанг, ты умный человек, подумай, хорошенько подумай! — почти умолял лезгин.

— Э-ге, гость дорогой! Не думаешь ли ты, что опозорится Чагмети, что позволит он лезгину похитить мою дочь?

— Значит будет пролита кровь! — воскликнул старец и горестно махнул рукой.

— Ну, что ж, мне не жалко... Если есть у кого лишняя кровь, — мы ее выпустим!

Разговор оборвался. Наступило напряженное молчание.

Старец впервые видел Вахтанга, и ему понравилась его мужественная речь. Умудренный опытом горец понял, что Хелтубнели и Аслан-Гирей не уступят друг другу без кровопролития, и решил еще раз попытаться предотвратить бедствие. Но первые же его слова Вахтанг прервал вопросом:

— Где же он был до сих пор, если собирался похитить мою дочь?


— До сих пор горы были непроходимы... Аслан-Гирей был заперт за перевалом, как медведь в берлоге. Теперь наступила весна, дороги открылись, и Аслан-Гирей может собрать большое войско.

— Довольно, гость, довольно... Когда вернешься, передай Аслан-Гирею, — пусть в этом году не смеет спускаться по эту сторону перевала, не то, клянусь творцом нашим, не уйти ему отсюда живым!

На этом переговоры закончились, и ни красноречие, ни опыт не помогли старцу возобновить их. Посланные отбыли. А Вахтанг понял, что с Аслан-Гиреем не разойтись миром, ибо для владельца гор кровопролитие было отрадней меджлиса.

7

Элеонора полюбила Аслан-Гирея с первого взгляда. При встрече с ним она едва не дошла до самозабвения, едва не принесла в жертву страсти свою честь, и теперь безмерно в этом раскаивалась. Самолюбие помогло тогда девушке и она, опомнившись, указала лезгину на дверь, карая его за нанесенное ей дерзкое оскорбление. Зимой же, когда запертый снегами Аслан-Гирей безумствовал из-за того, что не мог подать о себе вести, гордость вспыхнула в ней с небывалой силой. Его молчание она



приписала равнодушию и решила, что он ее не любит. Смелое вторжение лезгина в спальню она объяснила его развращенным нравом и поклялась отомстить ему. Но время шло, девушка терпела покой и раздражение ее все росло. Она терзалась мыслью, что кого-то не сумела поработить, не сумела покорить чьего-то сердца; к тому же ее мучило воспоминание о том коротком мгновении, когда она потеряла самообладание, забылась и позволила чувству победить себя.

Вот почему так изменилась Элеонора, утратив веселость и жизнерадостность, сделавшись болезненной и раздражительной. И в те самые дни, когда она, измученная своими горькими мыслями, теряла покой и здоровье, по ту сторону перевала запертый снегами Аслан-Гирей сходил с ума от тоски по возлюбленной. Он рыскал по горам, как раненый лев, безудержно рвался к той, которая ранила его сердце, но безжалостная природа преграждала ему путь.

Когда выглянуло солнце и вернуло радость тем местам, слепяще-белый снежный покров на необозримых горных грядках сперва зарыбил, зашестрел, а потом потоками ринулся вниз. Снова открылись дороги, оживились пути. Природа воскресла, птицы защебетали, запели. Раскрылись цветы, все пришло в движение. И сердце Аслан-Гирея забилося с небывалой силой, затрепетало от радости, неудержимо потянулось к возлюбленной. Аслан-Гирей поспешно собрал людей, взял с собой сватов и перевалил горы.

Аслан-Гирей шел просить руки дочери Хелтубнели, а если откажут ему, тогда похитить невесту, взять ее силой, хотя бы ценою жизни половины войска.

Вот почему Аслан-Гирей стал лагерем в густом лесу неподалеку от селения Чагмети и оттуда отправил своих послов к Хелтубнели. С замиранием сердца ждал он возвращения послов, которые должны были принести ему отрадный или горестный ответ.

8

Умудренный опытом Хелтубнели был скор в делах, когда этого требовала жизнь. Проводив послов, он тотчас же отправил приказ во все ближние и дальние села — быть готовыми к нападению лезгин, ожидаемому со дня на день. И сам он привел в боевую готовность свою дворцовую крепость, сложил в ней большой запас провианта, хорошо понимая, что Аслан-Гирей, —

если он отважится на нападение, — пойдет на Чагмети с многочисленным войском. Хелтубнели знал, что борьба будет жестокая, Аслап-Гирей не любил шутить, и в боях с ним не один богатырь испустит последний стон, не у одного застынет улыбка на устах.

Когда все приготовления были закончены, Хелтубнели, воскликнув: «Теперь пусть хоть весь Дагестан идет походом на нас!» — направился в спальню к дочери.

Элеонора сидела на тахте, печальная, задумчивая. Ее щеки увяли, желтизна вкралась в их нежность, завидную даже для розы. Кожа истончилась, стала прозрачной, как янтарь. Хмурые дуги бровей сошлись у переносицы, словно чрезмерно туго натянутый лук.

Она угрюмо взглянула на отца и снова опустила глаза.

Вахтанг подошел к дочери, безмолвно поцеловал ее в лоб и присел рядом с ней на тахту.

— Элеонора, жизнь и надежда моя, как ты чувствуешь себя? — спросил Вахтанг, помолчав.

— Не могу спать! — с досадой в голосе сказала девушка.

— Что с тобой, что смущает твой сон?

Девушка повела плечами, вскинула бровь.

— Как-будто это не все равно?

— Хорошо, хорошо, дочка, не сердись! — поспешил успокоить ее отец. Он пристально и заботливо глядел на нее.

— Знаешь, дочка, что я хочу сказать тебе? — осторожно обратился он к ней после короткого молчания.

— Не знаю! — резко ответила дочь.

— Ко мне лезгины приезжали в гости.

Элеонора насторожилась и кашлянула от волнения.

— Лезгины?

— Да, дочка.

Наступило молчание. Элеонора тяжело дышала.

— Ну, и что из того? — раздраженно воскликнула она. —

К тебе постоянно ездят лезгины.

— Нет, ты сперва спроси, зачем они приезжали.

— Наверно, купить хотели что-нибудь.

— Нет.

— Эх... Какое мне дело, отец дорогой мой, кто и зачем к нам ездит.

— Нет, ты выслушай сначала.

— Чего же они хотели?

— Они сватались за тебя! — с недоуменной улыбкой ска- зал отец.

У Элеоноры вспыхнули щеки, глаза засверкали, по губам пробежала улыбка. Не изменяет ли ей слух?

— Что ты сказал, отец?

— Я сказал, что просили твоей руки!

Девушка приподнялась на тахте, у нее дыхание перехвати- ло в груди.

— Для кого? — почти беззвучно спросила она.

— То-то и есть, что для кого? — смелее заговорил Вах- танг, увидев, что дочь заинтересовалась беседой, — для Аслан- Гирея!

Девушка вспыхнула, прикрыла глаза рукой, и плечи ее за- тряслись от сдерживаемых рыданий.

Бедный отец растерялся, не мог понять, что так взволнова- ло Элеонору.

— Что с тобой, дорогая моя доченька, отчего ты плачешь? Разве могу я отдать тебя за лезгина!.. — встревоженно гово- рил он.

Элеонора вдруг подняла голову, вытерла слезы.

— Ничего, отец, не беспокойся! Какой же ответ ты дал? — спросила она.

— Какой ответ?.. Послал отказ.

— Отказ! — воскликнула она с облегчением, но тотчас же взяла себя в руки. — Хорошо ты поступил, отец!

— А как же ты думала, дочь? Разве я мог отдать тебя ка- кому-то лезгину, человеку иной веры, погубить твою душу и те- ло твое?

— Хорошо, очень хорошо ты сделал!..

— Нет, если б ты только знала, чем они хотели меня за- пугать!

— Чем же?

— Похитим, мол, ее!

— Ого!.. Это мы еще посмотрим!.. — с угрозой, непонят- ной для отца, сказала девушка.

— Что ж тут смотреть, дочка? Если посмеют притти, — проклянут свою судьбу.

— Встретим войной?

— Не только войной, — мы небо обрушим на их головы!

Они помолчали. Потом Элеонора, сделав вид, что дрем- лет, попросила отца оставить ее одну.

Как только отец вышел за дверь, она вскочила с тахты и воскликнула с грозным злорадством:

— Так значит и в тебя попала стрела?!.. Теперь я знаю, как отплатить тебе за оскорбление!..

Этот разговор с отцом исцелил Элеонору, и спустя несколько дней влюбленные юноши попрежнему вздыхали и сгорали вокруг своей цветущей попрежнему властительницы.

9

Как-то вечером в доме Хелтубнели был обычный пир, на который собралась молодежь. Многие юноши узнали, что Аслан-Гирей вознамерился похитить дочь Вахтанга, и они явились ко двору Элеоноры, надеясь, в случае надобности, встать на ее защиту и самоотверженностью своей растопить ее каменное сердце.

Элеонора, полная силы, воскресшая в предвкушении борьбы, знала, зачем с'ехали сюда все эти юноши, и высокомерно повелительно, сверху вниз, взирала на них, смиренно жаждавших ее одной улыбки.

Никогда не была Элеонора так пленительна, так прекрасна и весела, как в тот вечер, никогда сама так полно не осознавала колдовской власти своей над людьми. Щеки и глаза ее разгорелись, лицо сверкало улыбкой, помрачающей умы и сердца. Каждый почел бы за счастье пасть в бою за нее. Хелтубнели любовался гордыми юношами в разноцветных куладжах, их благородным богатым оружием и втайне желал, чтобы дерзкий Аслан-Гирей появился скорее.

— Пусть пожалует обезумевший лезгинский владетель, — он получит достойный ответ!

Сели за ужин. Густым, как смола, алым, как рубин, кахетинским наполнялись до краев турьи роги. Вино окрыляло опаленные любовью сердца, и онемевший язык обретал красноречивость. От вареных горячих лопаток нетелей шел пар, нежно дразнящий ноздри. К столу подавались зажаренные целиком на трезубых вертелах, докрасна зарумяненные бараны. Провозглашались тосты, сопровождаемые застольными песнями, воинственно и мужественно гремели басы, переливались и звенели голоса, — казалось, не только люди, но и самый воздух пьянел, замирая в нежной тревоге, и трепетал, и переливался сладостно-ласковым шорохом. Обрывалась застольная песня, и слуху, привыкшему к песенному гулу, обычная речь казалась шопотом, и

сердца, переполненные радостью песни, замирали в напряженной немоте. И в наступившей тишине звенели только тихие струны чонгури и стонал пронизанный страстью напев: «Стрела печали вонзилась в сердце».

Пиршество длилось до утренней зари, веселье не прекращалось; Элеонора позабыла про сон, неустанно воспламеняя юношей, заставляя их все упорней соревноваться друг с другом.

Вдруг дверь распахнулась, и появился Кречиашвили в дорожном платье, вооруженный с головы до ног. Тамада воскликнул:

— Да здравствует пришедший!

— Да здравствует, да здравствует! — закричали кругом.

Кречиашвили переступил порог и вдруг остановился, прикрыв глаза ладонью, как человек, неожиданно попавший на яркий свет из темноты. Он пошатнулся, сделал усилие удержаться на ногах и прислонился к стене.

Все удивленно смотрели на него, не понимая, что с ним происходит.

Кречиашвили отнял руку от глаз. Лицо его было бледно-смертельной бледностью, дрожащие губы что-то шептали. Стоящий с ним рядом разобрал бы слова: «Как я люблю ее, боже мой, как я люблю ее, боже мой, как я люблю!»

Он поднял голову и взглянул прямо в лицо Элеоноре. Ослепительная улыбка сверкнула ему в глаза. Впервые ему почудилось, что и для него возможно счастье, так как улыбку девушки он принял за знак сочувствия. Он вытер пот со лба, выпрямился и вздохнул.

— Господа, лезгины подходят к дому! — сказал он. — С минуты на минуту они нападут на нас.

Веселое пиршество мгновенно прервалось, все вскочили из-за стола и устремились к дверям.

— Стойте! — раздался властный голос Элеоноры. Какая-то грозная сила звучала в нем.

Все остановились и замерли.

— Юноши! — начала Элеонора. — Каждый из вас поклоняется мне и клянется в любви. Я не знаю, кому верить... Аслан-Гирей оскорбил меня, и тот, кто поднесет мне его голову, будет достоин назваться моим супругом!.. Кто хочет завоевать сердце Элеоноры, кто готов пойти за нее в бой?.. Отважьтесь!

Раздался выстрел, знак появления лезгин и начала битвы. Все выбежали во двор.

При первом же выстреле замкнулись ворота крепости Хелтубнели, и стрелки вышли на террасы башен. Все думали, что о вступлении лезгин возвестят пожары нив и домов, ожидали, что пламя и дым взметнутся к небесам.

Поэтому крайне удивились, увидев, что это отнюдь не беспорядочный набег: стройно и уверенно движущееся войско спустилось в ближайшую ложбину и укрылось в засаде.

Спустя некоторое время от лезгинской дружины отделилось несколько человек, люди направились к крепости. На пути они остановились, подняли белые башлыки и замахали ими в знак того, что хотят вести переговоры.

Из крепости вышел сам Хелтубнели в сопровождении нескольких человек и подошел к лезгинским послам. Все приветствовали друг друга не обычным приветствием, но лишь коротким взмахом руки.

— Хелтубнели! Не надо проливать крови, — начал один из послов, — Аслан-Гирей прислал сказать тебе: «Никогда в жизни, придя вражески, с оружием в руках, не начинал я мирных переговоров, а теперь любовь к дочери твоей заставляет меня изменить этому обычаю».

— Если не хотите борьбы, возвращайтесь к себе с миром! — ответил Хелтубнели.

— Хорошо, но только с одним условием.

— Если угодно, дружину отошлите обратно, а вы и Аслан-Гирей будьте моими гостями... Двери моего дома открыты для вас.

— Хелтубнели, ваше гостеприимство нам известно, но сегодня не следует говорить об этом.

— Тогда чего же вам надо?

— Аслан-Гирей повернет обратно только с одним условием.

— С каким?

— Если ваша дочь сама, по доброй воле, откажется быть его супругой.

— Моя дочь отказывается! — с облегчением воскликнул Хелтубнели, — он рад был избежать пролития крови.

— Хорошо, но мы должны убедиться в этом сами! — ответил лезгин.

Хелтубнели вспыхнул.

— У меня мысль и речь — одно! — сказал он, с трудом сдерживая гнев.

— Еще одно слово!

— Говорите.

— Аслан-Гирей оставит твой дом с миром, но того, кто станет мужем Элеоноры, он будет преследовать без пощады.

— Это его дело! — сказал Хелтубнели и знаком пригласил послов следовать за ним. — Пожалуйте, взгляните собственными глазами и выслушайте собственными ушами.

Хозяин и послы направились в крепость, где, в присутствии всей знати, девушка должна была решить—быть или не быть войне.

11

Внутри крепости находилась площадь, на которой обычно собирались для принятия решений по важным общим делам. Также и на этот раз все дворяне, пребывающие в крепости Хелтубнели, и послы от лезгин собрались на этой площади, где своенравная Элеонора должна была объявить им свою волю. Все взволнованно ждали ее.

Вдруг народ расступился, и появилась Элеонора. На ее побледневшем лице сияла улыбка, губы чуть заметно дрожали.

Все замерли, затихли, как перед бурей. Хелтубнели выступил вперед и взял свою дочь за руку.

— Дочь моя! — сказал он ей, — лезгин Аслан-Гирей явился просить твоей руки. Здесь находятся его послы и ждут твоего ответа... Скажи, любишь ли ты этого лезгина?

Все затаили дыхание.

— Да! — сама удивляясь звуку своего голоса, произнесла Элеонора. Народ ахнул и зашумел.

— Элеонора! — воскликнул изумленный отец, — что ты сказала? Может быть, это слово случайно сорвалось с твоих губ?

— Нет! — ясно и твердо ответила девушка. — Я люблю Аслан-Гирея, люблю всей душой и не считаю нужным это скрывать... Но знайте, — как бы я его ни любила, я никогда не стану его женой, не сделаю его своим господином.

— Вы слышали, господа? — обернулся к послам обрадованный отец.

— Постой, отец! — остановила его Элеонора, — я не кончила говорить.

— Что ты хочешь еще сказать? — с испугом спросил отец.

— Я не пойду замуж ни за Аслан-Гирея, ни за кого другого, если он не докажет мне своей храбростью, что любит меня...

Мне поклоняются многие, помимо Аслан-Гирея, многие ищут моего сочувствия, и среди них, — тут девушка с победоносной улыбкой обвела собравшихся своим завораживающим взглядом, — многие нравятся мне, очень нравятся... Я не хочу оскорблять никого. Кто жаждет моей любви, пусть сразится в единоборстве с Аслан-Гиреем, и тот, кто победит, — клянусь землей и небесами, — только тот станет моим господином и повелителем...

— Что ты сказала? — кинулся к ней отец.

— Не мешай мне, отец!.. Нет в мире силы, которая могла бы поколебать мое решение. Вы согласны с моим условием, послы?

— Да, прекрасная!.. Ради тебя Аслан-Гирей сразится с целым миром.

Элеонора обратилась к юношам:

— Кто хочет стать моим супругом, кто дерзнет испытать свою судьбу? Пусть выступит вперед!..

Из толпы вышли двенадцать юношей, таких статных, что даже врагов ослепила бы их мужественная красота. Кречиашвили стоял в толпе. Он вздрогнул, глаза его засверкали, он шагнул было вслед за юношами, но споткнулся и остался на месте.

Послы поклонились и удалились сообщить Аслан-Гирею об ожидающей его судьбе.

12

Светало. Небесная синева просветлела и первые солнечные лучи затрепетали на ней. Взмахнула крыльями ласточка, взвилась в воздух, ликующим щебетом приветствуя зарю. Ей откликнулись другие певчие птицы, славословя восходящее солнце. Природа встрепенулась, проснулась вся тварь живая. Все сияло счастьем. Все пело: «Мир прекрасен, ликуйте, живые!» Зазвенели струны жизни и тронули сердце Аслан-Гирея.

Вдруг в лезгинском лагере заиграли на ствири, — далеко разнеслась печальная весть. Аслан-Гирей вспомнил, что счастье еще далеко от него, и надо преодолеть еще долгий, трудный путь, пока утолит он на груди Элеоноры жажду своего сердца, пока коснется губами губ своей возлюбленной, пока наступит для него час блаженства.

Еще раз затрепетали в воздухе звуки ствири, и снова вздрогнул Аслан-Гирей. Привычные звуки, не однажды утешавшие его опечаленное сердце, рассеивавшие его тоску, на этот раз прозвучали для него похоронным звоном, — они словно разлучали его с прекрасным миром.

Им овладело непонятное, доселе неведомое ему чувство жалости к самому себе. Он опустился на колени и воздел руки к небу. Скупые слезы упали из его глаз, — только две капли, две слезы! Но, боже мой, какие это были слезы! Человек, никогда раньше ни о чем не просивший, человек с испепеленным сердцем, молил, поддавшись минутной слабости:

— Господи! Дай мне единственный миг счастья, один лишь единственный! — шептал он.

Из крепости донесся звук воинственного рога. Аслан-Гирей вскочил на ноги.

Он выпрямился, потянулся и, охваченный жаждой борьбы, резким движением засучил рукава.

Поступь его была похожа на гордую поступь льва, но ненасытность тигра сверкала в его глазах.

— Пришел час, — посмотрим, кому достанется Элеонора!

Он направился к своему войску.

Ворота крепости открылись, и оттуда стройно выступила дружина Хелтубнели. Впереди шли двенадцать богатырей, подобные соколам, вооруженные с головы до ног. У иных едва пробивался пушок над верхней губой и на лице играла юная жизнь, у иных в сверкающих глазах трепетала радость, — все они отважно ждали своей очереди в бою. Это были самоотверженные служители Элеоноры, те, которые поклялись или завоевать любовь девушки или погибнуть. Выступила дружина лезгина. Оба войска стали поодаль друг от друга. Между ними образовалось подобие арены, и вскоре с двух сторон вылетели на эту арену два сокола, двое юношей с львиной осанкой. Они обежали вокруг арены, измерили друг друга грозным взглядом. Понеслись навстречу друг другу, столкнулись и отпрыгнули, как бы отброшенные встречным огнем своих глаз, сошлись и, занеся кинжалы, замерли в тигровом прыжке.

Элеонора смотрела с башни на это зрелище. Ее глаза горели, на губах блуждала улыбка. В каком-то исступлении ждала она исхода борьбы. В это мгновение она была похожа на тигрицу, ликующую в предвкушении крови.

Вот сверкнули кинжалами, двинулись, пошли, — кто знает чью жизнь срывает смертоносное острие! Лезгин вскинул левую руку, схватил грузина за руку, державшую кинжал, и стремительным движением вонзил в сердце юноши свой кинжал по рукоять.

Грузин пошатнулся и, захрипев, рухнул на землю... Девушка вздохнула с облегчением...

Не успел упасть первый грузин, как его место занял другой и грозно надвинулся на лезгина. Но непобедимый Аслан-Гирей сразил его еще стремительней, чем первого.

Борьба продолжалась, и вот, наконец, погиб последний из двенадцати юношей, давших клятву Элеоноре... Лезгины заливовали, возгордились. Они громко славили своего предводителя.

Хелтубнели стоял убитый горем, — он видел божий гнев в неслыханном бедствии, постигшем его.

Вся краска сошла с лица Элеоноры — сердце девушки было покорено отвагой Аслан-Гирея, но гордость ее не сдавалась, не могла уступить победы лезгину.

Но как же быть?.. Людей знатного рода больше нет, и значит Аслан-Гирей — победитель.

Она огляделась по сторонам и вдруг заметила Кречиашвили, который, схватившись за кинжал и сжав зубы, с ненавистью глядел на победителя-лезгина.

— Кречиашвили! — обратилась к нему Элеонора, — я стану женой того, кто поднесет мне голову Аслан-Гирея.

Кречиашвили взглянул на нее, дрожь прошла по его лицу, — бледный и безмолвный, выбежал он на арену.

Аслан-Гирей ждал новых противников. Он приблизился к Кречиашвили и спросил его:

— А тебе что нужно?

— Хочу отомстить за кровь братьев моих.

— Может-быть, ты хочешь завладеть Элеонорой? — с насмешкой посмотрел на него лезгин.

— И то, и другое! — злобно сказал Кречиашвили.

— Мстить за кровь братьев ты вправе, но Элеонору я тебе не уступлю!

— Посмотрим! — воскликнул Кречиашвили и кинулся к Аслан-Гирею.

Сойдясь, оба схватили друг друга за правые руки, и оба кинжала застыли в воздухе. Долго стояли они так, меряясь силой. У обоих от напряжения исказились лица, вдулись жилы на кистях рук. Смерть сверкала в их гневных взглядах. Нелзья было предрешить, кто останется победителем. Все затаили дыхание, не сводя с них глаз.

Вдруг они сдвинулись с места, Кречиашвили дал подножку лезгину. Тот упал грудью на собственный кинжал и распростерся на земле бездыханный.

Раздались гневные возгласы лезгин, и радостно-облегченно вздохнули грузины.

Лезгины в неистовстве обнажили кинжалы, но были встречены, как подобает. Обратившись в бегство, они скрылись в лесу.

Победоносные грузины с радостными песнями проводили Кречиашвили в крепость.

Все приветствовали его, все восхваляли его победу. Даже скорбь о погибших была забыта в этот час ликования.

Но сам Кречиашвили шел с низко опущенной головой и *лицо его было скорбно. Странное чувство владело им. Его единственной мечтой была Элеонора*, он сегодня достиг недостижимого, и все же сердце его было безрадостно.

Когда вступили в ворота крепости, навстречу вышла Элеонора, бледная, но неизменно прекрасная. Она остановилась перед Кречиашвили и подняла руку.

— Я дала обет богу стать женой того человека, который убьет Аслан-Гирея... Возьми меня!

Кречиашвили взглянул на нее с тоской и снова молча опустил глаза.

Все глядели на него с изумлением. Элеонора вспыхнула.

— Кречиашвили! — воскликнула она, — ты, должно-быть, не расслышал моих слов!..

Он снял шапку, вытер пот со лба и тяжело вздохнул.

— Я все расслышал, но отказываюсь от тебя! — твердо сказал он, выпрямившись и подняв голову.

Наступила напряженная тишина. Кречиашвили обвел всех суровым взглядом, и раздались слова судьи:

— Элеонора! — сказал он, — женщина, которая принесла в жертву своей гордости столько жизней, не достойна стать женой грузина!.. Я несчастен тем, что люблю тебя, знаю, что сам выношу себе приговор, но стать твоим мужем я не могу!

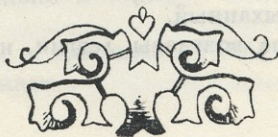
Он спокойно повернулся, народ расступился перед ним.

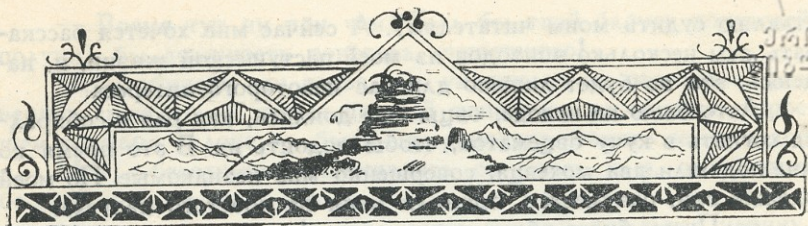
Элеонора устремилась за ним и упала перед ним на колени.

— Прочь!.. Не прикасайся! — с ужасом вскрикнул он и быстро пошел к воротам. Но вдруг остановился, повернулся, взглянул на Элеонору и воскликнул с невыразимой болью:

— Ты отвратительна, — но я все-таки люблю тебя!.. Люблю и не могу жить без тебя!..

Сверкнуло лезвие кинжала и надвое рассекло сердце Кречиашвили.





Пастушеские воспоминания

1



18... году я решил заняться пастушеством. Мне захотелось обойти родные горы и долины, ближе сойтись с народом и самому испытать радости и тревоги, неразлучные с жизнью пастуха.

У меня, человека гор, было небольшое стадо овец. Продав кое-какие земли, я увеличил свою отару, раздобыл себе ружье, в руку взял посох и превратился в пастуха.

Мои начинания были на первых порах жестоко осмеяны. Все говорили, что мне, феодалу, сыну знатного человека, не к лицу пастушество, но я не считался ни с кем, преследуя свои цели, думал только об осуществлении самых заветных своих желаний. Я хотел подойти вплотную к своему народу, узнать его сокровенные чаяния, пожить его жизнью, самому испытать все радости и печали, сопутствующие повседневной жизни труженика, — и разве мог я оставаться дома! Я добился своего, я познакомился и сблизился с теми людьми, которых я так жаждал узнать поближе (насколько мне это удалось, — об этом предо-

ставляю судить моим читателям). А сейчас мне хочется рассказать вам несколько эпизодов из моей пастушеской жизни, и, надеюсь, это не будет лишено для вас некоторого интереса.

Лето было на исходе, овцы еще доились, как раз я собирался согнать в кучу овцематок, чтобы подоить их. В это время ко мне подошли два мохевца, совершенно мне незнакомые. По моей одежде они, разумеется, приняли меня за простого пастуха.

— Пусть будет обильна твоя отара! — приветствовали они меня.

— Да пошлет вам бог радости! — ответил я.

— Это чья отара? — спросили они.

Я назвал свою фамилию.

— Порази меня бог, а ведь метка-то на ушах у овец в самом деле ваша!.. Ни у кого больше нет такой метки! — воскликнул один из пастухов. — А сам ты чей? — спросил он.

— А я из Арахвети, мои милые! — ответил я на мтиулетском наречии. — Сын Якова Бурдулиани.

— В батраках работаешь иди своя доля в отаре? — спросил пастух.

— Своя доля в отаре! — ответил я.

Пастухи помогли мне согнать овец.

— Парень, а как тебя зовут?

— Мамука, мои милые!

— А правда, что ваш барчук сам ходит со стадом?

— Ходит, клянусь именем Ломиси! — ответил я.

— Да неужто, так сам и ходит? — удивились они.

— Да!

— Удивительно, ей-богу!

— А почему же? — спросил я, с волнением ожидая ответа.

— А как же не удивляться! Сын равного царю человека и пошел овец пасти!.. А-тьюю!.. — махнул он рукой.

— А что в этом плохого? Есть у него отара, он сам и пасет ее!

— Что плохого, говоришь!.. Сын владельца Хеви и вдруг стал простым пастухом! — укоризненно сказал он.

— Деды его и прадеды тоже имели свои стада, но сами их не пасли, ей-ей!.. — добавил другой.

— Да, как же, стали бы они пастухами!.. Люди чиновные, все в орденах ходили!..

— Тогда одно было время, теперь другое! — попытался я оправдаться.

— Время тут ни при чем! Был бы твой барчук попутевей, получил бы должность пристава квешетского!

Меня обидели эти слова, и я уклонился от разговора; развернул свою отару, чтобы дать ей попастьись на обильно поросшем кормами склоне, — было еще рановато сгонять ее на подой.

Мои собеседники попрощались со мною, и я, огорченный беседой, ушел в свои мысли.

Надвинулся туман и стал сеять мелкий дождь; я накинул на плечи бурку, надел на голову башлык и, зайдя спереди отары, остановил далеко забежавших овец, — мне хотелось, чтоб стадо медленней двигалось по пастбищу и усердней пощипывало траву.

Вдруг я увидел двух человек в штатской одежде, идущих по направлению ко мне. Я с удивлением стал всматриваться. Если они проезжие, — так ведь дорога лежит по ту сторону горы, им незачем переходить на эту сторону.

Они приближались, высоко подняв палки, так как моя овчарка Басара с лаем бросилась на них. Я покликнул собаку; она покорно вернулась, помахая хвостом. Незнакомые, улыбаясь, заговорили со мной на ломаном русском языке:

— Собак, собак... Нет кусай?..

— Нет кусай, — успокоил я их.

— Баран, баран... — начал один из них, но не закончил фразы и, видимо, не умея говорить по-русски, обратился к другому на французском языке: — Как спросить его, куда они сбывают шерсть?

— Я сам не знаю, — по-французски же ответил тот.

Они стали беседовать между собой о хозяйстве, о шерсти, высказывая удивление, как нам удастся размещать в горах такие большие отары. Все же они непременно желали узнать, куда мы сбываем шерсть и сколько пудов ее можно собрать в горах.

Я хорошо говорил по-французски и, не удержавшись, вступил в беседу.

— В горах много овечьих стад, население почти исключительно живет скотоводством, а шерсть закупают у нас здесь на месте армянские купцы, — сказал я.

Представьте себе удивление иностранцев, когда в глухих, далеких горах, где, по их представлению, живут одни полудикие варвары, не умеющие даже считать свыше тысячи, простой пастух, простой человек гор вдруг заговорил с ними на французском языке.

— Как! Вы говорите по-французски?! — изумленно воскликнули оба.

— Да, немного!

— Но как же так? А где научились?.. Нет, это просто невероятно!

Мне захотелось подшутить над ними.

— У нас почти все пастухи говорят по-французски... — ответил я. — Я долго батраком служил в чужих краях и потому немного позабыл, а тут есть такие, которых невозможно отличить от французов.

— Что вы говорите?! Вот поразительная история! — изумлялись иностранцы. — А мы-то считаем их варварами!

Проговорив довольно долго и наскучив мне своей болтовней, они попросили меня спуститься вечером на станцию Казбек, где собирались заночевать, и рассказать им о жизни нашего народа, о его нравах и обычаях.

— Ты знаешь о существовании Англии и Франции? — спросили они.

— Знаю! — кивнул я головой.

— Он — француз, а я — англичанин, — сказал один из них. — Все, что ты расскажешь, мы опишем в книгах, и эти книги прочтут все люди в наших странах. Приходи вечером обязательно. Мы дадим тебе за это денег, — добавил он.

— Спасибо, приду обязательно! — ответил я.

Француз опустил руку в карман, достал оттуда один рубль и протянул мне.

— Вот тебе задаток до вечера, а вечером еще получишь.

— Спасибо, — ответил я, смутившись, — вечером приду, тогда дадите.

— Возьми, не стесняйся, — подбодрил меня другой.

— Нет, вечером, господин!

— Хорошо, тогда вечером получишь! — Они попрощались со мной. Я повернул отару и медленно погнал ее к нашему селу.

Вечером явился мне на смену мой товарищ пастух, вернувшийся с гор, куда он относил соль для неудойного овечьего стада. Следом за ним бежал парень, который каждую ночь приходил нам на подмогу.

— Мир пришедшим! — воскликнул я.

— Мир тебе! — ответили они.

— Как отара в горах?

— Что ей сделается?.. Ягнят пастухи каждый день выгоняют к ледникам, они там так резвятся, что смотреть радостно на них... Здорово поправляются...

— Корм каков?

— Уф! — с восторгом воскликнул пастух. — И не спрашивай, — овцы округлились, совсем как огурчики стали... Знаешь, барыня просила тебе передать, чтобы ты домой поднялся. Гости, говорит, приехали, — добавил он.

— Кто такие? — спросил я.

— Мне откуда знать? Из города, говорят, приехали, офицеры какие-то.

— И женщины есть?

— Есть!

— Ладно. Тогда пойду. Надеюсь на вас, хорошенько следите за стадом, чтобы в пропасть не свалилось.

— Будь покоен, ничего со стадом не случится, присмотрим.

Я попрощался с ними, потрепал по спине верного своего пса, который даже под хозяйской лаской ни на мгновение не оторвал глаз от стада, и направился домой.

Был прекрасный лунный вечер, все вышли в сад при доме и угощались чаем. По оживленной беседе и смеху я понял, что гости были приятные и, подойдя поближе, узнал среди них одного своего близкого родственника. Мне захотелось поскорее подойти к ним, так как старик-родственник, с которым мы давно не видались, был близким приятелем моего отца. Я собирался переодеться, но гости уже заметили меня и стали звать к столу. Я извинился и подошел, — смешно было стыдиться пастушеской одежды перед своими людьми. Но представьте себе мое изумление, когда старик-родственник встретил меня такими словами:

— Ну-ну! Взгляните-ка на этого сына владельца гор!

Моя протянутая рука повисла в воздухе, я в замешательстве смотрел на старца. А молодежь, моя родня, сбилась в кучу в уголке сада и от души смеялась надо мною.

— И не стыдно тебе? Совести нет у тебя?.. — раздраженно спрашивал старик.

— Почему вы меня браните, сударь? Разве я в чем-нибудь провинился? — пролепетал я, наконец.

— Ты еще спрашиваешь?.. Ну, послушай, разве отец растил тебя пастухом? Ради этого истратил на тебя больше золота, чем весишь ты сам? Если уж так хотелось тебе сделаться пастухом, грешный ты человек, зачем тебе понадобилось уезжать в Россию,



для чего ты деньги тратил? Поступил бы в обучение к моему «саркалю», и тот отлично бы выучил тебя этому искусству!

— Мой отец жил так, как ему нравилось, и я хочу жить так, как нравится мне самому! — ответил я с обидой в голосе и почувствовал, что краснею.

— Он пошел в народ, князь, захотел сблизиться с простыми людьми! — насмешливо улыбнулся юный офицер.

— Вас не касается, куда я пошел и с кем захотел сблизиться, — оборвал я его. — Но должен сознаться, что предпочитаю занятие пастуха вашей пустой болтовне, это дело, по крайней мере, полезнее!

Я повернулся и, пока шел по саду, слышал за спиной сердитые возгласы старца и смех молодежи.

— Сближение с народом, хождение в народ, что это значит? — кричал старик. — Лучше признаемся самим себе, что нынешняя молодежь никчемна, ни на что она не годится, ничем не может заняться.

— Отчего вы так изволите говорить? — тараторил офицер, — нельзя по одному судить обо всех... Наш родственник как раз потому и пошел в пастухи, что хочет отличиться; не все ведь такие.

— Да, что и говорить, прославленное занятие, где же еще и отличиться?.. — расслышал я последние слова старика и скрылся в комнату.

И оскорбления летели со всех сторон на мою голову. Одни презирали меня за то, что я не шел по проторенной дорожке, не заботился лишь о «чинах и продвижении по службе», другие ненавидели меня за то, что вместо пустой болтовни я смело взялся за трудное дело, и, наконец, третьи — те, к кому я стремился всей душой, чуждались меня, им нелегко было поверить, что человек, которому разрешено их грабить, искренно хочет работать вместе с ними, стать их братом!

Таков был мой дебют в той профессии, которой я отдал семь лет своей жизни. Я расскажу вам кое-что из пережитого мною за это время.

2

Наступила осень. Пастухи знали, что я все лето провел в горах, не отходя от стада, видели, что я жил на воле, вне дома, и не растаял, как сахар, чего ожидали многие, не скучал и не болел ни разу, хотя немало бурь и дождей шумело над моей го-

ловой. Все постепенно уверились, что я пастушествоую с истинным рвением и не отступлюсь от любимого дела. За это время я подружился с несколькими пастухами и особенно с жителем села Степанцминды Симоном Гигаури, который с первой же встречи поразил меня своей сообразительностью, своим проницательным умом.

В Симоне сочетались все превосходные душевные качества горских пастухов. Ловкий, разумный и справедливый, он не способен был малую мошку обидеть; но всякая несправедливость глубоко возмущала его сердце, и он не щадил своих сил, чтобы отомстить за нее.

Все любили красивого, статного, правдивого юного Симона, все хотели войти с ним в товарищество. Вскоре стал он и для меня дороже других; на опытность его и умение ухаживать за стадом указывали во всем Хеви, как на пример, достойный подражания.

Итак, настала осень, а я все еще не мог найти себе никого в товарищи. Очевидно, мне не доверяли. Тогда я решил отправиться в Чечню один со своими чабанами. Там зимою паслись наши овечьи стада.

Однажды вечером мы согнали овец на ночную стоянку и только-что уселись вокруг разведенного костра, как овчарка наша с лаем сорвалась с места и понеслась к откосу; один из пастухов вскочил и побежал за нею, чтобы отогнать ее от подхитившего к нам человека.

— Добрый вечер! — приветствовал нас подошедший.

Пастухи, по обычаю, повскакали с мест и стоя ответили на приветствие:

— Да будет мирен твой приход, Симон!

Я пригласил прославленного в горах пастуха сесть рядом со мною. Все снова уселись и принялись за еду.

— Я к тебе! — обратился ко мне Симон, когда все мы немного подкрепились.

— Какое дело?

— Хотим войти к тебе в товарищество!

Я удивился. До сих пор мне никак не удавалось найти себе товарища.

— Согласен, с радостью! — ответил я. — Но почему вы так запоздали, не известили меня раньше, ведь знали же, что я сам ишу товарища?

— Знать-то знали! Да только не верилось нам, что ты

серьезно взялся за дело!.. Я и раньше собирался к тебе прийти, но товарищи были против, а изменить им я никак не мог.

— Вот ты говоришь, что не мог изменить товарищам, а сам наговариваешь мне на них! А что, если я затаю в сердце своем вражду против них?

— Ну!.. Ты теперь сам товарищ наш и от тебя таиться грех перед богом и людьми... Товарищ должен знать все, все, клянусь благодатью цверского ангела-хранителя войск!

— А почему тебе захотелось сдружиться со мной?

— Почему?.. А потому, что ты грамотный!

— И еще почему?

— А еще потому, что казаки — каверзный народ, а такой, как ты, сумеет справиться с ними.

— Очень вас они притесняют?

— Очень, клянусь святым Георгием!.. Разве не знаешь сам, как они ко всему придираются. Не могут жить без этого, как рыба без воды.

На этом мы прервали нашу беседу, разостлали бурки поодадь от сбившейся отары и улеглись спать.

Только три сторожа-чабана не спали. Они всю ночь ходили вокруг отары, караулили, чтобы какая-нибудь овца не отбилась и не ушла.

Но вот забрезжило утро, потом солнце поднялось из-за горы и залило золотом всю окрестность.

Живительная ночная роса омыла бархатистую траву, и нежно заиграли краски цветов, словно желая усладить взоры солнца своей переливчатой прелестью.

Пастухи встали от сна, умылись и, со страхом думая о предстоящем пути, твердили вошедшие в обиход слова: «Боже, спаси нас от бесчинств казаков!»

Выгнали отару на корм. Я и Симон остались на становище, чтобы переговорить о том, когда нам слить наши стада, а также обо всех подробностях перехода в Чечню.

— Ты будешь у нас главным пастухом, — сказал Симон.

Я стал отказываться, не надеясь на свою опытность, говорил, что не знаю всех обычаев и правил пастухов, но Симон упорно настаивал на своем.

— Почему ты требуешь, чтобы я стал главным пастухом, когда есть гораздо более опытные люди?

— Потому что ты всюду вхож, — ответил он, — если понадобится, ты сумеешь постоять за себя, не то, что мы, горемыч-

ные... Тебе еще, может-быть, и удастся отбиться от казаков, а нам и думать нечего!..

Как видите, всем было известно, сколько притеснений приходится терпеть пастухам от казаков, которыми заселили эти места ради водворения мира.

— С тобой нас ни старшина, ни пристав не обидят, — добавил Симон, помолчав.

— Разве они тоже притесняют вас?

— Бог их знает!.. Пока добьешься от них билета, всю душу вымотают! — воскликнул он с досадой, — без билета пускаться в Чечню нельзя, а разрешение дает пристав, а пристав требует свидетельства от старшины...

— Ну, и что за беда? Ведь это один раз в год приходится делать!

— Раз в год! Но зато уж и трудно это!..

— А почему?

— Вот почему, — улыбнулся он: — сначала требуется один общий билет на всю отару со всеми пастухами, потом еще по одному на каждых трех человек.

— А это зачем?

— Одних посылают за пищей, другим бывает нужно наведаться домой. Надо еще брать такой билет и для крупного рогатого скота отдельно... Словом, бог знает, сколько возни. Не приведи бог с ними связаться! Ничего, — поживешь нашей жизнью и узнаешь, как трудно приходится пастухам.

— Тебя самого, верно, обидели, потому ты так и говоришь, — сказал я.

— То-то и есть, что обидели! — начал Симон. — В прошлом году у меня в Ясиноватой стояла отара, а я должен был вернуться домой. Умерла у меня жена, надо было похоронить ее... Около середины зимы пришел ко мне человек и сообщил, что овечьи хлевы у нас погорели. Плохо мне пришлось, врагу не пожелаю. Я побежал к старшине за билетом. Тот отослал меня к приставу, а пристав живет в Квешети. Отсюда до Квешети верст шестьдесят будет. Туда и обратно — сто двадцать верст. Шутка сказать, пройти зимою такое расстояние, да еще по горам... Как быть? Попросил у старшины справку. До тех пор не давал, пока не выманил у меня пяти рублей за печать. Пошел я, благополучно, благодарение богу, перевалил горы, а пристав, оказывается, уехал по своим делам в Тбилиси. Есаулы сказали, что раньше месяца не вернется. Что мне было делать? Сердце кровью обливалось; все мое добро составляли овцы, хлевы сгорели, и я

не знал в точности, все ли стадо сгорело или нет... Погоревал, погоревал и пошел обратно. В пути застигла меня вьюга, чуть снегом не занесло... Дома не мог оставаться. Решил итти без билета. Думал, — расскажу о своем горе, пожалеют, пропустят... Но у Дарьяла перехватили меня казаки. Билета у меня не было. Они задержали меня, связали мне руки и повели в Дзауг. Две недели держали в тюрьме. Потом отправили этапом в Душет. Две недели шли. А сердце горем обливалось!.. И там неделю подержали, потом отпустили... Слава богу, что стадо не погибло, — но с каким сердцем после этого могу я относиться к ним?

Слушая его рассказ, я с грустью думал о нынешнем недостойном времени, когда честному труженику неоткуда ждать себе помощи. Я горевал о судьбе народа, которым безответственные правители распоряжаются по собственному произволу, устанавливая для него свои законы и порядки, требуя от него непосильной дани.

3

Прошло некоторое время. Я подготовил пропускные билеты, и все мы, входящие в одно товарищество, собрались на покосном поле Шавхалиани за Терекон, как раз против Степанцминды. Мы перемещали наши стада и, предполагая на другой день двинуться в путь, собрали приношения и устроили прощальный пир.

Все молились, прощались с собравшимися друзьями и родственниками и вели себя так, словно уходили на войну или готовились к большим испытаниям. Поля ногайцев и чеченцев действительно находятся довольно далеко от нас, но ведь и там живет мирное население! Чего же тогда так боялись эти трудовые люди, которые шли на такое мирное занятие, как уход за скотиной, прокорм ее?.. Я был неопытен, и все это казалось мне удивительным, так как я не мог себе представить, сколько бедствий и огорчений ожидает нас в пути.

На этом пиру пастухи в один голос решили, что в пути и на стоянках я буду у них главным распорядителем, а Симона, по моей просьбе, дали мне в помощники. Во время пира мне слали чашу за чашей, говорили тосты в стихах, в которых называли меня надеждой и опорой своей.

Солнце уже склонилось к западу, когда мы кончили наше пиршество, и я приступил к исполнению своих обязанностей. Столько говорилось о трудностях, о грабежах и неизбежных

стычках, что я все свое внимание сосредоточил в первую очередь на оружии. Я собрал пастухов и, проверив у всех оружие, остался очень доволен. Ружья и пистолеты у всех были начищены, курки в порядке, кремни новые, кинжалы отточенные, пороха и запалов в изобилии. Словом, они были готовы в такой степени, что хоть тут же выводи их в бой.

В ту ночь стада оставались на месте, а на другой день на рассвете должны были тронуться через казачью станицу Махачюрт в Брагун, где мы арендовали земли на зимние пастбища.

Я и Симон ушли в наше село уладить оставшиеся дела, попрощаться с домашними.

— Очень мы готовимся, Симон, уж не знаю к чему? — сказал я.

— Готовиться надо заранее, когда беда придет, тогда уж поздно будет, — спокойно ответил он.

— Ты так говоришь, словно мы в поход выступаем? — улыбнулся я, желая вызвать его на разговор и узнать, что же все-таки ждет нас в пути.

— Какая разница, милый, в поход идти или стадо вести, — нигде без оружия не обойтись.

— Как так?

— Все преследуют стадо. И зверь, и человек, и погода, все — враги скота, все хотят урвать от стада, — сказал он, — вот почему пастух — несчастный человек. От любого занятия можно отдохнуть, а от отары ни на минуту не отойдешь... От непогоды каждый укроется, а пастух — хоть умри со стадом... И ночью надо бодрствовать одним глазом, следить, как бы отара не перепугалась, зверь бы на нее не напал или вор к ней не подкрался... Пастуху нет отдыха ни днем, ни ночью!

И в самом деле, читатель, представьте себе пастуха под открытым небом в темную, холодную ночь: дождь льет, как из ведра, холод пронизывает до мозга костей, ветер колет иглами, а он только плотней запахивается в бурку, — нельзя оставить баранта, нельзя оторвать ее от корма, и надо постоянно быть на-чеку.

Помняв бога и хевских святых, мы вышли в путь.

Наше общее стадо мы разбили на пять отар. Головную отару сопровождал Симон, а сам я шел за последней. Симон значаще противился этому, но я решил, что так мне будет удобнее следить за всем стадом, и я настоял на своем.

Баранта растянулась по узкому, извилистому ущелью, похожая на длинную подвижную гортань. Медленно, осторожно дви-

гаясь, она приблизилась к Дарьялу. Вдруг передние остановились и зашумели. Ко мне подбежал пастух и сообщил, что казаки не пропускают стадо. В целях ограждения спокойствия Дарьяла охрана имеет право проверять билеты у прохожих и проезжих.

Я подошел к охране узнать, в чем дело. Оказывается, казаки задержали передние партии баранты и загнали их в плетеный грязный загон. Чистая, мытая баранта стояла по колена в жидкой грязи. К тому же еще баранов-самцов перемешали с овцематками, они случались тут же, и, конечно, ягнята теперь народятся раньше, чем успеет пробиться молодая трава, и значит у матерей не хватит молока, и молодняк или погибнет, или вырастет слабым, хилым и шерсть у него будет плохая. А у овец от грязи заболят ноги, они не смогут ходить на корм, разрывать копытами снег и искать траву под ним. От этого они ослабеют и, если даже переживут зиму, все равно будут слабосильными и не дадут приплода.

Казаки, конечно, ничего этого не могли понять, и это не удивительно. Меня только поразила полная разнузданность и неразбериха в их действиях.

Меня окружили пастухи, свои и чужие, и стали умолять их спасти.

— Почему вас задержали? — спросил я их.

— Придрались к нам, требуют пятьдесят рублей, — тогда мол, пропустим. Мы десять предлагали, — не согласны.

— Что вы, зачем давать им деньги? — сказал я. — Кто у вас старший? — обратился я к одному из стоявших тут же казаков.

— А тебе для чего? — ответил тот. — Ты наш начальник, что ли?

— Ты потом узнаешь, кто я! — сказал я сердито. — Кто старший над вами? — повторил я свой вопрос.

— Я старший! Говори, что тебе надо!

— Почему стадо задержали?

— На то наша воля. Задержали, и все тут!

— Ты понимаешь, какой убыток наносишь пастухам?

— Пусть хоть совсем пропадают, — мне-то что?

Я убедился, что разговаривать с ним по-человечески невозможно, да и подозрительно мне показалось, что у «старшего» нет никаких знаков отличия.

Я направился к их казарме. В дверях передо мной вырос другой казак.

— Куда? — остановил он меня.

— Хочу видеть вашего командира.

— Он кутит, ему не до тебя.

— Ступай, скажи, что хочу его видеть. — Я назвал себя.

— Мы у тебя под командой, что ли? — засмеялся казак.

Я с трудом сдерживал гнев. Блюститель порядка кутит, а когда человек требует справедливости и человеческого обращения, его поднимают насмех... К счастью, я хорошо говорил по-русски, с незнающим русского языка они обошлись бы еще грубей.

Я повернулся, кликнул ребят, велел им выпустить стадо и продолжать путь.

Как только бедняги услышали мое распоряжение, они, дай бог жизни, со всех ног кинулись исполнять его. Начисто снесли плетень и принялись выгонять стадо, которое весело бросилось на дорогу из грязной закуты.

Казак подскочил к одному пастуху и стегнул его нагайкой. Тот вспыхнул, схватил казака, стащил с забора, на который тот вскочил, и принялся избивать. Я с трудом вырвал у него несчастливого. На крик избиваемого выскочили другие казаки и набросились на пастухов. Их было человек пятнадцать, а пастухов, отборных молодцов, восемнадцать человек, и потому казаки скоро сдались и запросили пощады. Их командир, некий Белогоров или Белогорский, хорошо не помню его фамилии, выскочил пьяный в одном нижнем белье и грозно крикнул: «К оружию!» Однако, увидев своих казаков в плачевном положении, вернулся в поместье, облачился в черкеску, не забыл даже саблю привесить, и почтительно вышел ко мне с просьбой простить его подчиненных за бесчинства, совершенные ими.

Мне удалось успокоить своих людей и, к удовольствию пастухов, мы благополучно двинулись дальше.

4

Не успели мы опомниться от приключения у Дарьяла и пройти около девяти верст, как ларские стражники преградили нам путь и стали требовать себе по барану с отары. — на каком основании, по какому праву, — никто этого не мог нам объяснить. Мы, конечно, на это не шли, и драка была бы неизбежна, если бы не случился тут же ларский акцизный, который объяснил сотнику, кто я такой, и нас оставили в покое.

Пастухи были очень довольны.



Через некоторое время мы подошли к реке Чалхи, на берегу которой наши «квартирьеры» развели костры и варили для нас ужин. Здесь была намечена остановка на ночь. Мы раскинули стадо пастись. Целый день баранта шла не кормленная, так как трава по дороге вся была выщипана проходившим до нас стадом, надо было подкормить ее хорошенько.

— Здесь нужна большая осторожность! — сказал Симон, подойдя ко мне.

— А что такое? — спросил я.

— Волки водятся, да и осетины здесь не лучше казаков! Приходят на стоянку с водкой, будто бы угощают нас, а сами только и глядят, как бы половчей урвать барана.

— Ну, они этого не посмеют!

— Тебя, может быть, постесняются, ты сын знатного человека, а с нами они не считаются! — и Симон, отойдя, швырнул камнем в отставшую овцу, жадно впившуюся в землю.

— Проклятая, землю жрет, верно, соли захотелось!

Я подошел к стоянке и, должен признаться, удивился выбору места: оно походило на укрепленную оборону, с высоты его просматривалась вся окрестность. Подошел пастух и по-товарищески, без всяких церемоний, доложил мне, как главному пастуху, о положении дел.

Я не мог не отметить про себя, что место выбрано отличное — и вода, и поляна.

— Все хорошо, только лес далеко! — заметил я.

— А так лучше. Если волк или вор утащит овцу, ему некуда будет сразу же скрыться от нас. — Это был ответ знатока своего дела. Я согласился с пастухом, и мы вместе пошли на стоянку.

Подошли к кострам. Я заметил, что людей вокруг них собралось гораздо больше, чем было у нас.

— Как много народу! — сказал я.

— А это «гости» наши, осетины. Узнали, что вы здесь, и ни за что не отстанут, пока не дадите им чего-нибудь!

Когда я подошел, гости окружили меня с приветствиями, превозносили «Глаха», так звали моего отца, и в заключение стали клясться, что каждый раз, как его стадо проходило по этой дороге, они неизменно получали в подарок одну овцу на убой. Какой-то осетин даже принялся описывать подаренного ему однажды моим отцом барана, который будто бы был величиной если не со слона, то, во всяком случае, с буйвола; «соседи» все-таки сумели поднести нам бутылку водки, сами же распили ее с нами

и пели, и докучали нам до тех пор, пока я не распорядился передать им в подарок годовалого барана.

И только после этого мне с трудом удалось спровадить гостей. Они просили разрешения покараулить ночью наше стадо, но мои пастухи так сумрачно поглядывали на них, что я не посмел удовлетворить их просьбу. После их ухода подошли сторожевые пастухи, забрали с собой ужин и отправились с собаками к стадам на всю ночь.

Мы, оставшиеся, сели ужинать и с удовольствием утоляли голод теплыми кукурузными лепешками и вареным мясом. Ужин прошел весело, мы шутили и перекидывались наспех сочиненными стихами. С радостью глядел я на этих жизнерадостных и беспечных людей, настолько закаленных суровой борьбой, что они как-будто вовсе не чувствовали усталости.

Мы поговорили, покурили из наших трубок с длинными чубуками и, прихватив бурки, разошлись на ночлег вокруг стада. Луна зашла, и в черной пропасти неба еще ярче засияли звезды, проливая успокаивающий свет. Горы, раскрыв свои пасти, беззвучно пропускали через ущелья одиноких прохожих. Ночью они казались еще огромнее и терялись во мраке. Шум далекого Терека доносился, как тихая, ласковая колыбельная песня. Зверь не выходил на скотину, и псы спокойно, без лая, обегали стада.

Этой тихой, прекрасной ночью, когда в воздухе носился запах сена, смешанный с ароматом цветов, какое-то тревожно-осторженное чувство овладевало душой человека.

Дышалось легко, и жизнь ощущалась, как некая манящая, ласково-сладостная сила. Такою казалась мне эта ночь, и такую, наверное, была она и для всех.

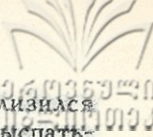
Сон бежал от меня, и мысли мои носились бог знает где, воображение разыгралось...

Наконец, веки мои сомкнулись, я забылся, и вдруг услышал беспокойный собачий лай, звуки выстрелов и крики пастухов.

Я вскочил. Пастухи все были на ногах. Они гнались за перепуганным стадом; не разбираясь в пути, безудержно неслись овцы в разные стороны.

А у самого костра окруженный собаками метался волк. Наконец, он свалился, и свора растерзала его.

С трудом удалось пастухам подчинить своей воле отары овец. Испугавшись, они обычно разбегаются, куда попало, и бегут до тех пор, пока не наткнутся на какое-нибудь препятствие или не задохнутся от бега и не падут.



Наконец, мы водворили баранту на прежнее место. Ближе к рассвету, и я понял, что в эту ночь нам так и не удастся выспаться и отдохнуть.

5

С рассветом воздух огласился свистом и переключкой пастухов. Отары подняли со стоянки и пустили в путь. Близ селения Балта нас остановили у заставы и потребовали денег за прокорм овец. Это требование показалось нам несправедливым, так как мы все время гнали отары по склонам и мало шли по шоссе. Но стражники стояли на своем и не пропускали нас.

Мы вынуждены были уступить и предъявили им наши билеты, в которых обычно бывает обозначено число овец и тягловой скотины. Они не поверили документам и пожелали пересчитать овец.

Представьте себе, сколько времени могло это длиться, если в стаде было более восьми тысяч голов, и какой убыток наносился нам!

Я пошел к начальнику заставы, но все мои уговоры не привели ни к чему. Он упрямо стоял на своем и только твердил: «Должен пересчитать!» — словно забыл все другие слова.

Баранта сбилась в кучу на дороге. Сверху и снизу под'езжали арбы, фургоны, тройки, подходили верблюды, и создавалась невообразимая толчея. Все кричали, бранились, лезли в драку, дорога была закупорена.

Я решил, что надо гнать стадо обратно на ближайший дуг, и там ждать, пока я вернусь из Владикавказа, который находился в 12 верстах от Балты, и куда я решил съездить к хорошо мне знакомому г. Делакруа, чтобы сообщить ему об этих беспорядках на дороге, находящейся в его ведении.

Я вышел из комнаты начальника заставы, чтобы привести в исполнение свое намерение. Ко мне подошел один из служащих на заставе стражников.

— Напрасно вы беспокоитесь! — начал он.

— Как это напрасно?.. — удивился я и сердито добавил: — Мы не ходили по вашим дорогам, ничего на них не портили, а вы незаконно требуете от нас денег, и, мало того, вы еще смеете сомневаться в бумагах, заверенных приставом и с государственной печатью, и собираетесь, нанося нам убыток, сами пересчитать стадо!..

— На все это у нас есть закон, так нам приказывает начальство.

— Я не верю, чтобы начальство приказывало мучить людей и поступать явно во вред населению!

— И все-таки, уверяю вас, напрасно вы сердитесь!.. — успокаивал меня мой собеседник, по всем признакам кантонист, зачисленный писарем на военную службу.

Какая-то особая печать лежит на этих людях, и их всегда можно отличить от тысячи других. Бледный, аккуратно одетый, в сдвинутой на бок шапке, из-под которой выбиваются смазанные свиным жиром волосы, намыленные, закрученные кверху усы, выражение лица покорно-хитрое; всегда старается вкрадчиво-любезным словечком смягчить разговор, а если такое словечко не подворачивается, он тут же сочинит его, не считаясь со смыслом, с тем, к месту оно или нет. Словом, мой собеседник принадлежал к разряду людей, чьи уговоры еще больше раздражают собеседника.

— Почему же это я сержусь напрасно? — резко спросил я.

— Подарите трех-четырёх ягнят, и вас пропустят! — пояснил он.

— И трех грошей не дам! — возмутился я.

— Как вам угодно, но так было бы лучше! — Открыв картонный портсигар, он предложил мне папиросу. — Угощайтесь!

— Благодарю вас! — сказал я, позвал пастуха и велел подать мне коня.

— Значит, все-таки едете? — опять спросил он.

— Да, прямо к г. Делакруа. Я расскажу ему о ваших порядках.

— А я думаю, что... — начал он.

— Ничего вы не можете думать! — прервал я его, выйдя из терпения.

Подвели лошадь, и едва я занес ногу в стремя, как солдат опять подошел ко мне.

— Дали бы хоть двух баранов!.. Я бы попросил, чтобы вас пропустили.

«Слыхано ли это?! Какой-то проходимец будет просить другого проходимца, чтобы честного труженика, идущего по своим делам и имеющего на руках все нужные бумаги, пропустили на государственной дороге! Боже мой! Где я и что тут происходит?» — думал я.

— Давай, уступим им и двинемся дальше, — посоветовал Симон.

— Никогда! — ответил я. — Надо же хоть раз проучить этих грабителей!

— Проучим ли мы их?

— А как же, они получают выговор.

— Не вечно же начальником заставы будет этот толстопузый. Еще раньше, чем мы будем возвращаться, могут назначить другого, и тот будет также грабить.

— Знаешь, если тебя послушать, так выйдет, что мир населен одними разбойниками! — раздраженно воскликнул я.

— Не одними разбойниками, а все же несправедливостей в нем достаточно... Однако, знаешь, что я хочу тебе сказать? Если ты стоишь на своем, давай перейдем реку повыше и совсем мишем дорогу.

— Пустое ты говоришь! — вмешался в разговор пастух. — В прошлом году мы также вот верхами шли, через Джарнах прошли, до самого Дзауга в глаза не видали государственной дороги, и все-таки казаки нас догнали и потребовали с нас вдвое больше.

— Как? Вы вовсе не шли по государственной дороге и с вас все-таки взыскали деньги?.. — спросил я пораженный.

— Клянусь, что так! — подтвердил пастух.

Я уже готов был принять предложение Симона, чтобы самому убедиться в существовании такого разнузданного взяточничества, но, к сожалению, мост, которым пользовались без пошлины, оказался разрушенным инженерами, а вода в реке была высока, и я утвердился в решении ехать во Владикавказ. В это время к Балте с грохотом подехал экипаж, и из него выскочил сам г. Делакура.

Я объяснил ему все, рассказал про наши беды, и он сделал строгий выговор начальнику заставы.

— Милостивый государь, вы должны уметь разбираться в людях, не все ведь одинаковые! — добавил он, между прочим.

Я просил не исключения для себя, а справедливости для всех, и потому, не выдержав, сказал:

— Господин полковник! Я прошу не снисхождения к себе, а законных действий!

— Странный вы человек! — усмехнулся он. — Не можем же мы поступать одинаково с вами и с какими-то там мужиками!

— Я полагаю, что закон для всех должен быть одинаков, исключения здесь неуместны.

— Сколько ни говорите, никогда этого не будет! — покачал он головой.

Мы еще долго беседовали, и кончилось тем, что с нас все не взяли положенного налога, как ни старался я соблазнить общий для всех порядок.

Миновав эти места, мы подошли к пригородным лугам Дзауга. Тут нам предстояло вести переговоры с арендаторами пригородных пастбищ.

6

Перед нами раскинулось широкое Пургузское поле, в самом дальнем конце которого стоял густой облачный дым. То была дымка над Дзаугом, переименованным русскими во Владикавказ.

Баранта, измученная двухдневным переходом и изголодавшаяся, прильнула к жирным кормам. Пастухи тоже вздохнули свободней, так как за Дзаугом легче было отражать беды, всюду гнавшиеся за нами. Тут все зависело только от храбрости этих молодцов.

Мы стояли на широком поле, по одну сторону которого протекал Терек. Стремительный и пенистый у своего истока, он, спустившись в равнину, разливается вширь и с тихим рокотом катит свои мощные волны. Сама эта местность подсказывает человеку, как ему надлежит поступать.

Из Владикавказа к нам навстречу выехало несколько всадников.

— Чьи стада? — спросили они.

— Наши! — ответил один из пастухов.

— Кто старший над вами?

Тот указал на меня.

Всадники подехали ко мне, объявили мне, что в сутки мы должны уплачивать за корм по одной копейке с овцы, и спросили, когда мы собираемся сняться с этих мест.

У нас было решено держать отары на этом поле три дня, так как нам предстояло в дальнейшем восемь месяцев скитаться по долинам и лугам и следовало закупить в городе кое-какие необходимые вещи, как, например, кожу на чуяки, рубахи, а также продать там холощенных баранов. Всадники протянули мне какую-то бумагу и сказали, что в ней обозначен день нашего прибытия.

Я взял бумагу и с изумлением прочитал в ней, что мы прибыли первого сентября, тогда как на самом деле это было шестого сентября.

— Вы, вероятно, ошиблись, — сказал я, возвращая бумагу, — сегодня шестое сентября, а в бумаге сказано первое.

— А ну-ка, покажи, — сказал один из всадников, соско-

чил с коня и, наклонившись к самому моему уху, шепнул:
Молчи, получишь десятку!

Я сперва удивился, не понял, за какие услуги он мне сулит десятку, но тут же сообразил, что это одна из форм бесчеловечного ограбления бедных пастухов. Дело в том, что, отправляясь на зимние пастбища, пастухи, обычно не знающие русского языка, нанимают себе переводчика, который сопровождает их в пути. Такие переводчики, как правило, бывают из среды, близко соприкасающейся с чиновничеством, они быстро перенимают его нравы, научаются с пятого на десятое понимать русский язык и потом бессовестно грабят своих братьев.

— Ты ошибся, дружище! — ответил я, — по копейке с овец в сутки составит с тысячи голов десять рублей, а за пять суток пятьдесят рублей, у меня же их гораздо больше.

— А мы с твоей отары ничего не возьмем, — снова шепнул он мне!

— Бога ты не боишься, нехристь ты этакий! — вмешался подошедший Симон. — Получай, сколько полагается, и убирайся.

— Сам убирайся, кто тебя спрашивает? Забыл с кем разговариваешь? — крикнул подрядчик.

— Ты лучше помолчи, а то... — угрожающе надвинулся на него один из пастухов. — Помолчи, говорю, а то враг мой не погибнет быстрее, чем я стащу тебя с лошади.... Ты ведь не казак!..

Всадник нахмурился, сплюнул и, повернув коня, поскакал в город.

— Скоро же он убрался! — сказал Симон.

— Помнит, видно, прошлогоднюю историю! — заметил второй пастух.

— А какую историю? — спросил я.

— В прошлом году был у меня переводчик. Он, оказываешься, заранее сговорился с подрядчиками и взыскал с нас плату на целых шесть дней больше положенного.

— Вы пожаловались? — спросил я.

— Пожаловались, как же не пожаловаться, — с горькой усмешкой сказал один из пастухов.

— И что же?

— Да все то же! Продержали нас три дня в тюрьме и за эти три дня взыскали плату, потому что товарищи наши не хотели бросить нас на произвол судьбы и стояли со стадом.

— И за те дни, за лишние, тоже взыскали?

— И за те взыскали.

— А разве вы не могли свидетельскими показаниями доказать, что документ был подложный?

— А как докажешь? Мы не знаем по-русски, а в бумаге, выданной ими, день прибытия был обозначен неверно, на шесть дней раньше... На суде эта бумага против нас обернулась.

— Если бы даже кто и мог подтвердить правду, все равно на суд бы не явился! — добавил Симон.

— Почему?

— Кому охота связываться с ними и лезть в беду!

— Ну, что ты, разве свидетелей арестовывают?

— К такому счастливцу, как ты, все одинаково милостивы, — и люди, и бог, а для нас, горемычных, правды не сыщешь. Редко какой справедливый человек пожалеет мохевца, а то всегда получается так, что он виноват...

— Знали бы мы, по крайней мере, язык, тогда, может быть, и сумели бы защититься. А то ведь они говорят по-своему, мы по-своему. Надоест им слушать, затопают на нас ногами и выгонят вон, и некому заступиться за нас!

Так, разговаривая, дошли мы до нашей стоянки. Я решил переодеться и сходить в Дзауг, чтобы довести до сведения тамошних властей о нарушениях в их ведомстве. Я был уверен, что начальство обратит внимание на мой рассказ, постарается изменить порядки, губительные для народа и нежелательные для властей. Но представьте себе мое изумление, когда слова мои оказались гласом вопиющего в пустыне.


Слова мои долго служили развлечением для аристократических салонов Дзауга; там с улыбками передавали из уст в уста историю о том, как сын генерала ходит за стадом с пастушеским посохом в руках.

Через три дня мы миновали Владикавказ, и у нас произошла первая стычка с сунженскими казаками.

Мы повздорили с ними из-за дороги, по обе стороны которой мы имели право по закону следовать на расстоянии тридцати сажень бесплатно. Они же не пропускали нас.

Закон разрешал нам это, но что значит закон для них? Они все дела решают по своему разумению и произволу, а пастухи в этих случаях беззащитны, так как им некуда обратиться, и, находясь в пути, они не могут до конца проследить за делом.

Поэтому им приходится либо действовать также беззаконно и защищать себя силой, либо смиряться и уплачивать всюду лишние десятки рублей.



Мы избрали первый путь и силой прокладывали себе дорогу там, где казаки чинили нам препятствия.

7

Весь наш путь по долине вплоть до Брагуна был однообразен: мы проходили через казачьи станицы, и почти всюду нас преследовали бесчинства властей. Однако, все мы были тесно объединены нашей пастушеской ловкостью, силой и отвагой. Мы с боями прокладывали себе дорогу, которой по справедливости могли пользоваться беспрепятственно. Только теперь понял я, что означала пастушеская молитва перед нашим выступлением: «Господи, спаси нас от бесчинств!» «Блюстители мира» нигде не пропускали нас без стычек.

Наше путешествие длилось пять недель. Мы шли медленно, долго. За это время не было даже двух дней сплошь солнечных, дождь, как из ведра, лил над нами всю дорогу.

Представьте себе нашу радость, когда мы добрались до Грозного.

Проделав этот путь со стадом, я увидел воочию, сколько бедствий может ожидать путника, подобного мне, при встрече с казаками. Я решил попросить у начальника бумагу, которая предписывала бы атаманам станиц поддерживать порядок среди тех, кого селили в этих местах для распространения просвещения.

В Грозном я открыл свой чемодан. Он был обшит снаружи ковром, одежда внутри была сверху обернута буркой, и все же дождь проник в него, и вся одежда намокла. Из этого вы можете заключить, сколько лишений мы перенесли в пути.

Я получил желаемую бумагу, в которой станичным атаманам предписывалось оказывать нам законную помощь в дороге, и благодаря этой бумаге дальнейший путь был сравнительно спокоен.

Близ Брагуна находились угодья станицы Маханюрт, которые мы арендовали. Они были богаты кормом, окружены лесом и вдоволь снабжены водой.

Сено и продукты продавались дешево в ближайших чеченских деревнях, куда я часто ходил, знакомясь с новыми для меня людьми и обычаями.

По прибытии на место были построены хлевы и загоны. Удивительно было видеть, сколько труда вложено в них пастухами. Выросла целая деревня из хлевов, загонов, жилых помещений. Стены плелись двойным плетением, глиняные полы

утрамбовывались. Каждый день разносился по лесу стук топоров, звучали веселые шутки пастухов, звенели их песни и шарри:

Это шумное строительство вскоре сменилось ежедневным, размеренным, однообразным трудом: рано поутру отару выгоняли на пастбища, вечером загоняли в хлевы. Изредка к меже стоянки подходил главный пастух, усаживался с пастухами, и началась долгая откровенная беседа, в которой каждый пастух раскрывал свою душу, рассказывал о своей жизни. Ночная тишина иногда нарушалась топотом коней, угоняемых чеченцами, и звуками выстрелов и погони. Больше ничем не разнообразилась жизнь.

Однако, я чуть было не позабыл об одном, очень меня занимавшем, времяпрепровождении. Это было слушание сказок, легенд, повествований о жизни прославленных пастухов или разбойников.

Здесь я обрываю свои воспоминания, так как все, что я услышал, прочувствовал и осмыслил, — все это я решил передать в своих рассказах, решил познакомить вас с обычаями и нравами народов, составляющих Грузию или дружественно с нею соседствующих, с которыми в будущем не миновать нам более тесных связей.



Александр даречи — сын царя Ираклия II и брат последнего царя Грузии Георгия XIII.

Авария — круговая

Анаур — дворница

Багана — джугитварис

Вайли — горе мис (восклицание)

Деканови — старейшина общины

Дзуги — гора Дзугиджети

Кали — какашис

Картли — Картли

Киндари — грузинские названия горы Казбек

Киндарица — одно из грузинских названий горы Казбек

Кулолки — грузинская мужская одежда в старину

Ливиси — святая и одновременно название местности

Метара — кожаный проводящий фалг

Мелхис — вид празднества

Мезис — вид празднества

Мохеси — жилище Хези

Мтицети — горный район Грузии

ПРИМЕЧАНИЯ

- Александр, царевич* — сын царя Ираклия II и брат последнего царя Грузии Георгия XIII.
- Азарпеша* — круговая чаша для питья вина.
- Азнаур* — дворянин-вассал.
- Батано* — почтительное грузинское обращение, дословно сударь.
- Вайме* — горе мне (восклицание).
- Деканози* — старейшина общины, на которого возложено исполнение культовых обрядов.
- Дзауг* — город Дзауджикау.
- Калау* — ласковое обращение к женщине.
- Картли* — Карталиния — центральный район Грузии.
- Кинвари* — грузинское название горы Казбек.
- Кинварцвери* — одно из грузинских названий горы Казбек.
- Куладжа* — грузинская мужская одежда в старину.
- Ломиси* — святыня и одновременно название местности.
- Матара* — кожаная провощенная фляга.
- Меджлис* — пир, празднество.
- «*Мзаго*» — по-черкесски «лунный луч».
- Мохевец* — житель Хеви.
- Мтиулет* — горный район Грузии.



Мтиул, мтиулец — житель Мтиулети.

Пандури — струнный музыкальный инструмент.

Пиримзе — буквально Солнцеликая — так зовут в горах царицу Тамар (1184 — 1212).

Саркали — главный пастух.

Сасурапо — пороховница.

«Сени-чириме» — искаженное «шени-чириме» — непереводаемое ласкательное обращение.

Смури — тост, произнесенный в стихах.

Сипро — трапеза, стол.

Солнцеликая — см. Пиримзе.

Ствири — рожок.

Теми — община.

«Тергдалеулеби» — буквально — испившие воды Терека. Так называли грузинских писателей-шестидесятников, получивших образование в российских университетах.

Тушетия — горный район Грузии.

Тушинец — житель Тушетии.

Хабизгини — ватрушка.

Хандосхеви — деревня в Мтиулети.

Хари — вол.

Хеви — горный район Грузии.

Хевисбери — старейшина объединенных общин, облеченный светской и духовной властью.

Хевский Джвари — святыня Хеви.

Чианури — смычковый музыкальный инструмент.

Чириме — см. «шени-чириме».

Чурчхела — сладость, приготовленная из орехов и виноградного сока.

Юлон и Парнаоз — царевичи, сыновья царя Ираклия II.

Редактор
Демна Шенгелая.

Портрет и форзац—
заслуженного деятеля искусств
Грузинской ССР
Тамары Абакелия.

Оформление книги художника
Севериана Кецховели.

Подписано к печати
8 сентября 1948 года.

Объем книги 20³/₄ печатн. лист.
Тираж 15.000. Заказ № 1220. УЭ09482

Отпечатано в тип. «Заря Востока»
им. А. Ф. Мясникова,
Тбилиси, пр. Руставели, 42.

Цена 20 руб.





R2 361.277

3

361.277
3